

Волков Александр Мелентьевич. «Зодчие»

Роман «Зодчие» – это история строительства храма Василия Блаженного в честь победы над Казанским ханством, рассказ о талантливых русских архитекторах, строителях Барме и Постнике (1560 г.).

Часть первая

Юность Голована

Глава I

На охоте

– Стреляй, Андрюша!..

Голос замер, и только свистящее дыхание показывало, как трудно человеку в смертельном единоборстве со зверем.

Охотник и медведь, могучие, громоздкие, прикинули друг к другу точно в дружеском объятии. Спина человека гнулась под косматыми лапами, но он удерживался невероятным напряжением мышц.

– Стре...ляй...

Мальчик лет двенадцати с луком в руке стоял неподалеку; в лице его не было ни кровинки, но серо-зеленые, широко расставленные глаза смотрели решительно. Андрюша выжидал, когда медведь окажется под прицелом.

Удобный миг настал, и мальчик решил. Стрела впиалась в голову медведя, возле левого уха. Острая боль заставила зверя оторвать от спины охотника правую лапу и ощупать раненое место. Лапа опустилась с силой, сломала стрелу и загнала в рану. Зверь взревел.

– Испугать хочешь?

Охотник вывернулся, выхватил из-за пояски нож.

– Тятенька, тятя!

– Беги за елку! – прохрипел охотник.

Но Андрюша не подумал бежать. Вторая стрела ударила в маленький, налитой кровью глаз зверя.

Полуослепленный медведь взревел еще яростней и бросился на человека. Тот, отскочив, ответил могучим ударом ножа в левый бок зверя. Смертельно раненый медведь, падая, хватил лапой по голове охотника. Удар смягчила шапка, и все же человек рухнул вниз лицом.

Только теперь Андрюша испугался по-настоящему. Он бросился к неподвижному телу отца, попытался перевернуть его. Но плотника Илью односельчане недаром прозвали Большим: Андрюша не мог сдвинуть его с места.

Долго возился мальчик около отца. Наконец Илья опомнился.

– Живой! Живой! – обрадовался Андрюша.

Илья попытался двинуться и не мог: слабость сковывала члены, голова кружилась.

– На деревню... в Выбутино беги, сынок... Мужиков зови...

Андрюша огляделся.

Вечерело. В лесу, запорошенном снегом, было тихо. Ближайшие ели ясно виднелись от нижних, широких лап до острых темных верхушек. Но дальше все сливалось в серебристо-мутном тумане. Андрюша вздохнул. Полянка, на которой лежал медвежий труп да слабо шевелился раненый охотник, показалась мальчику такой родной и уютной...

Однако не может же отец пролежать на снегу долгую зимнюю ночь!

– Я пойду, тятя, пойду! А ты-то как?

– Не бойся... Я отлежусь...

Встав на лыжи и оглядевшись в последний раз, Андрюша заспешил к дому. Вот следы. Они указывают обратный путь. Мальчик внимательно приглядывался к

чуть видной лыжне. До Выбутина добрых полтора десятка верст наберется, и не скоро вернется он с помощью...

Андрюша бежал, сжимая лук в руке. В лесу быстро темнело. На беду, начал порошить снежок.

– Занесет следы, заблудишься... – со страхом шептал Андрюша.

И вот следы окончательно исчезли. Андрюша напрягал зрение: со всех сторон мерещились тропки. Где же настоящая?

Мальчик упал на снег и заплакал. В лесу раздался волчий вой.

Не разбирая дороги, Андрюша понесся по лесу. Через несколько минут он прислушался.

Вой донесся с другой стороны.

Или он сбился с направления, или волки окружали его. Надо было искать убежище.

Андрюша заметался среди деревьев, а волчьи голоса слышались ближе, ближе... Он попытался вскарабкаться на елку, но гибкие лапы опустились, осыпав его снегом. Было от чего прийти в отчаяние. Андрюша выбежал на поляну. Посреди стояла сосна с низко начинающимися ветвями.

Спасение!

Быстро вскарабкался Андрюша на дерево – и вовремя! На полянку выскочили волки и взвыли – не то с досады, не то с радости. Потом обступили сосну и уселись, как собаки, ждущие подачки.

Андрюша прижался к стволу. Время тянулось нескончаемо. Вдруг мальчик вздрогнул, покачнулся, а волки привскочили точно по команде. Оказывается, Андрюша задремал и чуть не свалился с ветки. Он распустил опояску, привязал себя к дереву.

Но спугнутый сон уже не приходил. Андрюше представилось, что отец погиб, и он заплакал... Вот и дрожь начала пробирать его. Оцепенение сковывало тело, мысли путались...

Андрюшу снял утром старый Ляпун, осматривавший силки. Мальчик был без сознания. Соорудив салазки, старик повез его в Выбутино, гадая, куда девался Илья Большой.

Афимья заголосила, когда в сенцы внесли бесчувственного сына. Она поняла, что с мужем случилось несчастье. Андрюшу раздели, оттерли снегом. Мальчик бормотал:

– Тятя... медведь...

Больше ничего от него не добились.

Долго колесили охотники по лесу. Лишь к вечеру добрались до поляны, где дрался Илья с медведем. На снегу валялись обглоданные кости, виднелись пятна крови.

Мужики завздохали, понурили голову.

– Покончился наш Илья...

Вдруг старик Ляпун воскликнул:

– Стой, мужики! Из берлоги пар идет!

В самом деле, из лаза поднимался легкий пар, заметный только охотничьему глазу. Кто в берлоге? Медведь или...

Еще не веря в счастливый исход дела, мужики двинулись к лазу, держа наготове рогатины и ножи.

– Кто добрый человек? – послышался изнутри слабый голос.

Из медвежьей берлоги на четвереньках выполз Илья Большой.

Глава II

Выздоровление

Силач и привычный охотник, Илья Большой быстро поправился после рукопашной с медведем. Но Андрюша заболел тяжело. Он лежал недвижно, сознание покидало его.

– Ужели помрет? – с тоской шептала Афимья.

Все знахари из окрестностей Пскова побывали около больного: нашептывали заклинания, поили наговорной водой... Мальчика уже приговорили к смерти, но он неожиданно начал поправляться.

Кончалась зима, когда Андрюша по-настоящему пришел в себя, поднял отяжелевшую голову, осмотрелся большими удивленными глазами. Все было привычное, родное, и, однако, казалось мальчику, что все это видит он в первый раз: он как будто сразу повзрослел.

Андрюша увидел себя на полатах, на куче мягкой рухляди. Над ним навис потолок, блестящий от многолетней копоти, точно покрытый черным лаком. До болезни мальчик любил выцарапывать на потолке узоры острой лучинкой. Теперь узоры чуть виднелись под наросшей пленкой свежей копоти, и Андрюша понял, как долго он хворал.

– Мамка... – Андрюшин голос прозвучал тихо, прерывисто.

– Родненький! Кровинушка моя! Опамятовался!.. – Афимья быстро влезла на полати и со счастливыми слезами приникла к сыну. – А мы уж не чаяли тебя живым видеть... Вот-то отец обрадуется!

– Мамка, а none какой день?

– Суббота, сынок, суббота none. Ох, много мы суббот прогоревали!

– Тятка с работы не вернулся?

– Нету, да, гляди, вот-вот придет. Уж и обрадуется!..

Илья пришел поздно, когда в светце горела лучина, и сразу наполнил избу шумом, движением, раскатами сильного голоса. Узнав, что сын очнулся и разговаривает, Илья выразил радость по-своему: схватил Андрюшу с полатей, закружил на руках над головой, весело загрохотал:

– Ожил, сокол! Ничего, наша порода крепкая! Как, Андрюшка, скоро на охоту пойдем?

– По мне – хоть завтрашний день, тятя! – бодрясь, ответил мальчик.

Мать вздохнула:

– Угомону на тебя нет, Илья! Ребенок, сказать, из гроба встал, а ты опять...

Плотник, бережно подсаживая Андрюшу на полати, успокоительно промолвил:

– Да ведь мы, мать, по-шутейному. Куда парню в лес, он и на ногах стоять не может!

Андрюша насторожился: в холодных сенцах завопились, кто-то ощупью отыскивал дверь.

«Собираются...» – подумал мальчик. Он любил субботние вечера, когда соседи сходились к отцу потолковать о делах.

Кто-то поколотил ногой в примерзшую дверь, отодрал рывком. В облаке пара показался Ляпун, старик с изможденным лицом, спаситель Андрюши. Неторопливо поприветствовав хозяев, он сел. Явился молодежен Тишка Верховой, смущенно покрестился на образ, примостился на конце лавки.

Разговор не завязывался. Мужики вздыхали, почесывались, зевали. Начал хозяин:

– Отец Авраам грозился завтрашний день на село приехать – оброк добирать!

– Оброк? – испугался Ляпун. – Мы же сполна внесли, всё по уставной грамоте! – Старик, разговаривая, размахивал правой рукой; слушая, прикладывал руку трубочкой к уху. Ему повредил слух монастырский приказчик, ударив палкой по голове за дерзкое слово.

– Говорят, в деньгах нужда, – пояснил Илья. – Приедут с тиуном...

– Тьфу! – злобно отплюнулся Ляпун. – Бездонную кадку не нальешь!
– А не платить? – спросил Тишка, пощипывая молоденькую рыжую бородку; он к ней не привык и всегда удивлялся, нащупав на подбородке кудрявые волосы.
– Хочешь, чтобы разорили, не плати! – сказал Илья.
– Можно, чай, к наместнику. Не по окладу, мол, требуют!
– «К наместнику»... Молчи, когда бог убил! – рассердился Ляпун. – Кто наместнику поминков больше даст – ты али игумен? То-то и оно!

Разговор прервался. Мужики вспоминали прошлое, те события, которые поставили их, бывших псковских горожан, под власть монахов Спасо-Мирожского монастыря.

От взрослых Андрюша Ильин не раз слышал историю о том, как потерял свою вольность Псков.

Началось это лет тридцать назад. По старинному договору с великими князьями в Пскове сидел московский наместник, но власть его была не велика. Городом правили выборные посадники, а важные дела решало вече, сходявшееся по звону большого колокола.

С шумом и криком, иногда с кровопролитным боем решались вопросы, предлагаемые вечу. Но за народными толпами, сходящимися стенка на стенку, незримо стояли посадники, бояре, богатые купцы.

Дела вершились не по справедливости, а в пользу наиболее сильного, кто подкупами и посулами сумел сколотить себе самую большую партию.

Раздоры и несогласия знатных ослабляли город и могли оставить его беззащитным перед врагом.

Великий князь московский Василий III, дальновидный собиратель земли русской и умелый строитель государства, с тревогой смотрел на псковские порядки. Псковщина граничила с землями Ливонского ордена. Псы-рыцари то и дело нападали на русские владения, жгли, грабили, уводили в плен.

В последний раз немцы появились под стенами Пскова в 1501 году – при отце Василия, Иване III. Ливонский магистр Вальтер фон Плеттенберг привел пятнадцатитысячное войско. Псковитяне сами сожгли посады, расположенные за городскими стенами, и храбро отбивались от неприятеля, пока не подоспели на выручку московские воеводы Данила Щеня и Василий Шуйский.

Война окончилась бегством немцев в Ливонию. Но они могли снова нагрянуть. И если им удастся захватить Псков – это будет страшная угроза Московскому государству.

В 1509 году великий князь послал в Псков нового наместника – князя Ивана Михайловича из рода Репниных-Оболенских, человека сурового и немилостивого. У псковских посадников, бояр и богатых гостей начались нелады с новым наместником, в Москву полетели жалобы.

Василий Иванович приехал в Новгород в самом начале 1510 года и приказал недовольным псковитянам явиться к нему – получить ответ на жалобы.

В праздник крещения, 6 января, собрались посадники, бояре и богатые гости в митрополичьей палате, а сотни младших людей стояли на морозе с непокрытой головой. Непокорный Псков ждал решения своей участи.

Московские бояре вошли в палату величавой поступью.

Прозвучали страшные для псковитян слова:

«Пойманы есте богом и великим государем...»

Псковитяне опустили на колени и выслушали приговор Москвы:

«Вечу не быть; вечевого колокол снять и отвезти в Москву, к его старшему брату – вечевому колоколу Великого Новгорода; во Пскове будут сидеть два государевых наместника и решать все дела... И коли вы не покоритесь, много прольется псковской крови...»

В числе младших людей, посланных в Новгород от псковского простого народа, стоял на митрополичьем дворе и дед Андрюши – Семен, Афимьин отец. Старик часто рассказывал внуку о былых днях.

Псковитяне покорились: Пскову ли выстоять против могучей Москвы!

Этим не кончилось. Опасаясь, что против Москвы начнутся козни, Василий Иванович приказал: триста знатных семей расселить по другим землям; на их месте посадить московских дворян и раздать им поместья изгнанных. И из Среднего Города, раскинувшегося между реками Великой и Псковой и окруженного каменной стеной, были выселены тысячи псковитян.

Москвичи переехали на житье в Псков. А в Москве, близ Сретенки, возник целый поселок под прозванием «Псковичи». Князь Василий III «подавал им дворы по Устретенской улице, всю улицу дал за Устретеньем», – говорит летопись.

Родители Ильи Большого и Афимьи тоже лишились своих домиков в Среднем Городе; они, как и многие, не захотели уходить от родных мест и поселились в сельце Выбутино на берегу реки Великой, у последнего ее порога. Но земля здесь принадлежала древнему Спасо-Мирожскому монастырю, и вольные горожане попали в монастырскую кабалу.

Псковитяне жалели о потере самостоятельности родного города, но понимали, что без присоединения к Москве Псков мог попасть под пяту ливонских рыцарей и это было бы рабством. Лучше уж жизнь, хоть и трудная, под владычеством Москвы. Таких убеждений держались и старик. Семен и зять его Илья Большой...

Раздались новые удары в дверь. Вошел староста Егор Дубов, грузный, медлительный, с неподвижным, точно высеченным из камня лицом.

Из вежливости помолчали. Егор спросил:

– Об чем речь, православные?

Узнав, что из монастыря приедут за добавочным оброком, он молвил:

– А ведь боярским людям вроде полегчае...

– Славны бубны за горами! – насмешливо отозвался Илья.

– Нет, не говори! – оживился Егор. – Коли перечесть, что я в монастырь перетаскал с Петрова дня... и, боже мой! Туш говяжьих две, – староста загнул палец, – уток два десятка, – он загнул второй палец, – курей три дюжины, кабанчиков два, яиц поболее четырех сотен, меду шесть пудов...

– У меня бычка годовалого отняли! – пожаловался Тишка Верховой.

– ... масла овсяного девять кадок, – продолжал Егор, загибая пальцы уже на другой руке, – чесноку вязок без счету...

– Вот жрут, дармоеды проклятые! – озлобился Ляпун.

– Это с нашего села, а сколько у них окромя деревень! Диво, братцы, – покачал седой головой Егор Дубов: – полсотни монахов, а какую власть над людьми забрали!

– Им так за святую жизнь положено, – усмехнулся Илья.

Мужики дружно захохотали.

Андрюша смотрел вниз серьезными, не улыбочивыми глазами. Мальчик удивлялся, что мужики ругают монахов. Он видел иноков в церкви; они казались тихими и благостными, как праведники на иконах.

«Не бояться, что бог накажет...» – со страхом подумал Андрюша про вольнодумцев-взрослых.

– Нет, как ни говори, – проворчал Ляпун, относя руку от уха, – а в старое время, в вольном Пскове, не в пример лучше жилось...

– Ты бы вспомнил сотворение мира! – непочтительно фыркнул Тишка и осекся под строгими взорами старших.

– А еще бы не лучше! – согласился с Ляпуном Егор Дубов. – Одно то взять, как нас монастырь год от году утесняет, свои старые грамоты рушит. Бобровые ловы от нас оттягали – раз! Рыбные тоже – два!

Он снова пустил в ход корявые толстые пальцы. Трудная должность выборного старосты приучила Егора вести всему счет; и хоть мужик не знал грамоты, но цепкая память и зарубки на деревянных бирках помогали ему без ошибок собирать оброки и рассчитывать с тиуном.

Выбутинцы любили угрюмого, неповоротливого Егора за честность, за то, что, не ослабевая духом, нес он мирскую тяготу и при всякой провинности односельчан первый скидал портки и ложился под розги.

Снова повздыхали, уставившись на стену. Там увидели привычное: юркие тараканы спускались с потолка, как всегда, когда прогревалась изба. К утру, лишь начнут промерзать стены, они пустятся обратно. Знакомая картина навела Илью на размышление:

– Вот, невелика тварь, а тоже ищет, где лучше!

– Уйду из Выбутина! Вот те крест уйду! – неожиданно воскликнул Тишка Верховой, возбужденно крутя бородку. Случайное замечание Ильи совпало с его затаенной мечтой. – Надел продам и подамся счастье искать!

– А покупателя найдешь?

– Найду!

– Вряд ли, – усомнился староста. – Ведь надобно за тебя внести и порядное и похоромное, сочти-ка... А впрочем, вас с бабой двое, може и уйдешь!

– А земля? – спросил Ляпун.

– Что земля?

– Батька твой распахивал деревню, ты забыл? Пни корчевал, аж кожа на спине лопалась, да вдвоем с маткой с поля волок! Забыл?

– Вот только что пашня... оно, конечно... – забормотал Тишка и смолк.

– То-то и оно! – победоносно махнул рукой Ляпун. – А они то знают и из нашего брата последнее выжимают...

Избу внезапно охватил мрак. Афимья, заслушавшись мужичьих речей, недоглядела за лучиной. Пришлось доставать угли из печи, вздуть огонь. Илья мягко пожурил жену:

– А ты, баба, позорчее досматривай!

Афимья поклонилась в пояс:

– Прощенья прошу, гостеньки дорогие!

– Что я еще скажу! – вспомнил Илья. – Говорят монахи, придет к ним с весны артель каменную церковь ставить.

Лица мужиков омрачились.

– Не было печали... – прошептал Егор Дубов. – Старых мало?

– Изветшали, вишь, того гляди обвалятся...

– Эх, – безнадежно махнул рукой староста, – теперь пойдет! То ли будем, то ли не будем сеять этот год. Уж я знаю, подводами замучают: кирпич вози, лес вози...

– Вот оно, мужицкое житье: как вставай, так за вытье! – произнес Ляпун и, кряхтя, поднялся с лавки. – Прощевайте, дорогие соседушки!

Он шагнул к двери, за ним Егор с Тишкой.

– Милости просим нас не забывать! – кланялись хозяева.

С этого вечера выздоровление Андрюши пошло быстро. Понемногу он начал ходить по избе, с трудом держа на плечах большую, не по возрасту, голову с высоким выпуклым лбом.

Ребята смеялись на Андрюшей: не голова – котел!

– Голова, вишь, к богатырю метила, а к тебе попала!

– А может, я богатырь и есть? – спрашивал Афимью тонким голоском маленький Андрюша.

Мать горько усмехалась:

– Богатыри, сынок, ведутся не от нашего порождения, а от княжьего да боярского...

Вот за эту-то несоразмерную свою голову Андрюша еще в раннем детстве получил прозвище Голован.

Большую Андрюшину голову покрывали густые темные вихры. С непокорными волосами сына Афимья не могла справиться. Немало масла извела – и всё без пользы. Проходящая странница посоветовала:

– А ты двенадцать вечеров подряд медвежий жир втирай: смягчит, родимая! Но и медвежий жир, не переводившийся в доме охотника, не помог.

Глава III

Первые труды

Когда Андрюша почувствовал, что руки его окрепли, он сказал:

– Мамынька, дай доску – рисовать стану.

Афимья уронила радостную слезу.

– Уж коли рисовать берешься, значит и вправду на поправку пошло...

Дарование Андрюши Ильина проявилось рано.

Мальчик видел красоту там, где другие равнодушно проходили мимо. Андрюша собирал вырезанные лапчатые листья клена, опавшие осенью: он выкладывал из них красивые узоры. Игра солнечных пятен на лужайке под старым дубом заставляла Андрюшу забывать всё на свете. Как зачарованный стоял он и смотрел, смотрел...

Родители ходили к обедне в Спасо-Мирожский монастырь. Андрюша уставал за долгой и скучной церковной службой; он уходил на кладбище срисовывать каменные надгробия.

Удачные рисунки отец сберегал. Лучший плотник в окрестностях Пскова, Илья Большой вырезал на досках любые узоры, деревянными кружевами украшал карнизы крыш, ворота, наличники окон. Искусство сына он понимал и ценил.

Когда Андрюше исполнилось десять лет, отец стал брать его на работу.

– Приучайся, сынок! Мы, плотники, как дятлы, век по дереву постукиваем...

Мальчик полюбил ранние выходы из дому. Весело было шагать по скрипучему снегу за высоким, сильным отцом, приятно ощупывать заткнутый за пояс, как у заправского плотника, топорик...

Мышцы у Андрюши окрепли, развился глазомер, рука привыкла отесывать бревно точно, по нитке.

Больше всего любил мальчик крыть с отцом крыши. Ему нравились смешные плотничьи слова, которым раньше придавал он совсем иной смысл.

Бык на селе большой, рыжий, злой; не раз мальчишки спасались от него за заборами. А тятка ставит «быки» на сруб, врубая один конец в «подкуретник» – верхнее бревно стены, а другой в «князевую слегу» – венчающий брус крыши.

Еще занятнее называл отец крайние стропила крыши: «курицы». Длинный брус курицы внизу заканчивался изогнутым корнем, предназначенным поддерживать водосток.

– Тятенька, корень мне обтесывать! – всегда договаривался Андрюша.

Отец давал ему волю. Плотно сжав губы, почти не мигая, мальчик всматривался в очертания корня. В такие мгновения он не видел окружающее. И чудилось ему, что из дерева проступает невиданная птичья голова или морда страшного зверя...

– Поймал! Поймал тебя! – торжествующе вскрикивал Андрюша и начинал работать.

Илья дивился его неистощимой изобретательности. Андрюша не повторялся: всегда новые изображения выходили из-под его рук. Деревенские мальчишки, Андрюшины приятели, теснились вокруг резчика, с восторгом наблюдая рождение причудливой головы.

На быки и курицы, схваченные поперечинами, наколачивался золотисто-желтый, пахнувший смолой тес; чтобы не сорвало его ветром, тес прижимался по верхнему ребру крыши «охлупнем»

Тут опять работа Андрюше: корневище охлупня обдeldывалось в форме конской головы. Так родилось выражение «конек крыши».

В окрестности знали и уважали Андрюшу Ильина не только ребята, но и взрослые.

– Золотые руки! – говорили о маленьком работнике.

Плотник Илья Большой был страстный охотник. Бывало крепился мужик и два и три месяца, исправно ходил в монастырь на работу, но становился все угрюмей, неразговорчивей. Тогда и монастырский келарь Авраам и семейные знали: скоро Илья сбежит в лес.

Он уходил тайком, до рассвета, заготовив нужный припас с вечера. Афимья, притаившись на печке, с улыбкой слушала, как муж бесшумно движется во мраке, собирает пожитки, достает из-под печки топор, подвязывает на спину сумку. Но боже упаси пошевелиться, показать Илье, что она не спит. Он яростно швырял топор под печку, закидывал куда попало котомку и целый день ходил чернее тучи.

Илья верил, что только тогда охота будет удачной, если удастся убраться из дому незаметно и до самого леса никто не попадет на дороге.

Дней пять, а то и больше Илья пропадал в лесу и возвращался с богатой добычей: то тащил медвежьи окорока, завернутые в косматую шкуру, то привозил на самодельных салазках тушу лося. Белок и горностаев, чтобы не портить шкурок, бил Илья стрелой в глаз.

Илья приходил домой веселый, оживленный, разговорчивый.

– Отвел душеньку! – посмеивался он над своей неумемной страстью. – Ах, и до чего хорошо в лесу! Век бы оттуда не вышел...

Из охотничьих трофеев Ильи львиная доля доставалась игумену Паисию и келарю Аврааму; поэтому монастырское начальство снисходительно относилось к исчезновениям Ильи.

Оброк Илья отрабатывал натурой: в монастыре довольно находилось дел по плотничьей части. А если у монахов делать было нечего, рачительный келарь отпускал Илью на заработки в соседние деревни, за что плотнику опять приходилось платить.

Возвратившись с охоты, Илья работал с особенным старанием, расплачиваясь за долги, которые умел насчитывать на крестьян келарь Авраам. Но проходило время, топор начинал валиться из рук плотника: лес вновь манил Илью.

Обучая сына плотничьему мастерству, Илья Большой старался вдохнуть в него и любовь к охоте. Андрюша, как и его товарищи, стал обучаться стрельбе из лука с семилетнего возраста.

– Стрельба лучная, – объяснял Илья сыну, – всякому человеку годится. Не только охотнику, но и воину лук – помощь и защита. А воином, сынок, недолго стать. Набегут немцы – всем подыматься!..

Уже первые упражнения потребовали от Андрюши большой силы воли. Мальчик стоял неподвижно два-три часа, крепко сжимая в руке гладкую палку: этим развивалась сила пальцев, крепкая хватка. Потом отец сделал Андрюше маленький лук, учил целиться, считаясь с силой и направлением ветра. С годами лук становился длиннее, тверже, все больше силы требовалось, чтобы натягивать тугую тетиву.

Андрюша стал искусным стрелком и горячо полюбил охоту. Отец и сын уходили в лес вдвоем. Афимья горевала и ждала возвращения охотников. Все шло благополучно до последней, роковой охоты, которая надолго уложила мальчика в постель.

Хорошую избу построил себе Илья Большой, когда обветшала старая избушка, поставленная тестем Семеном после изгнания из Пскова. Трудов своих строитель не пожалел, а лесу вокруг сколько хочешь. Изба Ильи стояла на высоком подклете: там помещались телята, куры. Крестьянские избушки обычно рубились о семи-восьми венцах; взрослые влезали в низенькую дверь скрючившись; распрямляясь, чуть не стучались головой о балку. А Илья поставил жилую горницу о двенадцати венцах; высокий хозяин едва доставал рукой потолок.

Мужики полушутя-полусерьезно звали жилье Ильи Большого хоромами. Оконные наличники и ставни, карнизы крыши – все было изукрашено резьбой.

Окно – око избы. Крохотные, подслеповатые окошки, словно маленькие глазки человека, придавали избушкам выбутинцев кислое, неприятное выражение. Хоромина Ильи смотрела весело, открыто, как и ее владелец – шумный, гостеприимный, добродушный. И недаром именно у Ильи собирались мужики провести субботний вечерок, единственный в неделе, когда над душой не висела мысль о завтрашней работе.

И все-таки изба топилась по-черному, как и все маленькие, бедные избушки: деревня тогда не знала печей с дымовыми трубами. В курных избах сажа покрывала стены и потолок, свешивалась сверху клочьями. Большие и малые – все ходили чумазые, как трубочисты. Дым и грязь никого не смущали.

«То не беда, когда дымит густо, – рассуждали мужики, – а то беда, когда в брюхе пусто!»

Заботливая Афимья не терпела неряшества: целый день она скребла и мыла горницу или убиралась в подклете.

Изба Ильи Большого стояла на берегу Великой, чуть пониже последнего, самого грозного порога реки, там, где она начинает плавный бег по равнине к недалекому Псковскому озеру.

Великая...

Какое очарование скрыто в имени реки, близ которой ты родился и вырос, в которой купался жаркими летними днями, по льду которой скользил на самодельных коньках...

Лет в десять-одиннадцать Голован прослыл первым пловцом в Выбутине. Было у деревенских ребят особое удалство, грозившее гибелью и потому манящее.

Целой ватагой уходили мальчишки за водопад и бросались в упругие, звенящие струи, чтобы выплыть на другой берег чуть повыше того места, где круто падал уровень воды и где течение приобретало неудержимую силу...

Стоило не рассчитывать, ослабеть в борьбе с быстринной – и смельчака утаскивало в ревущий порог, откуда не было возврата. Так случалось почти каждый год. Но заходить слишком высоко никто не решался: над осторожными смеялись.

В опасной забаве Голован был первым: никто не бросался в стремительный поток ниже его, и изо всей гурьбы пловцов он достигал противоположного берега раньше всех.

Глава IV

Несчастье

После памятной охоты на медведя и ночного сиденья на дереве Голован болел долго, но, поправившись, пошел в рост и стал набираться сил.

Весной отец усадил Андрюшу за псалтырь. Илья умел читать и писать, что было редкостью на деревне. По целым часам сидел мальчик за толстой книгой в деревянном переплете и водил пальцем по закапанным воском страницам.

Его тянуло на волю; год назад он сбежал бы на речку с веселыми товарищами, но теперь не отходил от книги, пока не кончал урок. К концу лета Андрюша читал свободно.

Монахи не по-пустому толковали о новой стройке: Паисий, настоятель Спасо-Мирожского монастыря, начал ставить каменную церковь.

Истари повелось: Псков славился каменных дел мастерами. Псковских искусников приглашали повсюду, где затевалось строительство больших каменных зданий или городских стен. В Новгороде, Ярославле, Костроме и в самой белокаменной Москве – всюду бывали псковские мастера, возводили палаты, храмы, укрепленные башни... Паисию за мастерами не пришлось далеко ходить. Церковь взялся строить известный на Псковщине Герасим Щуп с товарищами.

Мрачные предчувствия выбутинского старосты Егора Дубова оправдались полностью: монастырь завалил крестьян работой на стройке.

На каждую семью пала повинность: либо дай мужика-работника, либо подводу с лошадью. А так как мужик берег коня пуще жены и детей и не мог доверить его чужому присмотру, то с подводой отправлялся кто-нибудь из членов семьи.

Старик Ляпун, вытаскивая из грязи телегу с тяжелым грузом кирпича, надорвался и медленно чах, проклиная монашеское корыстолюбие. Илью Большого поставили главным по плотничным работам. Безлошадный Тишка Верховой пошел на постройку чернорабочим.

И хуже всего было то, что эта тяжелая повинность не засчитывалась в оброк. Оброк шел своим чередом.

Напрасно угрюмый Егор Дубов проявил несвойственное, ему красноречие, уговаривая игумена и келаря записать мужикам в счет подати хоть часть работы на постройке.

– Богу работаете, не людям! – строго отвечал Паисий. – Монастырю подайте, что по грамоте положено, а для господа сверх сего постарайтесь!

– Отче преподобный, да когда же сверх-то? – взмолился Егор – И так на работе кишки повымотали Ляпун-то кончается...

– Помрет – похороним за свой счет и поминать за службами безвозмездно сорок дён будем, – хладнокровно возразил игумен.

Упрямый Егор добрался с жалобой до государева наместника во Пскове, но старосту, как смутьяна, выпороли на наместничьем дворе: келарь Авраам раньше побывал у наместника с богатыми дарами.

Делать было нечего: мужики отдувались за всё.

На монастырскую стройку вместе с отцом пошел и тринадцатилетний Андрюша: он еще не видел, как возводятся каменные здания.

– Присматривайся, сынок! – ласково говорил Илья. – Рад буду, коли полюбишься тебе каменное дело. По плотницкому мастерству ты, сказать, все прошел, а лишнее ремесло за плечами не виснет. Да и размах шире у каменных дел мастера: каменное строение вековечное, а деревянное – до первого пожара...

Герасим Щуп полюбил грамотного и усердного паренька и взял в ученье. Зодчий задавал Андрюше вычерчивать своды, колонны, заставлял придумывать узоры. И если Головану удавалось набросать новый изящный узор, учитель говорил:

– Вот мы и пустим его в дело. Пускай в этом храме и твоя малая доля живет. Ничего, что люди не узнают имени строителя: человек порадуется твоему творению – вот и награда!..

Зодчий учил Андрюшу составлять замесы для каменной кладки; по весу и звону кирпича, когда им ударяют о другой кирпич, узнавать, годится ли он в дело; учил проверять правильность кладки отвесом и уровнем...

Один из жарких июньских дней 1539 года на всю жизнь запомнился Андрюше.

Каменщики, в белых рубашках с расстегнутым воротом, в холщовых портках, обливались потом. Их босые, избитые до крови ноги цепко ступали по зыбким мосткам. Герасим бесстрашно ходил по краю стены, возведенной сажень на семь. Голован сидел в тени на груди бревен. Тополя щедро сыпали на мальчика нежный пух, с вершин деревьев доносился немолчный вороний грай.

Андрюша рассеянно смотрел вокруг. Спасо-Мирожский монастырь был не из богатых, облупленные церквушки с куполами-луковками под ржавым железом, позолота с крестов облезла, монашеские домики-кели пошатнулись в разные стороны... Каменная стена с раскрошенными зубцами окружала монастырь. На всем следы ветхости и запустения.

В монастырь шло немало приношений от доброхотных даятелей, но они залеживались во вместительных сундуках игумена и келаря.

«Жарко... – думал разморенный Андрюша. – Отпрошусь у наставника искупаться...»

Мальчик не успел подойти к Герасиму: на стройке началось усиленное движение. Каменщики быстрее забегали с ношами кирпича, творившие замес проворнее замахали лопатами в большом чану. На стройку пожаловал настоятель монастыря игумен Паисий.

Коротконогий и толстобрюхий, с рыжеватой бородой веером, игумен шагал важно, с развальцем, из-под лохматых бровей зорко смотрели заплывшие глаза. Служка тащил за игуменом кресло.

Ряса у игумена была из дорогой ткани, нагрудный крест искрился на солнце алмазами.

Утомленный Паисий приостановился; служка ловко подставил кресло. Монах сел, из-под руки посмотрел на высокую стену. К нему подбежал с докладом костлявый, остробородый Щуп.

– Худо строите! – разразился игумен. – С пятницы стену на аршин не подняли!

– Отче игумен, больше подняли!

– Лжешь, грешник!

– Отче преподобный, промерь! – с лукавой усмешкой предложил зодчий.

Игумен взглянул на семисаженную стену, на зыбучие кладки...

– Вдругорядь займусь, – прогудел он и двинулся дальше.

Щуп шел позади Паисия.

– Богу, не людям работаете, – брюзжал игумен. – Вы лишь о суетном думаете, об утробе заботитесь...

Осмотр постройки прервался возвращением монастырского сборщика отца Ферапонта. Игумену перенесли кресло в тень тополей, где укрывался от жары Голован. Ферапонт, высокий мужчина с угрюмым лицом и резкими хватками, подошел к игумену под благословение, сдал запечатанную кружку, в которую опускались подаяния:

– Благослови, отче, в мыльню с дороги сходить!

– Успеешь! – буркнул Паисий, взвешивая кружку на руке.

Игумен распечатал кружку и высыпал содержимое на рясу, раздвинув колени. Потное, красное лицо его еще больше побагровело от досады, перед ним трудилась медь, и лишь кое-где сиротливо поблескивали серебряные деньги.

– Ты что, окаянный, – возвысил бас игумен, – смеешься? Серебро выудил?

– Освидетельствуй печати, отче! – хладнокровно возразил Ферапонт.

– «Печати»!.. Вы чорта из-под семи печатей выкрадете! Пропил?

Признавайся!

– Вот те бог, отче!..

– А кто тебя в позапрошлую среду видел в Сосновке в корчме?

– Отец Калина! – ахнул сборщик. В живых злобных глазах его мелькнул испуг.

– То-то, отец Калина! – торжествовал игумен. – За такую провинность в железах заморю... Эй, позвать келаря! На чепь нечестивца, в подвал!

Это было жестокое наказание. При всей своей смелости Ферапонт побледнел; он упал перед игуменом в мягкую пыль двора:

– Прости, отче святой! Бес попутал... Последний раз согрешил... Поставь на каменное дело! Заслужу!..

– Не помилую, не жди! – Игумен ткнул ногой валявшегося монаха.

Убедившись, что просьбы не помогут, Ферапонт встал, выгнул колесом грудь.

– Ну, попомнишь, игумен! – яростно проревел он. – Хрест на пузо навесил – так мыслишь, первый после бога стал? Святых иноков голодом заморил, стяжатель! В монастырь изо всех деревень и жареным и пареным волокут, а вы с келарем всё в город на продажу гоните...

– Когда гоним? Когда? Ты видел? – рассвирепел Паисий.

– А и видел, хоть вы по ночам обозы отправляете...

Мужики бросили работу и прислушивались с удовольствием: перебранка монахов открывала многое, что прежде было тайной. Паисий и Ферапонт, разгорячась, поносили друг друга ругательными словами.

На дворе показались два инока с цепью. Увидев, что его свободе приходит бесславный конец, Ферапонт остервенился, сшиб с ног служку и бросился бежать. Подобрал полы рясы, патлатый, буйный, он несся огромными скачками.

– Держи злодея, держи! – орал игумен.

Встревоженные вороны с неистовым карканьем кружились в воздухе.

– Улю-лю, улю-лю! – озорно кричали и свистели каменщики. Никто из них не тронулся с места.

Монахи погнались за Ферапонтом, а тот проскочил в калитку, грозно подняв пудовый кулак над присевшим от страха привратником, бросился в Великую и огромными саженками поплыл к другому берегу.

Охотников преследовать беглеца не нашлось.

Строители нехотя вернулись к прерванной работе. Надо было поднять наверх тяжелую балку. Ее подцепили канатами, продели канаты в векши. Начался трудный подъем; огромное бревно медленно ползло вверх.

Заезавшийся Тишка Верховой споткнулся, канат пополз из его потных рук.

– Ой, смертынька! – раздался тоскливый крик. – Не сдержат!

Под тяжестью балки пополз канат из рук и у других. Бревно поехало с высоты назад. Оно угрожающе накренилось и, казалось, вот-вот рухнет, сокрушая подмости, калеча и убивая людей.

На подмогу примчались Герасим Щуп и Голован, схватились за веревку. Но равновесие нарушилось, усилия людей не помогли. Поднялся шум:

– Держи! Спускай!

– Подтягивай! Подтяги-и-ва-ай!

– Бежим прочь, ребята!

– Де-е-ержи!..

На подмости выскочил из недостроенного пролета Илья Большой:

– Криком изба не рубится!

Он схватился за канат. С невероятной натугой держал он тяжесть, пока мужики не взбежали наверх и не помогли ему. Балку втащили.

Илья, шатаясь, спустился.

– Ноет рука, – признался он.

Келарь Авраам отпустил Илью с наказом завтра явиться пораньше. Тишку Верхового за провинность отпороли солеными розгами так, что он отлеживался две недели. Но Илье это не помогло: он не вышел на работу ни на следующий день, ни через месяц. Невыносимая боль сверлила и днем и ночью правую руку. Потом боль утихла, но рука высохла: плотник повредил сухожилие.

Илья Большой стал калекой, но не пал духом. Работая и участь под старость так же упорно, как смолоду, Илья наловчился и левой делать кое-какие немудреные поделки. Но слава и цена ему как плотнику упали.

Больно переживал Илья, что не бродить ему больше по лесам с рогатиной, тугим луком и запасом стрел. Всю охотничью страсть отдал мужик рыбной ловле. На вечерней и утренней заре часто сиживал он на берегу Великой, склонившись над удочками...

Глава V

Неожиданная угроза

Прошло несколько месяцев. Когда окончательно выяснилось, что Илья лишился руки, его вызвал игумен.

– Так-то, чадо, – пробасил Паисий, поигрывая нагрудным крестом. – Посетил тебя господь, видно, за грехи. Уж ты монастырю не работник, и нам тебя ненадобе. Выселяйся-ка из Выбутина.

– Как выселяться? – бледнея, спросил Илья. – А изба моя? Куда же я денусь?

– Сие – не моя забота. Да ты не печалуйся: бог и птиц небесных питает, а они ни сеют, ни жнут; найдешь и ты приют...

Кое-как упросил Илья игумена оставить его в Выбутине. Настоятель согласился только потому, что Илья был крестьянин непахатный, земельного надела не имел. За это «снисхождение» Илья обязался платить по рублю на год – немалые деньги для крестьянина.

Илья стал делать на продажу корыта, коромысла, кадочки. По вечерам ему помогал сын, и работа спорилась. Раза два в месяц брали лошадь у Егора Дубова и везли наготовленный щепной товар в город, на рынок. Распродавшись, Илья и Андрюша закупали муку, мясо и прочее съестное.

Жизнь стала налаживаться, но спокойствие семьи нарушили новые притязания игумена Паисия.

Илье Большому приказано было вновь явиться к настоятелю и с сыном.

Дородный и краснощекий Паисий утонул в кожаном кресле; ноги его нежились на медвежьей шкуре, подаренной Ильей после удачной охоты. Илья и Андрюша почтительно стояли у порога с шапками в руках.

Не бедно жил Паисий. Просторную игуменскую келью со слюдяными окошками обогривала нарядная изразцовая печь. Лавки устланы коврами. Передний угол уставлен иконами в драгоценных окладах; перед иконами горели толстые восковые свечи. В огромных окованных сундуках хранилось игуменское добро.

– Вот, чадо, – обратился к мальчику Паисий рокочущим басом, – не долге кончится наше строительство, и твой наставник Герасим покинет сии места. А ты что на мысли держишь?

Голован покраснел и не вымолвил ни слова. Ответил отец:

– У отрока своего ума нет, отче игумен, за него родители думают.

– Сие правильно! – одобрил игумен. – Как же ты полагаешь, Илья? Не смекал о сем? Так вот мое слово: отдал бы Андрея к нам в монастырь. Грамоте он, ведаю, обучен, и житие ему у нас будет беспечальное, легкое... В миру скорбь,

забота, в миру грех повсюду ходит, а у нас тишина, у нас все помыслы ко господу. Сладостен труд жизни подвижнической!.. Ну-ка, что на сие ответствуешь?

А сам думал: «Сладостно я пою, аки рыба сирена, про которую в древних баснях повествуется. Будто и не стоило бы мужичье уговаривать, да парень нужный, пользу от него большую можно получить...»

Илья и Андрюша молчали. Опущенные к земле глаза мальчика наполнились слезами. Настоятель пытливо вглядывался в лица отца и сына, стараясь разгадать их мысли. Не дождавшись ответа, снова начал убедительно и мягко:

– Может он у нас изографом стать: ведаю, у него на то талант. А у нас дело найдется: ты видел, как лики угодников потемнели. Поновить, ох, как надо поновить святые иконы! И сие есть дело богоугодное. Опять и то, Илья, в толк возьми был ты могутной мужик, а стал калека. Сынок мал, тебя с бабой прокормить не в силах. Да он же к крестьянскому труду и не способен. Вишь, у него голова-то, оборони ее Христос, совсем не по тулову. Где ему мужичьи тяготы снести! Под оконьем с сумой ходить станете... А коли сделаешь по-моему, монастырь всю вашу семью призрит, опекать будем даже и до смерти вашей. И рубль на год за пожилое, что ты обязался платить, прощу... Решай!

– Убожеством меня, отче, не кори, – угрюмо сказал Илья: – убожество я на вашей же работе заполучил! Кабы я крестьянские избы строил, той беды со мной не случилось бы...

– На всё божья воля, – успокоительно прогудел игумен.

Илья был на этот счет другого мнения, но высказать его не решился: с настоятелем ссориться не приходилось. Выгонит из села – и ступай на все четыре стороны.

– Какова твоя думка, сынок? – ласково обратился Илья к Андрюше.

Долго сдерживаемые слезы покатались из глаз мальчика. Всклипывая, он прошептал:

– Не знаю, ничего не знаю, тятенька! На твоей я воле...

Илья задумался. Потом поклонился, заговорил тихо:

– Такое дело, отче, одним часом не решается, великое надо размышление. Мне слово сказать, а Андрею целой жизнью за то слово расплачиваться...

Голован благодарно пожал здоровую руку отца. Как ни слабо было пожатие, Илья его почувствовал и понял. И еще решительнее закончил:

– Земно кланяюсь, отче игумен, за великие твои милости! Ответ дам в скорых днях.

Илья и Андрюша поклонились Паисию в ноги, приняли благословение и вышли. Тень досады скользнула по упитанному лицу игумена и исчезла.

– Будет по-моему! – прошептал он. – Деваться им некуда.

Дни шли, а решение Андрюшиной судьбы все откладывалось. Илья понимал, что монашество – несчастье для мальчика: оно разобьет все его надежды на будущее. Но прямо отказать Паисию Илья не решался: он знал злобный, мстительный характер монаха.

Однако долго тянуть с ответом не приходилось: Паисий не раз присылал служку с напоминанием, что Андрюшу ждут в монастыре.

Субботним вечером у Ильи собрался маленький совет: обсудить дело пришли полюбивший мальчика Герасим Щуп и староста Егор Дубов. Андрюша, лежа на полотах, с затаенным дыханием прислушивался к разговору, который должен был решить его участь.

– Я б взял мальца в свою артель, – сказал Герасим. – Хоть он еще и невелик, а работать способен. Хлеб свой всегда оправдает.

– Что ж ты раньше молчал, родной! – обрадовался Илья. – Сделаешь парня мастером, чего лучше!

– Оно-то так, – задумчиво заметил Щуп, – да дело не за мной. Уж очень игумен разлакомился Андрея залучить: знает, что от того большая выгода будет. Для новой церкви иконостас нужен. Резчикам да изографам платить надо – сундуки порастрасти, а отец Паисий того ох как не любит!

– На своей спине знаем, как он корыстен, – мрачно отозвался Егор.

– Андрей в возраст входит, через годик-другой настоящим работником станет. И новую церковь исподволь отделает за одни харчи, а они Паисию ничего не стоят...

– Недаром он мальчонку охаивал, – грустно усмехнулся Илья. – «Он, вишь, и слаб и ни к какому делу не годен, oprичь как сидеть в келье да иконы писать...»

– Лжа то, тятенька, лжа неистовая! – горячо вмешался в разговор Андрюша. – Али я немощный какой?..

– Молчи, сынок, когда старшие разговаривают, – внушительно прервал сына Илья.

– Вот я и говорю, – продолжал Герасим, – отберет у меня игумен Андрея. Артель моя на дальние работы не ходит, все тут же, близ Пскова бьемся. И настоятель нас всюду досягнет.

– Давно ведомо, что у монахов руки загребушие, – снова вставил слово Егор Дубов.

Все замолчали надолго. В светце трещала лучина. Тихо постукивал деревянный стан работы Ильи. На этом стане Афимья ткала холсты из суровых ниток, напряденных ею из кудели. Руки Афимьи привычно продергивали челнок сквозь основу, ступня равномерно нажимала подножку, но мысли женщины были о сыне. Глубоко верующей Афимье казалось, что монашество для сына не такая уж большая беда. Монахам житье привольное, работы мало, знай молись да молись. Станет Андрюша монахом – родительские грехи отмолит. Но высказать свои мысли вслух Афимья не решалась: ей ли, бабе, соваться в мужские разговоры!

Молчание прервал Герасим Щуп.

– Есть у меня одна думка, – сказал мастер, пощипывая свою козлиную бородку, – да не знаю, по душе ли она вам придется. Работает сейчас во Пскове зодчий Никита Булат – крепостные стены поновляет. Прямо скажу: это зодчий, не мне чета. Большой мастер! Вот кабы он Андрюшу в ученье взял...

– А какая разница? – удивился Илья. – Так же и у него парня настоятель отберет, как у тебя.

– Тут другое дело, – возразил Щуп. – Булат из дальних краев, он родом суздальский. Оттоле много славных мастеров вышло.

– Как же он к нам, во Псков, попал? – спросил Илья.

– Призвал его наместник, он Булата в Москве знал.

– Где нам с большими людьми водиться! – вздохнул Илья. – Уж коли его государевы бояре знают, он с нами и разговаривать не станет.

– Он не из таких, – уверил Герасим. – Сам он простого роду и хотя знатным известен, а чванства не набрался.

– Сколь это было бы хорошо, кабы Булат принял Андрюшу в ученье! Только ведь он мальчика из Псковщины уведет, – сообразил Илья.

– А я об чем толкую? – рассердился Герасим. – Уйдет Булат с Андрюшкой на Суздальщину либо в иное далекое место – там их и Паисию не сыскать, как ни длинны у него руки.

Афимья, смиренно сидевшая у ткацкого стана, вдруг всхлипнула на всю избу. Взоры собеседников устремились на нее, и смущенная женщина низко наклонилась к холсту.

– Вишь, какое дело... – неопределенно заметил Илья. – Придется об нем думать да думать. Вот что, друг Герасим, и ты, дядя Егор, – плотник низко

поклонился гостям: – приходите ко мне в ту субботу, тогда и порешим на том либо на другом.

– Ладно, – согласился Щуп. – А вы вот что: пустите молву, что Андрюшка болен. Пускай он из избы не выходит, на печке валяется. Я до игумена доведу: мальчонку, мол, лихоманка треплет. Авось он тогда на вас напирать не станет. Я же тем временем слетаю в город да потолкую с Булатом, надобен ли ему ученик; а то мы, может, попусту огород городим...

– Спаси тебя бог за совет да за подмогу! – низко поклонился мастеру Илья.

Глава VI

Мятежный замысел

Неделя показалась Андрюше бесконечной. Чувства его двоились, он не знал, что лучше – монастырь или уход в далекие края.

Далекие края манили неизведанными радостями, знакомством с другими городами, с чудесными памятниками старины. Прельщала мысль учиться у знаменитого зодчего и самому впоследствии, быть может, сделаться славным мастером.

Но стоило взглянуть на побледневшее, осунувшееся лицо Афимьи, как сердце щемила тоска. Расстаться с горячо любимой матерью казалось невыносимо трудно. А разве легко покинуть ласкового, заботливого отца, с которым пережито так много и радостных и трудных охотничьих дней, который учил его мастерству!..

Илья свыкся с мыслью отдать сына Булату, если тот согласится принять мальчика в ученье. Но трудно, страшно трудно оказалось внушить эту мысль Афимье. И когда пришла долгожданная суббота, сопротивление матери далеко не было сломлено.

Вечером опять пришли Герасим Щуп и Егор Дубов. На этот раз явился Тишка Верховой и робко примостился в уголке у порога. Сознывая свою непоправимую вину перед Ильей, он старался держаться от него подальше, и приход его в этот вечер удивил плотника. Сейчас Тишкино присутствие было лишним, но русское гостеприимство не позволяло хозяевам выгнать гостя.

Все уселись, и после незначительных замечаний о погоде и видах на урожай Герасим откашлялся и многозначительно заявил:

– Толковал я с Булатом про наши дела...

У Андрюши замерло сердце, Афимья закрыла лицо руками, чуя недоброе, а Илья нетерпеливо подался к мастеру:

– Ну что? Что? Да говори скорее!

Но Герасим, сознавая свое значение в эту минуту, еще помедлил и уж потом важно сказал:

– Берет Никита ученика.

Никто не успел вымолвить ни слова, как Афимья запричитала:

– Уведут моего сыночка в чужедальнюю сторонку... А чужедальная сторонка непотачлива, дорога туда не дождем, а слезами полита...

– Ну, завела! – тоскливо пробормотал Илья: ему за неделю пришлось выслушать немало причитаний.

– Не держи на нее сердца, – тихо сказал Герасим. – И волчица детенышей защищает...

Афимья продолжала:

– Уж пускай бы Андрюшенька в монахи ушел – я бы хоть в церкви, хоть в праздники, хоть бы издали смотрела на моего ненаглядного...

Афимья крепко прижала Андрюшу, точно боялась, что сына силой оторвут от нее. Мальчик стоял, притихнув, как испуганный зайчонок: он понимал, что в эти мгновения решается его судьба.

– На родимой сторонке и камень – брат, а на чужой стороне люди жестче камней, – изливала свое горе Афимья. – Кто там приветит, кто пригреет сиротинушку?.. Я хоть и бивала Андрюшеньку, да без ненависти. От старых людей сказано: «Мать высоко руку подымет, да не больно опустит...»

Долго горевала Афимья. Мужчины благоразумно молчали. И когда женщина выплакалась, Илья попросил Герасима:

– Расскажи толком, что тебе обещал Булат.

– А у Булата, вишь, так получилось, – словоохотливо начал Щуп. – Был у него ученик, да отделился о прошлом годе: свою артель собрал...

– У Булата тоже есть артель?

– Он зодчий, а не артельный староста. Не охотник он хлопотать насчет мелких дел. Он заботится лишь о том, чтоб чудесен был вид воздвигаемых им зданий. И как приходит куда, работников сыскивается довольно: всякому лестно потрудиться под началом славного зодчего. Скоро он работу кончит и пойдет на родину. А человек он в годах, и дорожный соратник ему – опора.

– Только не такая, как Андрюшка, – усмехнулся Илья.

– Ого, я сильный, тятя! – выкрикнул Андрюша и, устыдившись, смолк.

Возглас показал, что выбор жизненного пути им сделан.

– Решай, мать! – серьезно обратился к Афимье плотник. – Теперь твое слово. Ты сына родила и выкормила, тебе и участь его решать.

Афимья, хоть и поняла желание сына, все же спросила его дрожащим голосом:

– Ты-то как думаешь, Андрюшенька? Может, пойдешь в монахи?

Андрюша, припав к материнской груди, прошептал так тихо, что только одна мать расслышала:

– Лучше в Великую, в самый падун нырнуть...

– Что ж, сыночек... – величаво выпрямившись, промолвила Афимья. – От века написано: оперится птенец – и вылетать ему из теплого родительского гнездышка... Благословляю тебя в дальний путь!

В избе водворилось торжественное молчание. Только Тишка Верховой в углу то краснел, то бледнел и порывался что-то сказать, но так и не осмелился.

И когда решение было принято, возникли житейские вопросы, от которых не отмахнуться. Первым вспомнил о них рассудительный Егор Дубов.

– А ты-то как же? – спросил он Илью.

– Что я? – не понял плотник.

– Да ведь съест тебя игумен за то, что супротив его воли идешь.

Илья поник головой, а на лице Афимьи проступил румянец. Но тут вмешался Герасим:

– Об этом не тревожьтесь. Я все Булату рассказал, и он дело уладит. Он с наместником хорош; ну, и оповестит боярина, что берет паренька из монастырских крестьян учить на зодчего. Москве с руки псковских умельцев переманивать. Пусть тогда игумен наместнику жалуется!

Мысль о том, что надменный Паисий будет посрамлен, порадовала всех, кроме печальной Афимьи. Но, дав слово, она молчала.

– Игумен все равно постарается тебя доехать, – сказал Егор. – Ну, да мы, мужики, тебя защитим. Всем селом заступимся, авось не дадим в обиду...

Решено было тайком собирать Андрюшу, а мальчику продолжать притворяться больным. Герасиму поручалось просить зодчего зайти в село, когда окончится строительство во Пскове.

Глава VII

Бегство

Прошло около месяца. Андрюша изнывал в душевной избе, но ему строго-настрого запрещали показываться на улице. Посланец игумена нет-нет, да и наведывался к Илье узнать о здоровье будущего монаха. Но, видя разметавшегося на печи мальчика, возвращался с докладом, что Андрей еще болеет.

Мать по ночам обшивала сына в дорогу: днем она боялась работать, чтобы не увидели соседки, – начнется болтовня досужих языков, дойдет до монастыря...

Афимья сшила сыну зимний тулупчик, армячок для лета; все делалось на рост, с расчетом на два-три года. Для лука и стрел был сделан красивый чехол – саадак: без оружия отправляться в дорогу Андрюша не хотел. Сушились сухари, вялилось мясо, коптилась рыба...

Илья подшучивал над женой:

– Твой припас пятерым нести...

– Дорожным людям запас не помешает, – отвечала Афимья.

– На весь век не снарядишь, – неосторожно возразил плотник.

Вспомнив, что она действительно снаряжает сына надолго и, быть может, никогда его не увидит, Афимья помрачнела и замолчала, а Илья раскаялся, что завел такой разговор.

Ожидание, истомившее всех, подошло к концу. В одно из воскресений к Илье пришел Герасим Щуп и, отведя плотника в сторону, таинственно шепнул:

– Готовься: в ночь на среду.

Афимья помертвела, узнав, что только два дня осталось ей провести с сыном, но горе приходилось терпеть молча, и это было еще тяжелее. Только по ночам она давала себе волю и заводила бесконечные причитания, приводившие в отчаяние Илью и Андрюшу.

Во вторник поздним вечером Герасим Щуп ввел в избу низенького пожилого человека в армяке, в потертой меховой шапке. Щуп тут же ушел: зодчему хотелось, чтобы его участие в побеге мальчика осталось тайной для Паисия.

Переступив порог, Булат снял шапку и обнажил лысину, окруженную венчиком седоватых кудрей. Гость приветствовал хозяев чин-чином и сказал глуховатым, но приятным, певучим голосом:

– Подобру ли, поздорову, дорогой хозяин с хозяйшккой?

Илья и Афимья поклонились, коснувшись рукой пола.

– Благодарствуем на добром слове, кормилец! – ответил Илья на приветствие зодчего. – Проходи-ка в передний угол, гостем будешь...

На темном, выдубленном непогодами лице Булата сияли приветливые синие глаза. Андрюша спрыгнул с печи. По правде сказать, все эти недели он побаивался неведомого мастера, который уведет его из родных краев; теперь страх прошел, но Андрюша сильно разочаровался, увидев простого, скромно одетого человека.

Он представлял себе знаменитого зодчего, известного князьям да боярам, совсем иначе. Ему думалось: войдет добрый молодец огромного роста, в парчовом кафтане, в красных сафьяновых сапогах – словом, богатырь из сказки...

Булат прочитал мысли мальчика. Он улыбнулся так сердечно, что Андрюше стало весело.

– Вижу, отрок, не по нраву я тебе пришелся, – молвил зодчий. – А ты на одеяние не гляди! Не одеяние украшает человека, а искусные руки и трудолюбивый нрав. Ты-то работать любишь?

Андрюша молчал.

Илья поспешил принести доски с рисунками сына. Булат рассматривал работы юного художника долго. На темном лице его, покрытом сетью мелких морщин, не было улыбки.

Андрюша зодчему понравился: одет чистенько – в новых сапожках, в холщовых портах и белой рубашке с расшитым воротом; лоб мощный, выпуклый, твердый подбородок, смелые, пристальные глаза.

«Хороший паренек! Жидковат малость, да выправится...»

Отец и сын ждали отзыва о рисунках, сильно волнуясь.

Булат посмотрел на Андрюшу. Мальчик ответил упорным, немигающим взглядом.

– А ты вот что, малый, – заговорил Никита: – ты поличье сделать можешь?

– Что это – поличье?

– Человека нарисовать? Вот хоть бы мамку твою!

– Почто не нарисовать! Могу.

Афимья перепугалась, закрыла лицо руками:

– Али я угодница божья – икону с меня писать!

– Да не икону, – растолковывал зодчий, – это по-иноземному парсуна называется. Их сымают изографы с князей, с бояр. На стенки в горницах вешают...

– Ведь я-то не княгиня, не боярыня! Слыхано ли, с крестьянок поличье сымать!

Кое-как Афимью уговорили.

Булат достал из котомки лист бумаги, тушь, кисточку. Глядя на непривычные рисовальные принадлежности, Андрюша заробел. Неуверенно провел несколько черточек, но скоро освоился.

Наклонившись над листом, он проворно работал кистью.

– Что ж на мамку не глядишь? – спросил Булат.

– Вона! – удивился Андрюша. – Али я ее не видал?

Прошло полчаса. Илья и Никита тихо разговаривали; Афимья возилась у печи, готовя угощение.

– Сработал! – раздался голос мальчика.

С бумаги смотрело поразительно похожее лицо. Это она, Афимья. Вот ее не по возрасту живые глаза под крутыми дугами бровей, скорбные складки у сухого рта, ее повойник, прикрывающий спрятанные навек волосы...

– Микола-угодник! – попяtilась Афимья. – Это же волшебство!

– Не волшебство, – строго поправил Булат, – а дарование! – Зодчий оглядел всех расширенными, засветившимися внутренним огнем глазами. – Слушай меня, человеце! Сыну твоему большой талант дан. Зарыть его в землю – тяжкий, незамолимый грех. Скажу, Илья, по правде: хоть и соглашался я Андрюшу в ученики взять по рассказам Герасима, а все же думал – приукрашивает Щуп достоинства отрока, не столь он к художеству способен, как хвалят. Но теперь сам вижу: уж ежели его не учить, то кого учить? Рад, что он со мною пойдет, – я из Андрюши славного зодчего сделаю, коли нам с ним бог жизнь продлит...

Редко появлявшаяся на лице Андрюши улыбка сделала его необычайно привлекательным. Обрадованный отец низко кланялся.

Только Афимья хмурилась. Простая, бесхитростная женщина согласилась расстаться с сыном, твердо поверив, что его ждут почести, богатство. Шутка ли: учиться у зодчего, известного всей Руси!

Но, увидев Булата, Афимья разочаровалась едва ли не больше, чем ее сын: прославленный мастер был одет как бедный крестьянин.

Чуткий Булат понял настроение матери своего будущего-ученика. Обратившись к Афимье, зодчий с улыбкой сказал:

– Неприветливо глядишь, женщина! Али не хочется сына мне отдать?

Афимья непривычно резким голосом ответила:

– А то и гляжу, батька, что не больно казист у тебя наряд!

– Я не стяжатель! – внушительно ответил Никита. – Я за богатством не гонюсь, вековечный печальник я за мирскую нужду. Сердце у меня неуклончивое,

князьям и боярам я не потатчик, потому и не в чести у них. А знаю зодчих, что многие сокровища скопили и пречудесные палаты себе поставили и живут, как сыр в масле катаются. Того и твой Андрюша может достигнуть...

– Где уж крестьянскому сыну калачи есть! – горько пробормотала Афимья.

– Напраслину говоришь, женщина! Каждому человеку свой предел положен: тому землю пахать, тому корабли по морям водить, тому дивные строения воздвигать, что надолго переживут создателя своего. И коли крестьянскому сыну талант на зодчество дан, кто посмеет его на сем пути задерживать!..

Голос Булата был строг и властен. Афимья смущенно поклонилась гостю:

– Не обессудь, родной, прости меня, бабу, за неразумное слово! Верю, не на худое поведешь моего сынка. Уж только... – Голос Афимьи дрогнул. – Храни отрока! Будь ему в отцово место. Он млад и глуп, его еще пестовать надо...

Афимья и Илья хотели упасть зодчему в ноги, но тот удержал их:

– Будьте безо всякого сомнения. Я в своей кочующей жизни семью не успел завести, так мне ваш Андрюшенька сыном станет. И вы не убивайтесь чересчур, не навек с сыном расстаетесь. Я вам буду весточки через случайных людей подавать. А годика через три-четыре, когда злоба вашего игумена утихнет, мы и вернемся...

Разумная речь старого зодчего если и не развеселила Афимью, то хоть успокоила ее. Срок в три года не так уж велик, если к концу его явится Андрюша, красивый, возмужавший, да к тому же и славный мастер. Может, он тогда и останется здесь: ведь не вечен всевластный Паисий...

Видя, что жена успокоилась, Илья повеселел:

– Что же, Андрюша, будем обряжать тебя в путь-дорогу. Собирай, жена, на стол, а я за дядей Егором сбегаю.

За столом сидели недолго – Булат торопил с отправлением:

– Надо за ночь уйти подальше, чтоб след потеряли монахи, коли спохватятся.

– Об этом, мил человек, не беспокойся, – подмигнул зодчему слегка захмелевший староста. – Я запрягу коня и до свету верст за сорок вас умчу. Пускай ищут!

– Тебе попадет, дядя Егор, коли игумен узнает, – опасно сказал Илья.

– От кого он узнает-то? Я, как обратно поеду, дров нарублю, будто за тем и ездил.

– Ну, спаси тебя бог за доброту! – воскликнул плотник.

Сборы были недолги: Афимья все приготовила заранее. Несмотря на упорные отказы Ильи, Булат отдал ему большую часть денег, заработанных во Пскове.

– Тебе нужнее они, а нам с пареньком не много на дорогу надобно...

Доброта Никиты до слез растрогала Афимью, она уверилась, что ее сын попал в хорошие руки.

Отец и мать благословили сына, и под тихие материнские причитания Андрюша Ильин оставил родительский кров и пустился в неизвестную дорогу.

Илья проводил сына до околицы; Афимья, чтоб не растревлять сердце, осталась дома. Плотник в последний раз обнял Андрюшу здоровой рукой и повернул к дому.

Когда телега миновала околицу и Егор Дубов взмахнул кнутом, чтобы погнать лошаденку вскачь, из придорожных кустов метнулись две тени и стали перед телегой.

– Неужто монахи вызнали про наш сговор? – испуганно шепнул Егор. – Эй, там! Дай дорогу! Затопчу!..

– Повремени чуток, дядя Егор, – раздался негромкий голос. – Это я!

– Что за дьявол! – выругался Егор. – Да это, никак, Тишка?

– Я и есть, дядя Егор, – отозвался мужик. – Мы тут с бабой...

– А что вы здесь делаете?

– Мы сбежать решили, дядя Егор, насовсем!
– Вона! – удивился староста. – Да как ты это надумал, безумная голова?
– Мочи нет терпеть, дядя Егор, все силушки повыворотили...
– А как земля? Изба?
– Всё бросили! Пропадай оно пропадом, а мы с бабой порешили на Москву идти.

– Это ты мне, старосте, такие речи говоришь? – рассердился наконец тяжелодум Егор. – Свяжу тебя да отвезу в монастырь! Там тебе покажут, как бегать...

– А уж Андрюшку, верно, назад сдашь, дяде Илье? – нагло спросил Тишка.
– Как?! Ах ты пашенок! Да ты что удумал? Доносить пойдешь?
– А что ж! Коли меня удержишь, то и донесу. По крайности, мне от игумена награждение выйдет.

– Ты, вижу, из молодых, да ранний! – горько усмехнулся Егор. – Только как ты все это вызнал?

– Я ведь у Ильиных сидел, как вы стоваривались. А потом мы с бабой попеременно глаз не сводили с Ильина двора, подглядывали, – наивно похвалился Тишка. – И как сегодня усмотрели, что чужой человек к Илье пришел, а ты стал лошадь запрягать, тут и мы за околицу!

– Что же, пес с тобой, садись! – хрипло согласился Егор. – Семь бед – один ответ!

Тишка с бабой влезли в телегу, таща за собой узлы с пожитками. Егор стегнул лошадь, и телега покатила в темную даль.

Побег двух монастырских «душ» (баба в счет не шла) был обнаружен быстро. По несчастной случайности, игуменский служка явился в среду проведать о здоровье Андрюши. А может быть, это и не было случайностью. Может, Тишка Верховой не сумел сдержать болтливый язык и проговорился о намерении Ильи Большого укрыть сына от монашества.

Не застав Андрюшу в избе, служка не поверил Афимье, что мальчику стало лучше и что он ушел с товарищами в лес. Боясь игуменского гнева за легкоеверие, служка сидел у Ильиных до позднего вечера, и дело раскрылось. К тому же сельчане обратили внимание на тишину и безлюдье во дворе Тишки Верхового.

Егор Дубов, чтобы отвести от себя подозрения, первый поскакал к Паисию с докладом о случившемся. Его жестоко выпороли за нерадение к монастырскому благу и приказали снарядить погоню. Погоня отправилась только в пятницу после полудня и беглецов, понятно, не настигла. Зодчий и его спутники были уже за сотню верст от Пскова, да и шли они по ночам, а днем прятались в лесных дебрях.

Через несколько дней беглецы разделились. Тишка Верховой с женой взял путь на Москву. Расставание прошло без сожалений. Никите не по нраву пришелся трусливый и наглый Тишка, целые дни мечтавший вслух, как он пристроится на службу к одному из бояр, высланных в Москву после псковского разорения, и какую сытую и беспечальную жизнь поведет он, Тихон Верховой, мужик обстоятельный и ловкий, сумевший перехитрить самого старосту Егора.

Никита Булат с учеником Андрюшей Ильиным повернули на восток, к Ярославлю.

Глава VIII

Скитания

Шесть лет прошло с тех пор, как Андрюша Ильин ушел из Выбутина с Никитой Булатом.

Андрей сильно изменился за эти годы. Он далеко перерос своего старого учителя. Теперь голова его не казалась несоразмерно большой: она стала под стать широким плечам и молодецкому росту; но прозвище Голован как пристало к нему

в детстве, так и осталось навсегда. На смуглом выразительном и умном лице Андрея выделялись глаза. Не всякий мог долго выдержать взгляд серовато-зеленых глаз юноши, настойчивый и зоркий, как у орла. На щеках Голована курчавился первый пушок. Большие, рабочие руки с широкими кистями и мозолистыми ладонями привыкли владеть топором и молотком каменщика, но еще искуснее управлялись с кистью и пером.

Булат был все тот же: время проходило для него незаметно. Чуть побольше стала лысина, да прибавилось морщин на темном лице. Но так же крепок был строитель, по-прежнему без усталости бегал он по подмосткам.

Много попадалось за эти годы работы, но не всякая приходилась Никите по душе. Грубые, простые постройки его не привлекали. Иное дело, если он мог запечатлеть в дереве или в камне волновавшие его образы: тогда зодчий работал не покладая рук и не торгуясь о вознаграждении.

Не раз представлялся Булату случай сколотить артель, стать подрядчиком и обогатиться, но богатство не манило зодчего. Случалось, что его выбирали артельным старостой за большие знания и честность: Никита неизменно отказывался.

За шесть лет учитель с учеником исходили Русь из конца в конец. Плавали по Студеному морю на Соловецкие острова; там в монастыре воздвигли шатровую звонницу вместо старой, обветшалой. Были на родине Булата – в древнем Суздале, во Владимире, построили церквушку в Козельске.

Только в Выбутино не заглядывали ни разу, а хотелось Головану провести стариков-родителей. Они уж и направились туда, но встреченный в Вышнем Волочке Герасим Щуп рассказал, что игумен Паисий все еще злобится на Андрея за самовластный уход, за то, что не пошел парень в иноки.

– Пускай сунет нос в наши края, – хвалился Паисий, – уж я его достигну! Он у меня насидится в подвале, забудет про зодчество!

От Герасима юноша узнал, что Илья с Афимьей живы-здоровы, хоть и постарели за годы разлуки. После бегства Голована игумен сильно гневался на плотника, донимал несправедливыми поборами, намереваясь разорить и выжить из Выбутина, но помощь односельчан, и особенно твердого в дружбе Егора Дубова, поддержала стариков и помогла перенести невзгоды.

Путники повернули назад от границ Псковщины, послав с Герасимом весточку от Андрея домой и отправив все деньги, какие нашлись в ту пору у Булата: их оказалось немного, деньги у Никиты не держались...

Оставляя законченную стройку, Булат не спешил искать работу; иногда и месяц, и два, и три бродили они с Андреем по городам и селам.

Многому научился молодой Голован. Он постиг тайны зодчества, изучил виды архитектурных украшений, мог сам руководить строительными работами. Чтобы развить в юном ученике художественный вкус, Булат показывал ему лучшие памятники русской старины.

Во Владимире они видели старинные Золотые ворота и построенный князем Всеволодом в конце XII века, Дмитриевский собор – один из немногих замечательных памятников каменного зодчества того отдаленного времени.

Дмитриевский собор невелик. Но строгие выступы стен, разделяющие фасады на неравные доли-прясла, завершенные арками, и соразмерность частей храма придают ему вид торжественный и величавый. Больше всего в этом создании древних мастеров восхитила молодого Голована каменная резьба, покрывающая стены храма. В верхнем ярусе стен множество причудливых изображений: сцены борьбы людей с хищными зверями, крылатые львы, всадники, необычайные растения, удивительные птицы с такой тонкой отделкой, что в крыльях видно каждое перышко... Рисунки располагаются нисходящими рядами, в стройном порядке.

Остроглазый Голован любовался также резными колонками, которые широкой горизонтальной лентой опоясывают храм; между ними размещены изваяния святых.

Из Владимира зодчий повел ученика в недалекий город Юрьев-Польской осмотреть древний Георгиевский собор.

Судьба была немилостива к Георгиевскому собору: в XV веке он обрушился. Его поручили восстанавливать великокняжескому зодчему Василию Дмитриевичу Ермолину. Вопреки обыкновению, Ермолин выполнил работу небрежно: многие камни попали не на свое место; цельность резьбы кое-где нарушилась.

Булат обратил внимание Андрея на иной характер работы. Это уже не те изящные, подобные резному дереву, барельефы Владимирского собора. Здесь все казалось первобытно, дико, грубо, но чувствовалась большая сила в резце художника, умение справляться с камнем. Лики святых смотрели прямо на зрителя.

Впервые увидев эти изображения, Голован оцепенел, как случалось с ним в детстве при виде исключительной красоты. Он смотрел безотрывно, не слушая учителя; он точно перенесся в другой мир, где были только он да эти дивные изваяния. Насилу растолкал его Булат и привел в себя. Грозные, прямо смотрящие глаза каменных святых преследовали Андрея во сне.

На стене Георгиевского собора Голован увидел китовраса – кентавра древних.

– Наставник, неужто такие живут?

– То еллинские басни, – отвечал зодчий. – Ты сам в Выбутине резал дивных зверей и птиц. А есть они на свете?

Голован задумался. Лицо озарила ясная улыбка – редкий гость на лице юноши.

– Не знаю, – признался он. – Передо мной они возникали как в видении. И запечатлевались в памяти.

– Ты их и создавал. Так и древние мастера творили китовраса и иных чудищ.

Но Булат не просто показывал – он учил. Он растолковывал замыслы строителей, объяснял Андрею, что означал тот или другой наружный вид церкви, почему зодчий применил такое расположение частей, а не иное.

– Не по единому правилу строят на Руси храмы, – говорил зодчий приятным глуховатым голосом. – Видали мы белокаменные храмы в Юрьеве-Польском, во Владимире. От подножия до верхнего фонаря – один белый камень, и то взору человеческому неприютно, не на чем остановиться без наружных украшений. И зодчие измышляли выступы разнообразные и на лепные круги. Людские лики, змеев-драконов, китоврасов вырезывали, чтобы глаз смотрящего возвеселить. Так строили во Владимире, в Суздале моем родном, в Нижнем Новгороде... Это старина отходящая! И еще скажу: тайну замеса не больно постигли наши владимиросуздалские строители, клали камень на камень чуть не посуху, а оттого бывало здания у них обваливались...

– А как по-новому строить, учитель? – с живым любопытством спрашивал юноша.

– По-новому, сынок, перемежать надобно красный кирпич и белый камень. И белый камень класть поясами либо гнездами, дабы он кидался в глаза посередь красного. Замес потребен крепкий, чтобы на века кирпич с камнем сковал, и мы такой замес делать научились.

– Где же так строят?

– В Ярославле, в Ростове, а лет полста назад и в Москве начали. От московских зодчих сие мастерство и я перенял и разношу оное по Руси. Разновидное сплетение красного с белым глазу радостно, и при таком сочетании насаживать зверовидных драконов на хоромину не требуется.

– Ах, наставник, – в восторге восклицал обычно сдержанный Голован, – коли нам судьба приведет изрядную церковь строить, сим способом станем возводить!

– Поживем, может и сбудется, – раздумчиво отвечал Булат.

* * *

С тех пор как Голован оставил родной дом, Булат построил две каменные церкви, звонницу и пышные палаты киевскому сенатору. Живали они на месте и по полугоду и по целому году. Но когда Андрей останавливался мыслью на прошлом, оно представлялось длинной-длинной дорогой с короткими остановками на пути.

Юноша полюбил дорогу. На стройках Булат был занят по горло: горячий и живой нрав заставлял его целые дни проводить на лесах. Зодчий выделял ученику часть работы, по вечерам придирчиво проверял его, строго бранил за ошибки, но на долгие разговоры не хватало времени. Не так повелось в дороге.

Они шагали пустынной тропой. Булат тихонько напевал былинку. Утомясь пением, начинал разговаривать: строитель умел и любил говорить. Задушевная поучительная беседа шла часами. Булат много видел, много читал. Он рассказывал Головану, как строились кремлевские стены в Москве, как воздвигались знаменитые монастыри, храмы. Знал он о жизни славных старинных зодчих – Ермолина, фрязина Аристотеля и других...

Верста за верстой проходили незаметно. Леса сменялись полянами, снова дорога шла бором, потом впереди вдруг раскидывались поля, и вдалеке на холме чернел высокий, суживающийся кверху шатер колокольни. Такой вид всегда радовал Булата.

– Смотри, сынок, смотри! – показывал зодчий сухой, но сильной рукой. – Вон звонница виднеется. И как утешительно такое зрелище путнику, утомленному дальней дорогой! Звонница... Сие означает: там деревня, там живут наши, русские люди. Сердечно приютят они усталого скитальца, накормят, напоят, дадут заслуженный отдых... А в зимнюю непогодь? Шумит и бушует вьюга, белый снег слепит глаза, и дорожный человек, сбившись с пути, растеряв последние силы, готов лечь на холодную пуховую постель и заснуть беспробудным сном... И внезапно слышит он колокольный звон. То старик-сторож в ветхом тулупишке трудится, не жалея сил, и равномерно дергает веревку колокола. Скольких спасает сей благотворный звон!.. Счастлива наша доля, Андрюша! Это мы, строители, воздвигаем городские стены с башнями и деревенские колокольни, без коих и представить себе невозможно землю русскую...

Голован восторженно соглашался:

– Твои мысли – мои мысли, учитель! Точно ты у меня в голове побывал!..

Часто Булат говаривал:

– Были мы, Андрюша, во многих краях старорусской земли. Ходили на север – к Студеному морю, были на закате солнца, спускались и на полдень – в Киевщину и даже в дальнюю Галичину. Там и речь людская звучит будто не по-нашему и не сразу ее поймешь, а ведь это все наша русская земля, и собирает ее под свою высокую руку Москва. Прежде велика ли была московская земля? А теперь, погляди, конца-краю ей нету!..

За разговорами незаметно приближался вечер. Летом Булат любил ночевать в лесу, в поле.

Выбирали хорошее место у ручья, останавливались, сбрасывали с усталых плеч сумки, распоясывались, скидывали зипуны. Голован собирал хворост; Никита варил кашу, жарил на углях птицу, убитую стрелой Андрея, либо готовил уху, если юноше удавалось наловить рыбы. Трапезовали долго, чинно...

Костер догорал. Угли рдели угасающим малиновым светом. Скитальцы лежали на траве, смотрели в небо, откуда ласково светили далекие звезды.

Голован до страсти любил эти короткие душистые летние ночи...

Намного труднее приходилось зодчим осенью и зимой.

Хорошо было боярину равнодушно глядеть на покосившиеся избенки мужиков, когда он проезжал в запряженной шестериком колымаге мимо жалких деревушек, спеша к себе в богатую усадьбу. Но Никите с Андреем, отшагавшим за день тридцать-сорок верст, зачастую приходилось проситься на ночлег в одну из бедных мужицких избенок. Никиту и Андрея сразу окружала стихия народного горя.

К какому бы хозяину ни попадали они, у каждого была своя беда. У одного боярский тиун свел за недоимку последнюю лошаденку. Другой выбивался из сил, отрабатывая долг, взятый в неурожайный год у игумена соседнего монастыря; и сколько бы ни надрывался мужик на монастырских полосах, – когда подходило время расчета, оказывалось, что долг не уменьшался, а нарастал.

А в иной избе целая семья лежала вповалку, и сердобольные путники, поборов первое желание убежать сломя голову из зараженного места, сбрасывали зипуны и принимались ухаживать за больными: умывали запекшиеся от жара лица, кормили скудными припасами из своих котомок, поили свежей водой...

Казалось, от долгой привычки наблюдать людскую беду сердце должно бы зачерстветь, но не таков был нрав Никиты Булата. Каждый раз, слушая печальную повесть хозяина о его невзгодах, Булат сызнава загорался соболезованием к чужому несчастью, вместе с собеседником проклинал боярский гнет и мечтал о лучших временах. А уходя, делился с беднягой скудным содержанием своего кошелька.

Нет, не суждено было разбогатеть старому Никите, вечному страннику в океане народной нищеты!

Теми же чувствами сострадания к людям проникся с юных лет и Андрей.

Тяжело было изо дня в день болеть страданиями других, и зодчим становилось легче на душе, когда они проходили безлюдными местами, хоть и много опасностей приходилось выносить одиноким пешеходам.

Не раз во время буранов отсиживались они в самодельном шалаше по нескольку суток; дикие звери рыскали вокруг, и спасали от них только меткие стрелы Голована да неугасимый костер. Случалось забредать в такие дебри, где, как в сказке, «не было ни езду конного, ни ходу пешего, где не слышать было духу человеческого». Тогда выкапывали из-под снега мерзлую бруснику, отбирали у белки запас орехов. Потом все-таки выбирались к жилью, к глухой лесной деревушке, отделенной от другой такой же десятками верст.

Их принимали с великим удовольствием: захожие люди приносили вести из далекого мира, о котором лесовики знали только понаслышке.

Путников кормили, оставляли гостить по неделям. Древний дед с пожелтевшей от старости бородой запрягал косматую лошаденку и вез странников в соседнюю деревушку, к приятелю, такому же деду...

Случалось Никите и Андрею встречаться на дорогах и с лихими людьми. Но что взять с убогих странников! Разбойники, узнав, что перед ними кочующие строители, отпускали их невредимыми.

Так привык Голован странствовать с учителем по широкой русской земле, и мечталось ему: хорошо бы проходить так всю жизнь и смежить усталые очи на зеленой мураве, под широколиственным кленом... Только хотелось еще разок побывать дома, повидаться со старыми отцом-матерью.

Глава IX

Набег

Васильгород был основан в 1523 году; название он получил в честь великого князя Василия III. Московские воеводы ходили в том году на Казань и поставили крепость на казанской земле, при впадении Суры-реки в Волгу, в двухстах

пятидесяти верстах от столицы татарского царства. Постройка Васильгорода урезала владения казанских ханов, и они не могли простить этого Москве.

В 1546 году васильгородский воевода решил укрепить городские стены и возвести несколько крепостных башен: отношения с Казанью за последние годы крайне обострились, и можно было опасаться нападения татар на город.

Работы производились под руководством Никиты Булата.

Закончив работы успешно и быстро, Никита и его ученик направлялись в Муром, где предвиделась работа.

Тропа вилась лесом. В этот день решили остановиться на ночлег пораньше: места были опасные, разбойные шайки казанских татар набегали сюда часто.

Более полутора веков – со времен нашествия Чингисхана и до великого разгрома татарских орд на Куликовом поле – монгольское иго тяготело над Русью, задерживая ее развитие. Но и после Куликовской битвы еще в течение целого столетия великие князья московские принуждены были платить дань татарам, пока Русь не сбросила с себя иго Золотой Орды.

Из обломков когда-то могущественной, наводившей трепет на Европу Золотой Орды образовались татарские ханства Крымское, Казанское, Астраханское и Ногайское.

Эти татарские государства были еще очень сильны, и много бедствий терпела Русь от соседства с ними.

Татарские властители первым законом жизни ставили войну, для разжигания которой им не требовалось никаких поводов и предлогов. Самому ли хану или его рядовому воину война представлялась грабежом, и этот грабеж, по их понятию, можно было затевать в любое время, если не встретишь достаточно сильного отпора.

Особенно много приходилось русским людям страдать от ближайших соседей на востоке и юге – от казанцев и крымцев.

Казанские орды беспрестанно опустошали пограничные русские области и по временам проникали вглубь страны. В 1539 году рать казанского хана Сафа-Гирея дошла до Мурома и Костромы и хотя нанесла русскому войску большой урон, но была отбита. В следующем, 1540 году, в декабре месяце, Сафа-Гирей вновь появился у Мурома, но под угрозой нападения владимирских воевод и касимовских татар, предводимых ханом Шиг-Алеем, ушел обратно.

А летом 1541 года стотысячная громада под главенством крымского хана Саип-Гирея двинулась на Русь с юга и 30 июля вышла на Оку, оставив за собой тысячи сожженных русских сел и деревень. Московские воеводы вывели навстречу татарам свое войско. Загорелся бой.

Увидев перед собой сильную московскую рать, Саип-Гирей гневно упрекал изменника князя Семена Бельского, который привел татарское войско на Русь:

– Как же ты мне, собака, говорил, что урусы пошли казанцев отражать и биться со мной некому? А я столько воинских людей в одном месте и не видывал!..

Узнав, что к русским вдобавок подошли пушки, Саип-Гирей начал отступление.

И редкий год проходил без того, чтобы татары, подстрекаемые лютыми врагами Москвы – турками, не налетали на Русь либо с востока – из Казани, либо с юга – из Крыма, либо сразу с двух сторон. Орды крымчаков и казанцев жгли, грабили, уводили в плен множество людей. А случались такие лихие годы, когда татарские властители, сговорившись между собой, входили еще в сношения с литовцами, и те помогали татарам разорять Русь.

Русские женщины пугали непослушных детей в колыбельках страшными словами: «Татарин идет!» – и дети, дрожа, затихали. Это в те времена сложилась пословица: «Незванный гость хуже татарина».

Под страшной угрозой жила тогда Русь, и всякий ее житель, вплоть до самого бедного, заморенного боярским гнетом крестьянина, понимал, что не может страна мирно развиваться до тех пор, пока не исчезнет опасность татарских нашествий хотя бы на самой протяженной и беспокойной ее границе – восточной.

Изнывавший под бременем бесчисленных налогов и повинностей, русский мужик только одну повинность выполнял с охотой; и эта повинность была – вступление в ряды войска для защиты родной земли от набегов татар. Миролюбивый по природе русский человек не хотел ссор с соседями, но когда эти соседи не признавали правил общежития, он вставал во всей своей силе, чтобы их утихомирить.

Между русскими и татарскими владениями пролегла почти незаселенная полоса шириной во много десятков верст.

Булат рассказал Андрею, что главная оборона от татар проходит по Оке – от Нижнего Новгорода до Серпухова, далее спускается к Туле, а там поворачивает к Козельску. Оборону эту составляют укрепленные города и большая, быстрая река Ока. Не везде ее можно перейти, а на бродах построены острожки, понаделаны засеки и завалы, и при них стоят сильные караулы. А еще за несколько сот верст к югу, за самыми дальними русскими поселениями, бесстрашно выдвинувшимися в южную степь, с весны и до поздней осени ходят сторожевые заставы.

– Называются те заставы сторожами, – говорил Булат, – и ставятся они в таковых местах, где б им нападающих воинских людей можно было усмотреть. На холмах сидят, а кои на высокие дубы взбираются и там, аки птицы, гнездятся. А держатся сторожа бережно, станы постоянные не устанавливают и костры большие не раскладывают, дабы их татары издали не выглядели. И где в полдень стояли, на том месте не ночуют, а на иное переходят...

Глаза Голована горели восхищением. С юной отвагой он подумал, что хорошо было бы с верными товарищами скакать на быстром коне по степям, подкарауливать хитрого врага и сражаться с ним, оберегая русскую землю.

– А коли увидят сторожа нехристей, то бьются с ними?

– Коли мало ворогов, бой начинают. Ну, а в случае большая сила идет, то в отступ уходят и костры запаливают, чтобы своим весть подать.

– Далеко ли от костра дым видать?

– Ведь костры цепочкой до самой Москвы наготовлены, и сидят возле них денно-ночно старички немощные, вроде меня, – пошутил Булат. – Набежит татарва на Русь, а в Москве полки снаряжаются злых недругов встречать...

– Хорошо, учитель, удумано!

– Хорошо-то хорошо, да земля наша русская безмерно велика. Грани наши на коне за год не объедешь. Вороги же в войне опытные и на ратные хитрости способны. Тут малым отрядом тревогу подняли, а сами в ином месте тучей прорвутся на Русь. Вот попробуй, сдержи их...

Место для стоянки выбрали глухое, укромное. Маленькая полянка спряталась в стороне от дороги, в лесной чащобе, и на окраине полянки прозрачный родник. Огня разводить не стали. Поужинали быстро, лежали смотрели на погасавшее над головой небо.

Булат неторопливо рассказывал о детстве, о том, как он учился зодческому делу. В который раз слушал Андрей повесть о юных годах учителя, и она не надоедала ему, как не наскучивает ребенку старая, знакомая, но милая сказка.

– Сиротой я остался по девятому году, – неспешно повествовал Булат. – У нас тогда в Суздале полгорода от повальной хвори вымерло. Из милости приютили меня чужие люди. Известно: горькому Кузеньке – горькие песенки. Хлебнул я напасти, покуда не вышел в года... Благодетели скоро спихнули меня с рук: отдали в ученье по каменному делу. О ту пору великий князь Василий Иванович много

старался об строительстве города и надумал Кремль новыми стенами обнести. Много требовалось работников, вот и наша артель суздальцев пошла в Москву.

Доставалось мне от каменщиков: тот щелкнет, тот толкнет, тот подножку даст... Только и слышишь: «Никитка, подай! Никитка, принеси! Никитка, сбегай!..» А у Никитой всего две ноги, хоть и был я проворен. Сунешь хозяину не тот скребок – по затылку долбанет, замес пригостишь жидкий – жди таски немилостивой... Что старое поминать! Не так мое ученье шло, как твое. Сие не в похвалу себе говорю, Андрюша... Но пришла и ко мне удача. Про Ермолина, славного строителя, я тебе рассказывал не единожды. Много русских людей обучил Ермолин строительному искусству; был среди них и Феофан Гусев. Тот Феофан и заприметил меня, как я с ношей по мосткам бежал, подозвал, поговорил. Сметка моя и усердие по нраву Гусеву пришли, и сказал он мне:

«Буду тебя учить! Старайся – знатным мастером вырастешь!»

С того дня повернулась ко мне моя судьбина лицом: взял меня Феофан Гусев в ученики. Правду говорят: «От счастья и под колодой не ухоронишься!»

Повелел мне Гусев обучиться грамоте:

«Не умея читать-писать, никогда дельным мастером не станешь!»

Знаемый мною грамотей обучил меня чтению и письму и, спасибо доброму человеку, ни копейки за то не взял.

Стал я все уведанное записывать, а то ведь в уме что на песке: подул ветерок – унес! И много за жизнь свою доброго узнал, что и тебе передаю по силе-возможности своей...

– За ваши премудрые поученья всем вам, старым мастерам, не один я, а вся русская земля спасибо скажет! – горячо отозвался Андрей.

Зодчие испуганно оглянулись: им показалось, что в лесу хрустнуло раз-другой... Наступила долгая тишина. Булат чутко прислушивался. Снова шорох за стволами деревьев, окружавших поляну.

– Тише! – шепнул Никита. – Боюсь беды... Ах, жалко, песика у нас нет! Он бы предостерег.

– Опасаешься татар?

– Чудится мне, крадутся в лесу... – Булат присмотрелся к просвету между стволами и вскочил с отчаянным криком: – Беги, сынок, беги!

На поляну ворвались татары. Нападающих было человек пятнадцать. В овчинных тулупах, в войлочных малахаях, со злыми смуглыми лицами, с черными косыми глазами... В руках виднелись кривые сабли, у иных были кистени, арканы.

С криком «Алла, алла!» разбойники бросились к Никите и Андрею.

Голован схватил лежавший наготове лук. Стрелы засвистели одна за другой. Два татарина рухнули наземь, третий с воем схватился за плечо, в котором засела гибкая стрела.

Татары исчезли в чаще, будто их и не было.

– Отбились! – торжествующе воскликнул Голован.

– Плохо ты татар знаешь, – с горечью возразил старик. – Они нас обходят, чтобы с тылу напасть.

Предположение Никиты оказалось верным. Сзади, из ближних кустов, выскочили сразу трое. Они появились так внезапно, что Голован не успел поднять лук.

Схватились врукопашную. Один подмял Булата, двое с торжествующим гиком стали крутить Андрею руки за спину. Отчаянным усилием парень вырвался, стукнув одного татарина о другого. Молодой и проворный, он увернулся еще от двух-трех врагов, выбежавших из лесу, нырнул под брошенным арканом. Беглец почти достиг леса, но из-под громадной ели, взвизгнув, выскочил старый татарин. Свистнула сабля, и Андрей покотился в траву с рассеченной головой. Татарин вытер

саблю о полу халата, равнодушно взглянул на распластанное тело и заспешил к своим, которые, дико галдя, вырывали друг у друга скудную добычу.

* * *

Шайка разбойников – деренчи – насчитывала человек пятьдесят. В большинстве это были бедняки – байгуши. Чтобы поразжиться и заплатить долги казанским богачам, они пустились в набег на Русь. Пробравшись между редкими сторожевыми заставами, деренчи обходили города и большие села, нападали на малолюдные деревни и одиноких путников.

Никиту притащили в татарский стан, там он встретился с несколькими десятками товарищей по несчастью.

Булат оказался последней жертвой деренчи. Наутро они собрались в обратный путь.

Осмотрев полоняников, атаман шайки ткнул пальцем в нескольких слабых и раненых. Татары оттащили их в сторону и зарезали.

Остальных привязали арканами к седлам, вскочили на малорослых косматых лошадемок и двинулись рысцой. Чтобы поспеть за конными, русским пришлось бежать.

Задыхаясь от напряжения, весь потный, с сердцем, которое, казалось, пробьет ребра, Булат бежал за конем татарина, которому достался по жребию.

Никита бежал, и в воспаленном мозгу вертелась неотвязно одна мысль: «Убили Андрюшу, убили!.. Золотую голову загубили!..»

К полудню деренчи забрались в потаенное место и сделали привал до вечера. В дороге они зарезали трех женщин и подростка, которые не могли выдержать бег – упали и волочились на арканах.

Отдышавшись, Булат подошел к толпе полоняников и сказал торжественно:

– Житие просторное кончилось, братие! Великие страдания предстоят нам...

* * *

Рана Андрея оказалась не смертельной. Крепка была русская кость, да и в руке татарина, видно, не стало прежней силы. Сабля скользнула вкось, разрешила кожу и слегка повредила череп. Опасность грозила от другого: раненый потерял много крови.

Часа через два после ухода татар Голован очнулся от ночного холода: разбойники стащили с него все, кроме рубахи и портков.

Расслышав журчанье ключа, юноша со стоном пополз к нему. Несколько раз теряя сознание и снова приходя в себя, Андрей добрался до родника, зачерпнул горстью воды, напился. Отдышавшись, залепил рану илом и впал в забытье...

Глава X

Холоп князя Оболенского

Голован остался бы на лесной полянке навек, да спас захожий бортник. Разыскивая в лесу ульи диких пчел, он набрел на раздетого человека. Бывалый лесовик умел лечить раны. Соорудив волокушу, он притащил Андрея на пасеку и выходил его.

– А ты не вовсе бедовик, паря, – сказал он, когда Голован уже мог разговаривать. – Видать, твои красные дни впереди!

– Это как кому на роду написано! – отвечал Андрей. – Вот наставника моего Булата угнали басурманы – я б за него семь раз смерть принял!

– Об нем горюй не горюй: из татарских лап не вырвешь, разве только выкупишь.

– У меня ни алтына...

– Тогда распростишься довеку.

Слова бортника, однако, вселили надежду в душу Андрея. Он твердо решил пойти в Москву, заработать денег и выкупить учителя из плена.

Отблагодарив мужика за добро и заботы, получив от него лапти, рваный армяк да котомку сухарей, Голован отправился в дальнюю дорогу.

Питаясь подаянием, работая у зажиточных мужиков, Андрей подвигался к Москве.

Беда настигла его невдалеке от Мурома.

Голован шел по пустынной дороге, когда показались всадники в теплых кафтанах, в кожаных шапках. Все они были хорошо вооружены: в руках бердыши и рогатины, за плечами луки. Голован сошел в сторону. Но конники окружили его.

– Стой, малый, не беги! – грубо приказал старшой, хотя юноша и не думал бежать. – Куда путь держишь?

– В Москву.

– Хо-хо! Да-а-леко! А у тя отпускная грамотка есть?

Голован испугался. Когда он бродил по Руси с Булатом, у них не раз спрашивали отпускную грамотку. Тогда старый зодчий вытаскивал из сумы указ с печатью, и путников отпускали. Но указ пропал во время татарского набега.

Запинаясь, Голован объяснил, что грамотки у него нет, но он человек свободный, ученик строительного дела.

– Свободный? – усмехнулся предводитель отряда. – Ты нашего боярина Артемия Васильевича беглый холоп, и мы тебя поймали!

– Сколько ни бегай, а быть бычку на веревочке! – молвил один из верховых. – Тебя, Волока, должен тиун наградить: ужо третьего на неделе приводишь.

– У меня глаз зоркой, дальновидный глаз! – похвалился Волока. – Иди с нами, малый, да не супротивничай, а не то в железа скуем... Амоска, посади его к себе!

Голован видел, что сопротивляться бесполезно, и сел позади Амоски.

Андрею не раз приходилось слышать, как бояре и дворяне, нуждаясь в слугах, по произволу пишут людей к себе в холопы. «Судебник» грозил за незаконное лишение свободы суровыми карами; но кары не устрашали насильников.

Достаточно было боярскому тиуну явиться к наместнику с посулом и заявить: «На сего нашего сбеглого холопа есть у нас послухи», – и попавшему в беду не было спасенья.

Наместник давал на приведенного «правую грамоту» и тем узаконивал холопью его участь. «Написал дьяк – и быть тому так!»

Иным удавалось сбежать, но господа задерживали холопа, где бы потом он ни попался.

Мрачные думы одолевали Голована. Амоска оглядывался на него с состраданием: душа парня еще не очерствела. Когда они отстали на повороте дороги, Амос шепнул:

– А ты, малый, выдумай себе имя!

– Зачем? – удивился Голован.

– Беспонятливый! Да коли «правую грамоту» напишут на твое природное, тебе довеку из кабалы не выбраться.

– Наставление твое исполню! – обрадовался Андрей.

Часа через два группа поимщиков въезжала в усадьбу князя Артемия Васильевича Оболенского-Хромого.

Усадьба походила на маленькую крепость. Привольно раскинувшись на нескольких десятинах земли, она была обнесена высоким бревенчатым тыном, а в воротах стояли сторожа с дубинками.

Один из сторожей ухмыльнулся:

– С добычей?

– Заполевали!

Боярские хоромы красиво возвышались посреди двора. Крыши двускатные, четырехскатные, бочкообразные, шатры разной высоты лепились друг к другу в живописном беспорядке.

Голован невольно остановился, рассматривая здание. Но старшой грубо дернул его за руку и заорал в ухо:

– Эй ты, блажной! Остолбенел?

Андрей вздрогнул, очнулся.

На высоком крыльце стоял княжой тиун Мурдыш, которому донесли о приводе нового холопа. Был Мурдыш приземист и плотен, чуть раскосые глаза смотрели властно. Мурдыш поражал богатством наряда: малиновый суконный кафтан с золотыми нашивками, поверх кафтана накинута враспашку червчатая ферязь с золочеными пуговицами; на голове бобровая шапка. По одежде и осанке тиун мог сойти за боярина.

Тиун был правой рукой князя Оболенского и в его муромской вотчине вершил дела как хотел. Своей рабской долей Мурдыш гордился: «Я моего господина природный холоп!»

Мурдыш знал грамоту и ведал письменной частью в имениях Оболенского. В отписках и челобитьях тиун наловчился не хуже любого приказного дьяка.

Тиун милостиво кивнул головой поимщикам, которые подвели Голована к крыльцу.

– Попался, вор! – злобно промолвил Мурдыш. – Долго ж ты, холоп, от нас бегал!

– Я не вор и не вашего боярина беглый холоп, – твердо возразил Голован. – Звать меня Семен, Никаноров сын, а родом я из города Пскова.

– Облыжные речи говоришь, Семейко, Никаноров сын! Родом ты не псковской, а наш, муромской. Сбег ты от нас в позапрошлом году, и на то у нас грамотка есть. Ужо завтра я ее покажу!

Голован улыбнулся, и его насмешливая улыбка взбесила тиуна. Оба молчали, и каждый думал своё. Андрей понимал, что тиун составит кабальную грамоту на имя Семейки Никанорова и тем признает его вымышленное прозвание. А Мурдыш догадался, что пленник выдумал имя; но приходилось утвердить его ложь и составить кабальную запись, которая немного будет стоить.

Мурдыш сказал вполголоса:

– Ну, Семейко, или как там тебя... Знаю, ты парень с головой. Будешь верно служить – я тебя возвышу: у меня что выговорено, то и вымолочено!

– Коли ты меня так хорошо знаешь, поведай: куда я пригоден и к какому делу приставить меня мыслишь?

Рука Мурдыша полезла к затылку, и он смотрел на Голована в недоумении. Но к тиуну подскочил Волока и шепнул ему на ухо. К Мурдышу вернулась уверенность:

– Ведомо мне, что ты строитель. К сему делу тебя и приспособим.

Голован понял: слова, необдуманно сказанные на проезжей дороге, выдали его.

– Не хочу я здесь работать! – в отчаянии вскричал Андрей. – До самого князя дойду!

– Здесь, на усадьбе, я князь! – Мурдыш гордо подбоченился.

– Не князь ты, не царь, а господской псарь!

Насмешка взбесила тиуна:

– Эй, люди! Дать малому двадцать плетей за побег и посадить на хлеб, на воду. А там поглядим!

После наказания сердобольный Амоска, покачивая головой, сказал:

– Понапрасну супротивничаешь! У нас, миляга, медвежья берлога, к нам государевым дьякам и то ходу нет. Ты, Семейшко, до поры до времени затаись...

* * *

Вотчина Оболенского-Хромого представляла целый городок. Позади боярских хором выстроились людские избы; за ними разбросались скотные и птичьи дворы, собачники, амбары, кладовые, погреба, мыльня, кузня, швальня, шерстобитная изба, ткацкая...

Богатое хозяйство было у князя Артемия Оболенского. Свой лен и шерсть у него же в усадьбе превращались в полотна и сукна; из кож забитого скота сапожники шили сапоги, седельники обтягивали седла, шорники шили сбрую. Свои портные обшивали княжескую челядь. Свои рыболовы и охотники снабжали поместье и московский дом князя рыбой и дичью. Свои медовары заготавливали бочки меда и квасов.

Были среди многочисленной княжеской челяди избранные – медвежатники, псари, выжлятники, ловчие. Они жили беззаботно, сыто и пьяно и шли для князя на любую службу: сжить ли со свету врага, наловить ли на дорогах новых холопов, разгромить ли непокорных мужиков в дальней вотчине...

Но большая часть боярской дворни до упаду трудилась в работных избах: медоварнях, сыроварнях, шерстобитнях, сукновальнях...

В усадьбе Оболенского Андрею пришлось вплотную столкнуться с народной нуждой, картины которой он так часто наблюдал, скитаясь с Булатом по Руси.

Правда, здесь избы дворовых не валились набок, как в крестьянских деревушках, и хозяевам не приходилось подпирать стены кольями. Такое неблагообразие, пожалуй, укололо бы глаз гостей, наезжавших к боярину, и они укорили бы им хозяина, а тот, в свою очередь, строго взыскал бы с тиуна.

Но в опрятных с виду избышках боярских холопов гнездилась такая же нищета, как и повсюду на Руси.

Дрова для нужд холопов тиун отпускал скупно, и зимой в избышках дворовых стоял лютый холод. Пища работных людей была самая скудная: основу ее составляли хлебная тюрка да редька с квасом.

Плохо питавшихся и плохо одетых дворовых ставили на работу с самого юного возраста – с двенадцати-тринадцати лет. Работники трудились на боярина по шестнадцати-восемнадцати часов в сутки: летом от зари до зари, а зимой при тусклом свете лучины.

За дерзостное поведение Мурдыш послал Андрея работать в кожевенную мастерскую, и там Голован вдоволь хлебнул горя. В огромных дубильных чанах кисли шкуры; из чанов несло нестерпимой вонью. Потом шкуры вынимались, и с них тупыми кривыми скребками счищалась мездра и шерсть.

С непривычки Головану кожевенная работа показалась хуже каторги. Парень вытерпел только неделю, а потом пошел к Мурдышу проситься на плотничью работу.

– Смирился? – удовлетворенно проворчал тиун в густую бороду. – Я к покорным милостив!

Голована поставили на постройку новой мыльни.

Мыльню кончили. На беду, Андрей, всегда увлекавшийся работой, показал себя искусным плотником и столяром.

Мурдышу пришла в голову новая затея: он решил пристроить к столовой палате с полуденной стороны гульбище узорчатое – галерею с резными перилами, где боярин и наезжавшие к нему гости могли бы прохаживаться на солнышке.

Головану поручили делать сложную резьбу перил. Видя его мастерство, Мурдыш стал особенно ценить нового холопа и приказал зорко за ним следить.

В поместье Оболенского была церковь. Поп проповедовал мужикам:

– Служите господину верно и усердно, ибо нерадивых рабов наказует всевышний. Сказано бо есть: «Рабы да повинуются своим господам». Тако повелось искони, тако и пребудет до скончания века... Раб, восстающий против боярина, подобен отцеубийце и проклят от господа...

Голован слушал проповеди с хмурым опущенными глазами.

Чтобы прикрепить ко двору нужного человека, Мурдыш решил женить Голована.

– Видал стряпушую девку Настасьицу? Поприглядишься к ней, Семейошко! А коль не по душе придет, другую найдем: у нас девок запас! Вишь, сколь я к тебе милостив. – А сам думал: «Ничего! Молодо пиво – убродится!»

Замысел тиуна привел Андрея в ужас.

«Бежать, бежать!» – думал он.

Но бегство из княжеской усадьбы было рискованным делом. В бытность Голована в усадьбе один из холопов, наскучив неволей, сбежал из лесу, где рубил дрова. За беглецом погнались с собаками, поймали и жестоко выпороли. Он лежал в людской, и неизвестно было, выздоровеет или помрет.

Участь наказанного страшила Голована. Но вековать век холопом, навсегда распроститься с зодчеством...

Голована заставил решиться подслушанный разговор.

– Дурак этот беглый! – сказал седобородый псарь. – В руки ловцам дался!

– А как уйдешь-то, дедушка? – спросил приятель Голована Амоска. – Ведь собаки...

– Как?.. Эх ты, псарь зовешься! То-то, молодо – зелено... Ему бы подошвы чесноком натереть – ни одна собака по следу не пойдет...

* * *

Осенним вечером, в сухую ветреную погоду вспыхнуло ярким пламенем строящееся гульбище. Огонь нашел обильную поживу: на постройке валялись стружки, обрезки, сухой тес.

Сторожа у ворот остервенело заколотили в било, на дворе поднялась суматоха. Люди бежали к месту пожара с баграми, топорами, ведрами. Караульщики тоже бросились тушить пламя. Никто не заметил, как в калитку выскользнул человек.

Пожар был затушен быстро. Побег Голована обнаружили только утром. Собаки по следу не пошли.

Разгневанный Мурдыш решил поймать беглеца и примерно наказать за поджог постройки, за дерзкий побег. Но расчет Голована оказался верным: зная, что он пробирался в Москву, преследователи бросились к западу. А быстроногий Голован, отбежав за ночь верст тридцать к востоку, затаился в глухой чащобе...

Глава XI

Нищая братия

Голован скрывался весь день, питаясь захваченным с собой хлебом. Вечером начал пробираться к дороге. На пути заметил костер, разложенный посреди поляны. Андрей решил разузнать, что там за люди. Всмотревшись, облегченно вздохнул: «Убогие!»

У костра лежали и сидели нищие. Над костром висел котелок.

Головану захотелось послушать нищих: может быть, они говорят о событиях прошлой ночи. Андрей подкрался к опушке, хрустнул веткой. Нищие насторожились.

– Кто-то бродит по лесу? – спросил тщедушный подросток с плоским серым лицом.

– Зверушка, – равнодушно отозвался старик, лежавший у костра на холстине.

– Дедушка Силуян, рассказывай дальше, – попросил плосколицый паренек.
– Хватит! Слыхали мы про Илью... – проворчал слепой мужик огромного роста, с черной всклокоченной головой.

Но другие заспорили:

– Замолчь, Лутоня! Вечно насупротив всех!.. Сказывай, дед Силуян!

Силуян заговорил нараспев:

– На закате то было красна солнышка, на восходе то было светла месяца... Выезжал на подвиг матерой казак, матерой казак Илья Муромец. Перед ним ли раскинулось поле чистое, а на поле том старый дуб стоит... У того ли дуба три дороженьки: уж как первая дорога к Новугороду, а вторая-то дорога к стольну Киеву, а что третья-то дорога к морю синему, к морю синему далекому...

Слушая тихую, ласковую речь деда Силуяна, который, очевидно, был вожаком нищих, Голован решил открыться ему и просить покровительства. Если старик согласится принять его в артель, легче будет укрыться от преследования.

Андрей смело вышел из лесу. Его неожиданное появление наделало переполоху. Плосколицый паренек испуганно крикнул; огромный Лутоня схватился за нож, повернув незрячее лицо в сторону Голована; одноногий нищий принялся совать куски хлеба в суму... Только Силуян не тронулся с места; лицо его, заросшее мягким седым волосом, спокойно обернулось к чужаку.

– Хлеб да соль, родимые! – поклонился Голован.

– Едим да свой, а ты подале стой!.. – грубо ответил Лутоня.

– Экой ты неукладливый, Лутонюшка! – перебил слепого Силуян. – Чего парня зря пугаешь?.. Подходи, малый, присаживайся: мы люди не опасные. Откудова будешь, чьих?

– Я от татарского полону избавился, а иду в Москву...

Андрей рассказал о странствиях с Булатом, о том, как печально они закончились. Оказалось, что нищие слыхали о Булате, не раз стояли на папертях построенных им церквей. Слушая повесть Голована, смягчился даже суровый Лутоня, а суровость его была не от природы: ожесточила его жизнь.

Правдолюбец, прямой и искренний, холоп князя Вяземского, Лутоня смолоду восстановил против себя боярского тиуна.

Тиун Аверко брал, как говорится, с живого и с мертвого, жадности его не было предела. Он установил двойной оброк: один в пользу князя, другой в свою собственную.

Против лихоимца смело поднял голос Лутоня. Не раз он обличал тиуна при народе, а потом его же жестоко наказывали батогами.

Лутоня не унялся.

«Доведу самому князю про злые деда Аверки!» – решил мужик, сбежал из вотчины и пешком отправился в Москву за правдой.

Аверко узнал от доносчика о затее холопа и принял свои меры. Он опередил Лутоню и первый явился к Вяземскому с тяжелыми обвинениями против беглеца.

«Лутоня – дерзкий бунтовщик! – уверял князя тиун, подтверждая свою ложь клятвами. – Он супротивник боярской власти и перед уходом хвалился, что волшебством твою княжескую милость изведет: для того и на Москву подался...»

Верные слуги князя схватили Лутоню у заставы. От него и под пыткой не могли вынудить признание, что он злоумышлял против князя, но все же мужик был приговорен к тяжкому наказанию: Лутоне выжгли глаза.

С тех пор слепец Лутоня пристал к нищей братии и уже много лет бродил по Руси, обличая боярскую неправду.

Но к простым и особенно к гонимым старый Лутоня был добр. Подозвав Андрея, слепец ласково провел шершавой ладонью по его лицу, по голове и тихо сказал:

– О, да ты еще совсем молодой, паренек! А горя, видать, досталась на твою долю немалая толика...

Осмелев от ласкового приема, Голован признался:

– От одного полону спасся, в другой попал нежданно-негаданно...

– Как это? – насторожились нищие.

– А так: схватили меня люди князя Артемия Оболенского и силком забрали в холопы...

– Ах, проклятые! – возмутился Лутоня. – И ты дался?

– Как не даваться, когда их десятеро, а я один!..

При живом участии слушателей Голован рассказал историю своих злоключений. Конец рассказа вызвал одобрение Лутони.

– Так и ушел, баешь? – Лутоня подтянул Андрея и радостно гладил его темные непокорные волосы. – И пятки чесноком смазал? Ох-хо-хо! Молодчага!.. Сгореть бы дотла разбойничьему гнезду!

– Не желай другому, чего себе не желаешь!

– У меня вотчины нет, дед Силуян! – озлился Лутоня. – Мои хоромы – посередь пустого двора горница, ветром обгорожена, облаком покрыта. У меня гореть нечему! Ненавижу князей да бояр, и слово мое таково: укрыть парня!

– Само собой, укроем!

* * *

Наутро Андрей, преображенный, шел с артелью деда Силуяна. Его одежду запрятали по котомкам, а самого обрядили в лохмотья. На лбу его Силуян искусно вывел морщины, щеку обвязал тряпицей. Голован скрючился и хромал, опираясь на клюку.

Нищая братия шла в Муром; дорога вела мимо вотчины Оболенского. Голован боялся; спутники успокаивали его:

– Да тебя нипочем не признать! Совсем другой человек стал. И кто помыслит, что ты под ихний тын сунешься!

– Разве по глазам? – догадался Силуян. – А мы вот как сделаем...

Когда они подходили к усадьбе, старик вывернул Андрею веки, и тот притворился слепым.

Около усадьбы нищие остановились и жалобно запели. Им вынесли милостыню. Дед Силуян разговорился с поваренком:

– Что это запрошлую ночь над вашей вотчиной зарево стояло?

– А у нас холоп утек. Хоромину поджег, да скоро затушили, – весело сообщил поваренок.

– Поймали али нет?

– Нет. Ищут, по лесам гоняют. Мурдыш остервенился. «Кожу, – бает, – с живого сдеру, как доступлю сбега!»

Голован вздрогнул. Но поваренок не узнал юношу в обличье слепого нищего.

Муром остался позади, но снять нищенские лохмотья Голован не решился: сделав это, пришлось бы бросить артель, а она была беглецу крепкой защитой.

По утрам нищие садились у церкви и жалобным голосом заводили духовный стих либо былинку. Бабы благочестиво крестились, вздыхали, несли нищим скромное подаяние: краюшку черствого хлеба, пяток луковиц, яичко...

Мужики, вечные борцы с нуждой, хмуро отшучивались:

– У нас в семи дворах один топор!

– А мы, коль пахать начнем, спрягаемся: на всю деревню одна лошадь, и та без ног!

– А у нас ноне рожь хороша родилась! – хвалился один.

– Ну и насыпал бы мерку божьим людям! – ядовито подхватывал другой.

– Да рожь-то боярская! – отрезал первый. – Хороша Маша, да не наша!

С нищими охотно беседовали: они разносили вести по стране, от них узнавалось то, что бояре старались скрыть от народа. Восставали ли где озлобленные мужики против господина, задушившего их поборами; поднималась ли целая волость против притеснителя-наместника; убивали ли губного старосту, чересчур рьяно стоявшего за дворянские права, – обо всем этом на Руси становилось известно очень быстро, и распространителями таких вестей, поднимавших народ на сопротивление боярскому гнету, были нищие да весельчаки – скоморохи, вечные скитальцы по русской земле.

Продвигаясь к Москве, артель деда Силюяна повсюду оповещала:

– Будете, люди, за Муромом – стерегитесь проходить близ усадьбы Артемия Оболенского там разбойное гнездо, там свободных людей хватают и в холопы к князю Артемию незаконно пишат...

* * *

Медленно подвигались нищие к западу. Уж кузнецы Кузьма и Демьян принялись ковать на реки и озера ледяные мосты, когда в морозный ясный день Голован увидел золоченые маковки московских церквей.

Часть вторая Москва и Казань

Глава I Ордынцев

Задумав побег из Выбутина, Тишка Верховой расспрашивал во Пскове и окрестных деревнях о боярах, высланных в другие края после уничтожения псковской вольницы. Самые благоприятные отзывы довелось услышать Тишке о бывшем псковском боярине Ордынцеве Григории Филипповиче. Говорили люди, что, по слухам из Москвы, Ордынцев принимает псковских утекльцов, не выдавая их властям.

Этого Ордынцева и имел в виду Тишка, когда, идя с Булатом, рисовал картины будущего безмятежного житья у боярина. Но хитрый мужик не назвал боярина: Тишка не хотел оставлять за собой след, по которому могли бы его разыскать.

Род Ордынцевых вел начало от Митрофана Ушака, дружинника князя Александра Невского. Митрофан двадцать лет томился пленником в Золотой Орде, вырвался оттуда и вернулся на Русь. Люди прозвали Митрофана Ордынцем, и по этому прозвищу стали зваться его потомки.

Григорий Филиппович был не из первых псковских богачей, но человек влиятельный: к его голосу прислушивались многие. Потому он и попал в число трехсот знатных, которые после присоединения Пскова к Москве были разосланы по разным областям. Поместья высланных перешли в собственность государства.

Знатные псковитяне, выселенные из родного города Василием III, получили земли в Московщине, Рязанщине, Владимирщине и иных близких и дальних областях.

Григорию Ордынцеву дали выморочное поместье близ Серпухова, на берегу Оки: все мужчины семьи, владевшей деревней Дубровкой, вымерли от повальной болезни, и некому было нести службу за землю.

Так бывший псковский боярин стал московским дворянином.

Ордынцев, получив хорошее поместье вблизи Москвы, был доволен. Правда, Дубровка досталась Григорию Филипповичу не без труда: много пришлось дать дорогих подарков дьякам.

Оторванный от родных мест, Григорий Филиппович не растерялся: он был человеком твердой воли и острого ума. Первым условием для возвышения рода являлось богатство; богатство боярских и дворянских семей создавалось крестьянским трудом. Чем больше оседало крестьян на земле владельца, тем больше собиралось оброков, тем легче выполнялись повинности перед государством.

Григорий Филиппович установил для крестьян пониженный оброк, и его тиун не слишком притеснял неисправных должников. Ордынцев расчетливо полагал, что лучше прожить десяток лет с меньшими доходами, зато пустующие земли будут заселены и обработаны.

Так и случилось. Когда по округе прошла молва о добром боярине, у которого даже тиун сочувствует крестьянской нужде, в ордынцевскую деревню повалил народ. Пользуясь правом переходить к другому землевладельцу в Юрьев день, крестьяне рассчитывались с долгами обычно с помощью ордынцевского тиуна, и поместье Григория Филипповича с каждым годом становилось многолюднее.

По мере того как росли ряды изб в деревне Ордынцева, оброк поднимался. Долги, сделанные боярину при переходе в его поместье, начинали взыскиваться с беспощадной строгостью, с огромным «накладом», как в старину называли проценты.

Мужики, польстившиеся на посулы ордынцевского тиуна, поняли, что попали в ловушку. Но куда бежать? По горькому опыту крестьяне знали, что бояре и дворяне все одинаковы, что кабала везде горька.

Соседи Григория Филипповича, злобившиеся за «порчу людишек», поняли его игру и прониклись большим уважением к дальновидному пришельцу.

Ордынцевские мужики нищали, зато богатство Ордынцева стало быстро расти. Он поставил в Москве, на Покровке, богатый двор на трех десятинах земли. Там и стал он жить большую часть года, поручив управление деревней надежному тиуну.

Там, на Покровке, и нашел Ордынцева Тишка, благополучно пробравшийся в Москву, хотя дорогой и грозили ему, беглецу, многие опасности.

Григорий Филиппович, высокий и тучный, с окладистой темнорусой бородой, сильно тронутой сединой, принял Тишку наедине: старик избегал разговоров с пришлыми людьми при свидетелях. Проситель повалился Ордынцеву в ноги и, величая милостивым боярином, умолял принять его, недостойного раба, в холопы, на вечную службу.

Ордынцеву люди уже не были нужны, но Тишка клялся, что он прибежал к боярину из бывшего ордынцевского поместья, где мужики помнят и любят прежнего господина и жалеют о нем. Размягченный лестью, Григорий Филиппович принял Тишку с женой к себе во двор. За небольшую взятку дьяк составил на Тихона кабальную грамоту, и тот стал холопом Ордынцева. Тишка быстро освоился в новой среде. Наглый с дворовыми и угодливый с высшими, он наушничал на людей главному дворецкому и был у него в чести.

Через два года Тишку трудно стало узнать: он раздобыл, отрастил большую рыжую бороду, набрался спеси. Многие из дворни уже почтительно величали его Тихоном Аникеевичем и предвидели, что быть ему вскорости младшим дворецким.

* * *

В 1541 году в жизни Ордынцева произошла важная перемена: его избрали серпуховским губным старостой.

У губного старосты была своя канцелярия – «губная изба»; делопроизводством ведал губной дьяк; помощниками губного старосты были губные целовальники. Целовальниками в старину назывались служилые люди, которые целовали крест, то есть приносили присягу в том, что будут добросовестно выполнять свои обязанности.

Главным делом губных старост была борьба с разбоями. Губные целовальники задерживали на дорогах подозрительных людей и препровождали на суд к губному старосте.

Избрание губным старостой изменило установившийся образ жизни Григория Филипповича: приходилось оставить спокойное житье в Москве и принять обширные заботы по уезду. И все же Ордынцев не отказался: ему польстило доверие дворян, прежних его недоброжелателей, и он хотел доказать, что они выбрали достойного. Была и другая сторона дела, пожалуй еще более важная для Ордынцева: должность губного старосты была небезвыгодной. Губные старосты имели право казнить виновных в разбое; имущество казненных частью шло на удовлетворение пострадавших, частью в пользу государства. Разобраться, как произведен дележ и какая часть имущества прилипла к рукам губных властей, было невозможно, особенно если чины губной избы крепко поддерживали друг друга.

Расчетливый Григорий Филиппович так поставил дело, что его подчиненные были довольны, и опасность доноса исключалась.

Губная реформа вырвала право суда из рук князей и бояр и тем значительно урезала их власть. Зато сильно возросло влияние мелкого дворянства, избиравшего губных старост.

Но реформа била не только по князьям и боярам: она больней того ударила по крестьянству. На языке того времени разбоем называли не только грабеж на большой дороге, но и всякое недовольство, всякое выступление крестьян против помещиков. Такие выступления подавлялись губными старостами, ярыми защитниками интересов дворянства, с особой свирепостью.

Дворяне, избравшие губным старостой Ордынцева, остались им вполне довольны: он крепко соблюдал их, а заодно и свои интересы, зорко следил за порядком в уезде и всякие попытки крестьян к возмущению против господ беспощадно пресекал в самом начале.

Глава II

Боярские распри

В год смерти великого князя Василия III единственному сыну Григория Ордынцева исполнилось тринадцать лет. Юный Федор хорошо изучил к тому времени русскую грамоту, и отец нанял ему учителя по латыни.

Григорий Филиппович, сам малограмотный, с трудом разбиравший печатное и совсем не умеющий писать, понимал значение образования. Сознывая, что ему самому не подняться выше губного старосты, он мечтал для сына о боярстве, хотел, чтобы Федор сделался приближенным советником государей.

Ивану IV было три года, когда умер его отец, и младенца объявили великим князем; но править государством должна была его мать Елена, из рода Глинских, недавних выходцев из Литвы.

В свиту великого князя Ивана IV стали набирать юношей из дворянских и боярских семей. Григорию Филипповичу пришлось сильно тряхнуть казной, чтобы добиться для сына придворной должности. Правда, должность оказалась невеликой: за высокий, не по годам, рост, за дородность Федора Ордынцева сделали рындой.

Рынды – великокняжеские пажи – выбирались из юношей лучших дворянских родов и во время парадных выходов и шествий поражали роскошью наряда. Их одежда из серебряной парчи с рядом больших серебряных пуговиц была подбита горностаевым мехом. Голову юношей покрывали высокие белые бархатные шапки, отделанные серебром и золотом и опушенные рысьим мехом, на ногах были белые сапоги с золочеными подковками. Рынды носили на плечах топоры, блиставшие золотой и серебряной отделкой.

Старый Ордынцев был крайне горд назначением сына, предвидя в этом первую ступень к будущим почестям.

Придворная должность позволила младшему Ордынцеву ежедневно видеть великого князя и знать все, что делалось во дворце. Большой почет, по мнению людей, и непрерывный страх перед вершителями судеб страны, способными раздавить, как козявку, молодого царедворца, если он осмелится стать на их пути, – вот какой стала жизнь Федора Ордынцева.

Многое пришлось увидеть Федору за годы придворной службы.

После смерти великого князя Василия, который управлял государством умно и твердо, бояре подняли голову, им показалось, что пришло время, когда, пользуясь слабостью правительства, можно восстановить древние боярские права.

Слишком хорошо еще помнили бояре, что их деды и прадеды были венценосцы, владетельные князья, которые ни в чем не уступали князьям московским, а иногда и превосходили их по старшинству и значению уделов. Пристойно ли им, боярам, потомкам государей, быть холопами государя московского!

Ведь они хотя и подчинились московскому великому князю, но владения своих отцов – вотчины – сохранили и распоряжались в них полновластно. Они имели свои войска, и когда начиналась война, эти войска должны были становиться под знамена великого князя. Но приходилось просить и уговаривать феодалов своевременно явиться с дружинами в ополчение; а передать удельную дружину под начальство другого воеводы было делом невозможным. И это связывало руки руководителю всего ополчения – великому князю.

На свои обязательства перед государством бояре-феодалы смотрели как на добровольное соглашение, от которого они всегда вольны отказаться и даже перейти на службу к другому государю, например в Литву.

Этот опасный пережиток старины следовало вытравить во что бы то ни стало. Но время для этого еще не пришло...

Две сильные партии образовались среди боярства: одну составляли князья Бельские, в другой был многочисленный род Шуйских, потомков суздальских князей.

При жизни Елены ни Бельские, ни Шуйские не могли пробиться к власти. Но правительница умерла в 1538 году, как утверждали – от яда, поднесенного недругами. Худенький, болезненный восьмилетний великий князь сделался игрушкой в руках бояр.

Первой жертвой приверженцев старины стал умный и дальновидный государственный деятель князь Иван Федорович Овчина-Телепнев: закованный в железо, он умер в темнице от голода.

Князь Иван Федорович благоволил к молодому Ордынцеву, часто любовался его могучей фигурой; неоднократно разговаривал с Федором, обещал ему повышение. Гибель Телепнева повергла Федора в ужас. К счастью для молодого Ордынцева, он был слишком ничтожной пешкой в игре и по-прежнему в торжественные дни стоял с секирой в руках у подножия трона.

Пять лет продолжалась жестокая борьба за власть между боярскими партиями. После смерти Елены власть сумели захватить Шуйские; многочисленные члены этого обширного рода получили города «на кормление».

Кормление – пережиток удельной старины – заключалось в том, что князья и бояре, получавшие город или волость в управление, собирали с населения в свою пользу подати. Часто наместники и волостели требовали с жителей такой непосильный корм, что те разбегались; многие города и волости оставались пустыми.

Отовсюду стекались в Москву жалобы, но жаловаться было бесполезно, верховная власть поступала не лучше, чем ее представители на местах. Шуйские нагло грабили государственную казну, расхищали золото и драгоценности.

Борьба бояр велась жестоко, грубо, много жертв она уносила при каждом перевороте. Молодой Федор Ордынцев, любитель книжного учения, юноша тихого и скромного нрава, горько сожалел, что отец вверг его в «область адову» – так называл Федор великокняжеский дворец в разговорах с отцом, часто наезжавшим в Москву. Разговоры велись втайне.

Опасность доноса была велика: младший дворецкий Тихон Верховой вечно вертелся в хоромы и старался узнать все тайное; он не постеснялся бы продать своих господ Шуйским.

Старый Григорий Филиппович говорил сыну на его мольбы о позволении покинуть придворную службу:

– Немысленное дело затеваешь, Федя! Прощение твое об уходе будет сочтено за тяжкое оскорбление государева величества. Да тебя Шуйские и не выпустят на волю: слишком многое ты видел и знаешь, языка твоего опасаясь. А тебе я дам наставление: держись тише воды и ниже травы, никому не прекословь, волю вышестоящих исполняй со смирением и усердием. Благо будет, ежели сочтут тебя скудоумным: таких властелины любят. Великому князю оказывай преданность наедине, без лишних глаз. Государь имеет ум острый и пронизательный, несмотря на молодые годы: он твою скрытность поймет и врагам тебя не выдаст; но, придя в возраст, вспомнит тебя и превознесет...

– Боюсь я, тятенька, погибнуть в этой буре неистовой, которая столь многих сильных унесла, – жаловался Федор.

– Свирепый вихорь ломает дубы, но былинки пригибает к земле, – наставительно отвечал отец. – Гнись долу и выжидай свое время...

И вот настал день, когда юный государь нанес сильнейший удар непокорному боярству.

29 декабря 1543 года по приказу Ивана глава рода Шуйских, боярин Андрей Михайлович, был убит.

Сидя в тихой келье, летописец записал в тот год:

«Начали бояре от государя страх иметь и послушание...»

Ивану шел в то время четырнадцатый год.

* * *

Молодой государь давно заприметил безответного Федора Ордынцева; не раз заставлял он его с книгой в руках. Такое книголюбие пришлось по душе юному великому князю, страстному любителю чтения. Теперь, когда Иван получил возможность беспрекословно выражать свою волю, он возвел Федора Ордынцева в сан спальника.

– Довольно тебе, молодец, в рындах ходить, уж больно ты велик стал для этого дела, – ласково сказал великий князь покрасневшему Федору. – Усердие твое и послушание нам ведомы и, чаю я, в наших государевых спальниках больше пользы окажешь!

Федор Ордынцев кланялся и благодарил, а сам думал:

«Лучше бы уволили меня от окаянной службы!»

Но стену лбом не прошибешь. Слушая поздравления придворных, Федор делал довольное лицо. Зато утешила его чрезвычайная радость отца, которого Федор очень любил. В новом звании сына Григорий Филиппович видел ступень к желанному возвеличению рода Ордынцевых.

По старинному обычаю, рынды для великокняжеского двора набирались из неженатых юношей, которые, придя в возраст, заменялись другими. Федору Ордынцеву давно следовало выйти из рынд, но отец на это не соглашался: он боялся, что, покинув двор, Федор закроет себе путь к почестям. Государева милость

разрубила этот узел, и теперь отец мог женить Федора. Без хозяйки дом – сирота, а старик вдовел лет десять.

Невеста, дочь стольника Наталья Масальская, уже была присмотрена; отцы давно ударили по рукам, не спрашивая согласия жениха и невесты. В высшем кругу общества женщины в старину сидели затворницами в теремах; этот обычай искоренил только Петр I.

До дня свадьбы Федор не видел невесту. Зато как он был обрадован, когда Наталья оказалась девушкой миловидной и доброго нрава.

Молодые зажили дружно. В конце 1544 года Григорий Филиппович порадовался появлению на свет внука Семена.

Лаская маленького Сеню, старик гордо думал:

«Не угаснет род Ордынцевых!..»

К власти пришел князь Михаил Васильевич Глинский, старший из братьев покойной великой княгини Елены; его деятельность направляла бабка великого князя – властная и честолюбивая Анна.

В стране ничего не переменялось от того, что одну правящую партию заменила другая. Глинские были корыстны и жадны не менее Шуйских. На кормление в городах и волостях сели другие наместники, а народ стонал по-прежнему.

Зато изменилось положение во дворце. С того дня, когда Иван впервые проявил власть государя, нельзя было обращаться с ним по-прежнему. Приближать любимцев юный государь стал по своей воле, а воля его была часто изменчива, и не без причины. Любимцы Ивана оказывались такими же своекорыстными, так же старались утопить соперников, которые могли бы отнять у них государеву милость.

На кого положиться? Кому довериться?.. Не было среди именитых бояр надежных людей.

В уме молодого государя зрела беспокоящая и гневная мысль:

«Надо вывести до корня бояр – этот род лукавый и непокорный!»

Глава III

Скорбный путь

«Како могу я описать напасти и беды русских людей во времена те? Казанцы из земли нашей не выходили и проливали кровь, как воду. Хрестьян уводили в плен казанские срацины, старым и негодным выкалывали глаза, а иным отсекали руки и ноги, и, как бездушный камень, валялось тело на земле. Младенцев, им улыбававшихся и руки подававших, варвары и кровопийцы от матерей отрывали, за горло давили и о камни разбивали или на копыя надевали...»

* * *

Разбойники, полонившие Никиту Булата, нашли у него в котомке книгу; это спасло зодчему жизнь: «Русский мулла! Выкуп даст!»

Татарин Давлетша, завладевший Никитой по жребью, решил сбечь пленника. На привале осмотрел босые, сбитые ноги Булата.

– Вай-уляй! – огорчился Давлетша. – Не дойдешь... Эй, урус, бояр! – начал он умильным голосом. – Твой богат? Акча много есть? Твой сколько тэнга на выкуп давал? Сто тэнга давал?

Никита ответил:

– Не рассчитывай на выкуп! Я бедняк, на меня тратиться некому. Был ученик, и того вы убили...

«Врет! – уважительно подумал татарин. – Крепкая голова, трудно получить выкуп. Надо стараться...»

Давлетша снял с ног чарыки из бычьей кожи, отдал Никите. Покрыв его войлочным халатом, накормил.

– Спи, мулла! Выкуп платил – домой ходил!

Утром Давлетша посадил Никиту на запасного коня. «Довезу живого – выкуп получу...»

Миновав русские заставы, ехали не сторожась. На вечерних привалах после ужина деренчи садились кружком на рваные кошмы вокруг сказочника. Старик взглядывал на небо, усеянное звездами, плотнее завертывался в халат.

– Началось дело в том году, когда волк служил атаманом, лиса – есаулом, гусь – трубачом, ворон – судьей, а воробей – сплетником. У бедного деренчи, такого, как и мы, родилась дочь Юлдуз. Ай, красавица из красавиц была! Четырнадцатидневная луна, завидев ее красоту, от стыда за тучи пряталась. Когда Юлдуз воду пила, вода через ее горло видна была. Когда морковь ела, морковь через ее бок видна была...

– Ай, какая красавица! – восклицали пораженные слушатели.

Сказка тянулась долго. Влюбленные разлучались, соединялись и вновь разлучались; молодой богатырь побеждал дивов и становился ханом в неведомой стране, где пшеничные зерна родились величиной с кулак...

Время подходило к полуночи, когда татары укладывались на ночлег. Деренчи храпели, но пленникам было не до сна. Сбившись кучкой, они шептались о родине, плакали над своей бедой...

Утром атаман осматривал пленников, указывал на двух-трех, ослабевших от трудностей пути, и те, которые ночью вздыхали над злоключениями влюбленных в сказке, отрезали жертвам голову, со смехом перекидывались ими, пинали ногами стаскивали с убитых одежду, засовывали в сумы.

– Эй, друг, ты свою последнюю зарезал?

Спрошенный широко ухмылялся:

– Судьба! Не жалко – совсем худая баба стала. В следующий раз лучше возьму.

Давлетша, подсаживая Никиту на коня, посмеивался:

– Эй, мулла, выкуп давал – домой ходил! Якши, чох якши!

К Волге подошли в полдень. Перевозчики – марийцы – переправили людей на больших лодках. Кони плыли за лодками.

* * *

Вот она, Казань, город страданий разноплеменных рабов. Десять ворот было в крепкой дубовой стене, окружавшей обширное пространство.

Деренчи пригнали пленников к Крымским воротам; там начальником караула сидел десятник, падкий на бакшиш. От него можно отделаться небольшой пошлиной за приведенную добычу.

Русские сбились в кучку. Немного их осталось после страшного пути: всего восемнадцать человек из шести десятков. Ободранные, с кровоточащими ногами, с исхудалыми лицами, пленники угрюмо смотрели на любопытных стражников, высыпавших из ворот.

Седобородый десятник расшумелся:

– Ослы несчастные, да покарает вас аллах! В каком виде урусов пригнали?

– А что? – испугался атаман.

– Да разве это баранта? Их только собакам на корм бросить!.. У-у! Товар портите, сыновья сгоревших отцов! Кто за них цену даст?..

Атаман сконфуженно оправдывался:

– Спешили очень! Нам урусы пятки жгли... Думали, самим не уйти...

– И пригнали падаль!

– Нет, вот этот старик ничего, совсем хороший старик, мулла!..

Деренчи отделались небольшим ясаком.

Давлетша решил продать своего пленника. Слишком долго ждать, пока урусы пришлют за муллу выкуп.

«Да и пришлют ли? – рассуждал Давлетша. – Может, у него и вправду ничего нет. А может, он и не мулла? Кормить его чем стану? Э, лучше живая собака, чем дохлый верблюд! Сколько дадут – все ладно. Дом не куплю – коня куплю. Коня не куплю – халат куплю...»

Пленных до продажи поместили в городской зиндан – тюрьму. Предварительно сковали по три-четыре человека. На одной цепи с Никитой оказался богатырь ростом и сложением – Антон и двое подростков.

На Никите тяжело отразились дни плена. Зодчего истомили не столько физические страдания и голод, как нравственные муки, жалость к соотечественникам, погибавшим на его глазах страшной смертью. Из пожилого, но еще бодрого и крепкого человека Булат за две недели превратился в старика с ввалившимися щеками, с потухшими глазами.

Антон и Никита разговаривали всю ночь. Они уговорились по возможности не терять друг друга из виду.

Зловоние зиндана, полчища насекомых – все это так измучило полоняников, что они с нетерпением ждали утра, хотя этот день должен был решить их судьбу.

Мечта пленников попасть в одни руки не осуществилась: Антона купил богатый бек из окрестностей Казани, подростки попали к содержателям харчевен.

Булата выставили на помост.

Худенький старик, босой, с лысой головой и всклокоченной седой бородой, в ветхой рубахе и портах, стоял на возвышении, оглядывая толпу.

От ярких халатов у Никиты зарябило в глазах. На голове у татар малахаи: войлочные и собачьи – у бедняков, лисьи – у богачей. Косо прорезанные глаза рассматривали пленника с ленивым и презрительным любопытством.

Много крашенных в красный цвет бород; краска – хна – стоила дорого, и только богатые люди – муллы, беки, кадии – могли позволить себе такую роскошь.

Оценщик, которому Давлетша пообещал бакшиш, принялся расхваливать Булата.

– Вот раб! – выкрикивал он. – За такого раба не жалко отдать богатства семи стран света!

В толпе послышался смех. Вперед протолкался ремесленник в засаленной тюбетейке:

– А что он умеет делать? Я не знаю, никто не знает. Может быть, ты знаешь? Скажи!

– Он? – Оценщик подтолкнул Никиту к зрителям и затараторил: – Он проворен, как ящерица, искусен, как сорок ремесленников! Он и халат сошьет, и коня подкует, и пилав сварит, и ребенка понянчит...

– Как это хозяину не жаль расстаться с таким сокровищем? – заметил ремесленник под общий хохот. – Может, он кусается?

– Кусается? Да у него и зубов-то нет! – быстро возразил оценщик.

Грянул взрыв смеха. Оценщик смутился, попав впросак.

– Сорок тэнга! – закричал он, поворачивая унылого Никиту во все стороны. – Сорок тэнга за мудрого, опытного раба... Тридцать тэнга за раба, искусного во всех ремеслах!.. Спешите, правоверные, не упускайте случая – раскаетесь: не всегда будет торба с овсом у коня на морде!

В толпе молчали.

– Двадцать тэнга за раба, который принесет счастье и довольство в дом купившего его! – как ни в чем не бывало продолжал оценщик, стараясь поймать взглядом глаза краснобородых богачей. – Двадцать тэнга!.. Пятнадцать тэнга!..

– Два тэнга! – предложил ремесленник.

– Аллах велик, но, создавая тебя, забыл вложить ум в твою голову! Два тэнга за такого ценного раба?! Два тэнга?! – возмутился оценщик.

А Давлетша чуть не ревел с досады.

Несмотря на старания оценщика, Булата продали за два тэнга. Купил старика оружейник, первым предложивший за него цену.

Получая деньги после вычета сборов и налогов, Давлетша взвыл:

– Вай-уляй! Имя мое пропало! Этот покупатель опозорил могилу моего отца!

– Судьба! – утешал его оценщик.

– Лучше бы я зарезал русского муллу! Сапоги давал, халат давал, на коне вез... И все за два тэнга!

С горя Давлетша отправился пить бузу и прокутил все деньги.

Никиту свел с помоста оружейник Курбан. Базарный писец иглой нацарапал на плоском медном кольце имя Курбана. Кольцо проделали в ухо Никиты, проткнув шилом мочку. Теперь Булат стал вещью, отмеченной клеймом хозяина, и за попытку к бегству подлежал смерти.

Глава IV

У оружейника Курбана

Из караван-сарая, где продавали рабов, шли по извилистым городским улицам. Булат внимательно присматривался к чуждой архитектуре восточного города. Мечети с круглыми куполами, с высоко вознесенными узкими минаретами сверкали эмалью, по которой вились золотые разводы и завитушки. В глубине сводчатых входов виднелись полуоткрытые двери дорогого дерева, испещренные причудливой вязью священных изречений. Мусульманские обычаи запрещали изображать живые существа, и восточные художники употребляли все искусство на создание изящных арабесок – узоров.

Около одной из мечетей хозяин Булата встретил знакомого и остановился поговорить. Никита заглянул в растворенную дверь. В прохладе мечети располагалась школа: мулла и полтора десятка учеников. Ученики – мулла-задэ, – сидя на каменном полу с поджатыми ногами, покачивались из стороны в сторону и заунывным голосом твердили заданное. Один загляделся на пышущую жаром улицу. Мулла с размаху хлестнул длинной камышиной по бритой голове лентяя. Товарищи наказанного захохотали, а сам он остервенело забубнил урок.

Оружейник дернул Никиту за руку и повел дальше.

Дома богачей скрывались в глубине дворов, обнесенных высокими стенами. Лишь узенькие калитки, охраняемые дюжими сторожами, проделаны были в стенах. Улицы походили на длинные коридоры: два пешехода могли разойтись свободно, всадники разъезжались с трудом.

Булат на своей спине испытал неудобства хождения по казанским улицам.

– Берегись, берегись! – слышались крики за поворотом.

Курбан втиснулся в маленькую нишу в стене, устроенную для таких случаев. Никита этого не сделал, да он и не понял предупреждения.

Из-за угла вывернулся бек в нарядном бешмете ярчайшего малинового цвета, в лисьем малахае. За ним ехали слуги. Растерянного Никиту притиснули к стене, чуть не затоптали лошаадьми; вдобавок последний ударил его плетью.

– Не стой на дороге! – прошипел он злобно.

Курбан только посмеялся.

На улицах валялись отбросы, падаль; дорогу пересекали зловонные ручьи, вытекавшие из-под стен. Никто не заботился об уборке города. Все лишнее, ненужное выкидывалось на улицу, как на свалку. Остатки от еды пожирали бродячие собаки.

Целая стая их терзала труп павшего осла. Голодных псов сам Курбан обошел с почтительной осторожностью, хоть и был вооружен дубинкой.

Неказисто выглядели казанские улицы; неприглядны были с виду дома татарских богачей. Роскошь и удобства скрывались внутри. И на это казанская знать имела веские причины.

Похвальба богатством доводила до беды: ханы завистливо смотрели на сокровища подданных. А присвоить их добро было легко: объявить богача изменником, сторонником Москвы, послать телохранителей с указом, осуждающим преступника на смерть и отписывающим имущество в ханскую казну.

Когда миновали эту часть города, картина изменилась. Глинобитные сакли бедноты вплотную примыкали одна к другой, на крутизне громоздились уступами; крыша одной сакли нередко служила двориком другой. Тут не было и следов улиц: причудливые, запутанные тупики...

Курбан повел Никиту по крышам, кое-где взбирались по лесенкам.

«Небогато живут! – подумалось Булату. – А вонь-то, а грязь-то...»

Сакля Курбана была полна народу: три жены, куча полуголых бронзовотелых ребятишек, несколько рабов. Никиту обступили, заглядывали в лицо, ребягня тыкала пальцами в грудь и спину.

На ночь хозяин приковал Никиту к стене.

– Уйдешь – заблудишься, тебя кто-нибудь присвоит, а мне – хлопотать, – объяснил он по-татарски.

Москвич Кондратий, давно томившийся в плену, перевел Булату опасения хозяина.

– Скажи ему – не побегу. Куда бежать-то?

Кондратий, узколицый, худой, с позеленевшей от медных опилок бородой, поговорил с Курбаном.

– Не соглашается. «Пускай, – бает, – поживет. Привыкнет – не стану приковывать».

Рабов подняли чуть свет. Сунули по маленькой черствой лепешке:

– Ешьте, люди. Время на работу.

В утренней тишине по городу разносились звонкие, залиvistые голоса муэдзинов. С балкончиков высоких минаретов, обратившись лицом к Мекке, они разноголосо и не в лад выпевали слова молитвы.

Курбан и его рабы, а с ними и раскованный Никита отправились на базар. Базар в Казани, как во всех восточных городах, служил не только местом торговли, но и средоточием всех ремесел. В сотнях лавчонок кипела работа. Кожевники, отравляя воздух испарениями дубильных чанов, выделявали сафьян и юфть. По соседству сапожники шили из готовой кожи обувь. Из мастерской медника доносился звон и стук молотков по металлу: там ковали затейливые медные кувшины.

Цырюльник брил голову хилому старику, ревностно выполнявшему обычай – не носить длинных волос. Смачивая макушку мыльной водой, он водил по его голове ножом и что-то оживленно рассказывал. У старика от боли текли слезы из воспаленных глаз, но он терпел.

В углу тесной базарной площади погонщики заставляли верблюдов стать на колени, чтобы развьючить. Верблюды оглушительно ревели. Хозяин каравана, темнолицый индус, разговаривал с менялой-огнепоклонником. На лбу парса виднелся красный значок – символ священного пламени. В толпе слышался гортанный говор кавказца; худощавый текинец, хватаясь за кинжал, грозил степенному кизилбашу...

Гомон, суэта, разноязычные крики, споры покупателей с продавцами... Шашлычник, поворачивая над жаровней нанизанные на вертел куски баранины, крикливо хвалил свой пахучий товар. Продавец кумыса орал, размахивая бурдюками. Астраханец громогласно предлагал отведать ароматных дынь с низовьев Волги...

В лавке Курбана началась обычная дневная работа. Ученик кубачинского мастера, выходца из дагестанского аула, Курбан славился кинжалами, разрубавшими пушинку на лету. Сталь для оружия Курбан закалял сам, никому не доверял секрет.

Курчавый, смуглый армянин Самсон выковывал клинки, маленький молчаливый грузин Нико шлифовал и оттачивал их, москвич Кондратий выпиливал медные рукоятки.

Многие сотни пленных мастеров работали на хозяев – татар. Не все они были захвачены казанцами во время набегов – хозяева покупали искусных ремесленников в Астрахани, в Крыму и даже в Турции.

Умелого пушкаря Самсона полонили десять лет назад турки; переходя из рук в руки, после долгих скитаний армянин попал наконец в рабство к Курбану, и этот не намерен был расстаться с невольником, способным на всякое мастерство. Грузина Нико Курбан дешево купил у астраханцев.

У Курбана полагалось работать быстро, без отдыха. При каждом промедлении хозяин бросал свирепый взгляд, а при повторении проступка по спине виновного ходила плеть...

Курбан поставил Никиту выбивать узоры на клинке по заранее наведенному рисунку. Такая работа Булату была не трудна: Кондратий угадал это по первым сноровистым движениям Никиты, хотя старый зодчий не успел ничего рассказать о себе товарищу по несчастью.

Курбан как раз не мог оторваться от горна. А Кондратий шепнул Никите:

– Не показывай, земляк, умельство: на работе заморит!

– А испорчу?

– Побьется-побьется – пошлет на домашнюю работу. А не то продаст другому хозяину.

– Не убьет?

– До денег жаден, пес. Поколотит, а ты терпи!

Разговор кончился. Курбан подозрительно посмотрел в их сторону.

Булат слабыми, неточными ударами бил по металлу, не попадая чеканом в отмеченные линии. Курбан схватился за голову:

– Что делаешь, презренный! Вот как надо, смотри! – Он ловко выбивал линии сложного узора.

Никита стукнул молотком себе по пальцу – брызнула кровь.

– Проклятый!.. Коунрад, покажи ему, как работать!

Кондратий принялся объяснять. Курбан плохо говорил по-русски, но все понимал, и москвич не мог вставить ни слова в поощрение товарищу. Брошенный украдкой взгляд показал, однако, Никите, что он начал как надо.

Весь день Булат портил работу, раздражая горячего Курбана. Плеть ходила по плечам и спине старика.

Кондратий шептал:

– Крепись!

Никита не поддался.

– Пропади этот оценщик! Сгорели мои два тэнга! – жаловался Курбан.

Вечером, когда Курбан отлучился из дому, Кондратий многое рассказал о нем новому рабу.

Оружейник Курбан был очень богат. Жалкая лавчонка на базаре только прикрывала его истинное занятие: на Курбана работали по домам десятки мастеров, за бесценок сдавая ему ятаганы, кинжалы, богато украшенные пищали. Оружие Курбан перепродавал с огромной выгодой и немало золота зарыл в укромных местах.

Но, как и многие казанские богачи, Курбан умело представлялся бедняком: ходил в драном халате и засаленной тубетейке, жил в плохонькой сакле.

Приносимое мастерами оружие принимал наедине и, выплачивая за него гроши, клял нищету, не позволяющую заплатить дороже.

Таких пауков, высасывавших из народа последние соки, было в Казани немало. Работая на них, ремесленники выбивались из сил, а жили впроголодь, и не раз бунтовали, но всякая попытка возмущения кончалась кровавой расправой.

– Ты от работы всячески отбивайся, – наставлял Никиту товарищ. – Меня некому было предостеречь от этого жадины ненасытного... Погляди, каков я стал. Совсем извелся, а был молодец! Тебя хоть спасу...

Никите не дали есть ни вечером, ни утром.

Курбан плетью и кулаками старался вколотить в него уменье. Никита стоял на своем. В его душе росло упорство и гнев на хозяина.

Обозленный двухдневной возней с неуклюжим рабом, Курбан пустил в ход плеть:

– Вот тебе, урус, собака! Вот тебе!

Кровь проступила через рубаху. Булат стонал:

– Смертынька моя пришла... Прощай, Кондратий...

Самсон вступился за избиваемого:

– Эй, хозяин, нехорош дело! Зачем старый человек бьешь?

– Твое это дело?

Курбан мимоходом стегнул армянина и вновь набросился на Никиту с плетью. Неистово хлеща старика, он свирепел с каждым ударом.

Татарин повалил Никиту на пол и топтал ногами. Старик лишился чувств и лежал как мертвый. Курбан опомнился, пробормотал со злостью:

– Сдох!

Кондратий наклонился к товарищу:

– Дышит... живой... – И с укором Курбану – Не жалко двух тэнга? Не годен человек к работе – продай!

– Э-э! «Продай, продай»... Кому бездельник нужен?

– Сбудем. От медника Гассана я слыхал, управитель сеида ищет садовника. Туда старика и спихнуть. Барыш получишь!

– Какой барыш! Хоть бы свои вернуть!

Булат открыл глаза, застонал.

– Живуч, негодный! Коунрад, отведи его домой. Скажешь старшей ханым, пусть хорошо покормит дня три... – И вдруг испугался: – А если не купят уруса?

– Я его подучу, как себя за хорошего садовника выдать.

– А он и там не годен окажется?

– Нам какое дело? Его спина в ответе...

– Ты хороший раб, Коунрад!

Глава V

Во дворце Кулшерифа

Хитрость, придуманная Кондратием, удалась, хоть и дорого обошлась Булату. Старик попал туда, куда прочил его москвич. Кондратий расстался с товарищем, с которым можно было говорить о потерянной родине, делиться горем... Он пожелал Никите удачи на новом месте:

– Там полегче будет... А мне уж недолго работать на Курбана, он немало людей переморил...

Уединенным было владение духовного владыки казанских мусульман сеида Кулшерифа. Еще можно было попасть в селямлик с разрешения нишана Джафарамирзы, но никто не проникал на женскую половину дворца, где под строгим надзором Кулшерифовой матери жили жены первого казанского вельможи. Внутренний двор женского помещения был занят садом; туда и поставил Джафармирза старого Никиту ухаживать за цветами и деревьями.

Обилием садов не могла похвалиться Казань – слишком скучился огромный город в крепких дубовых стенах с десятью воротами, откуда шли дороги на все стороны: в Сибирское царство, к соседним ногаям, в Крым, в Москву.

Хорошо было в саду Кулшерифа-муллы. Кроны лип ежегодно подрезались; под их тенью царила прохлада в самый знойный день. Ветры, поднимавшие пыльные вихри в закоулках бедноты, не залетали в сад, за высокие стены. Большие пестрые бабочки яркими пятнами метались среди деревьев...

Однажды к Никите подошла женщина в халате, накинутом на голову:

– Ты русский? Свой?

– А, ты землячка! – догадался старик. – Зовут как?

– На Руси Настасьей звали. – Женщина сбросила халат, подняла черное волосяное покрывало. – Гляди...

На Булата смотрели огромные блестящие глаза в темных впадинах. Лицо полонянки исхудало, на почерневших губах была скорбная улыбка.

– Зачем открылась? Покарают...

– Кого карать-то? Последние дни доживаю. Сглодала чахотка... – Настасья кашлянула. На губах показалась кровь.

Женщина подвела Никиту к скамейке, усадила. Булат выслушал скорбную повесть Настасьи.

Она была крестьянка из-под Нижнего Новгорода. Десять лет назад на родную ее деревню неожиданно налетели татары. Кого поубивали, кого похватили в плен. Стала рабой и Настасья, которую полонили с грудным ребенком. О судьбе мужа Настасья ничего не знала: жив ли он, тоскует ли по жене и дочке на родной стороне...

– Дочка у меня растет, – шептала Настасья, – Дунюшка... Десять годков – одиннадцатый... Дедушка, возьми на попечение сиротку! С тем и пришла к тебе...

– А лъзя ли мне с ней видеться?

– Я сказала, что ты ей дедушка. Старая ханым добрая – я упрошу, она позволит. Я с Дунюшкой по-русски разговаривала, сказки рассказывала, песням нашим учила, покуда голос был... Умру – все позабудет...

– Не позабудет, коли к ней доступ мне дадут, – уверил женщину старый зодчий.

На следующий день Настасья привела Дуню. Девочка в смущении пряталась за мать. Булат все же рассмотрел ее: круглое личико, румяные щеки, голубые глазки... Татаркой Дуню делал наряд: белая рубашка, широкие красные шальвары, остроконечные туфли – бабуши – на ногах. Русые волосы заплетены были в косички с привешенными к ним мелкими серебряными монетками.

– Дуня, доченька, это дедушка твой. Поговори с ним, – упрасивала мать. – Он добрый, он скоро один у тебя останется...

– А ты уедешь, мама?

– Уеду, доченька, уеду... – с тяжелым вздохом сказала мать. – Далекое уеду...

Вскоре Дуня привыкла к новому дедушке. Настасья недаром торопилась сдружить дочку с Никитой. Дуня стала прибегать к старику одна: мать уже не поднималась.

Ни одного близкого человека не было у рабыни Настасьи, и только встреча с Никитой вселила в душу женщины надежду, что Дуня не останется одиноким, брошенным зверьком в многолюдном дворце Кулшерифа.

* * *

Богатый дворец мусульманского первосвященника более полувека назад поставили самаркандские строители. Плоская крыша обнесена была перилами из точеных столбиков: рабам хватало зимой работы очищать ее от снега. Под крышей шли три ряда карнизов, мягко вырезанных полукруглыми арочками. Ленты цветных изразцов опоясывали дворец. Здание окружали крытые галереи на витых

колонках; окна радовали глаз изысканным рисунком узорчатых переплетов, матово-серебристым блеском слюды.

Дорожки вокруг дома и к воротам вымощены были каменными плитами.

Внутренние стены помещений индийский художник украсил глазурью: по синему полю переплетались кисти винограда с золотыми лотосами. Высокие белые потолки отделаны были прекрасной лепкой – работа пленных персидских мастеров.

Туркменские ковры висели по стенам, лежали на каменных полах, скрадывая шаги. Шелковые бухарские занавеси огораживали уютные уголки. Там, сидя на подушках, удобно было вести тайные разговоры, но лишь тишайшим шопотом: среди слуг немало было соглядатаев, передававших управителю Джафару все, что делалось и говорилось во дворце сеида.

В приемной Кулшерифа-муллы с утра собирались посетители. Оставив сапоги у входа, мягко ступали по ковровым дорожкам степенные муллы в зеленых халатах. Они спешили засвидетельствовать почтение Джафару-мирзе.

Джафар-мирза, горбун с уродливым туловищем, с длинными сильными руками, выслушивал комплименты с самодовольной улыбкой на лице, сильно тронутым оспой.

Приходили к Кулшерифу-мулле и светские посетители. Первосвященник Казани был вторым по значению лицом после хана. В дни междуцарствий сеиды не раз брали в свои руки управление государством. Сеид являлся главным советником царя, ни одно важное мероприятие не совершалось без его одобрения. Много сокровищ скопил Кулшериф-мулла: сеида щедро одаряли все, кто хотел заручиться его покровительством.

Проводив последнего посетителя, Джафар-мирза на цыпочках вошел к сеиду, ведя Никиту.

Среднего роста, полный, с длинной седеющей бородой, имам Кулшериф сидел на подушках, поджав ноги по восточному обычаю.

– Вот раб, о котором я тебе докладывал, эфенди, – сказал Джафар с низким поклоном.

Булат стоял перед Кулшерифом; разговор переводил управитель, говоривший по-русски.

– Бог сильный, знающий сделал тебя нашим рабом, – сказал сеид. – Не говорит ли это, что он милостивее к нам, правоверным, чем к урусам, и что он хочет очистить ваши души в горниле страдания?

– Кабы не пришли мы с Андрюшей в эти края, не попал бы я к вам в руки, – ответил Никита. – Ну, да ведь известно: от судьбы не уйдешь!

Поняв ответ русского в желательном для себя духе, Кулшериф продолжал:

– А потому, исполняя повеления судьбы, ты должен принять нашу святую веру, урус!

Никита покачал головой с выражением непоколебимой твердости:

– Веру я не сменю. В какой родился, в той и помру.

– Позволь мне, эфенди, убедить старика! – вмешался Джафар.

Получив разрешение, заговорил по-русски:

– Знаешь ли, как жить будешь легко, коли станешь нашим?

– Своей вере не поругаюсь. Пленник я, но не постыжу родной страны изменой.

Все уговоры остались бесполезными.

После смерти матери сиротка Дуня привязалась к старому Никите.

«Вот судьба... – думал Булат. – Андрюшеньки лишился – зато приемная внучка объявилась, на старости лет утешение!»

Никита полюбил Дуню, как родную дочь. Он рассказывал девочке сказки, пел песни... Большую часть времени Дуня проводила в каморке Булата.

Глава VI

Москва

В том году, когда Голован пришел в Москву, исполнилось почти четыре века с тех пор, как славный город был впервые упомянут в летописи. Когда-то была на месте Москвы лесная чаща, дикий лось спускался к водопою с кручи, где стоит Кремль, медведь залегал в берлогу на обрывистом берегу Яузы.

А стала Москва обширнее многих древних западных городов. Со всей Руси стекался народ под власть московских князей. Знали и рязанцы, и нижегородцы, и суздальцы: крепка жизнь за крепкими стенами Москвы. В надежде на поживу приезжали торговать и жить иноземные купцы из Любека, Гамбурга, из Кафы и самого Царь-града. Не диво было услышать на московской торговой площади разноязыкую речь, увидеть чуждый наряд.

Андрей шел среди нищих, посматривая на видневшийся невдалеке Андроньевский монастырь. Отовсюду доносился стук топоров, скрипели возы с бревнами, камнем, тесом.

Голован везде видел признаки оживленного труда, и ему казалось, что он принял правильное решение искать работу в Москве. Вдруг Андрей замер, низко опустил голову: навстречу на гнедой лошади ехал Мурдыш. Богатая шуба нараспашку открывала раззолоченную ферязь с бирюзовыми пуговицами, ноги в желтых сафьяновых сапогах опирались на серебряные стремяна. Княжий тиун небрежно помахивал плеткой и свысока смотрел на встречных. За ним следовали слуги.

Убогие отошли к сторонке, перекидывались замечаниями:

– Расступись, народ, воевода плывет!

– Дешево волк в пастухи нанялся, да мир кряхтит!

– Ишь пышет, разбойник! Разминулись благополучно.

– Как мне теперь быть, дедушка Силуян? – тревожно спросил Голован.

– Ходи с опаской, изловить могут. Побудешь с нами, покудова заручки не найдутся...

* * *

Нищие остановились в Сыромятниках, у знакомой бабы-пирожницы. Разбившись по двое и по трое, убогие пошли за подаяннем. Андрей присоединился к деду Силуяну и слепому Лутоне, которому служил поводырем.

Первый день, когда Голован отправился с нищими, запечатлелся в его памяти.

Они шли по правому берегу Яузы. Перегороженная плотинами, речка разливалась прудами, подернутыми тонким льдом. Под плотинами стояли мукомольные и шерстобитные мельницы. Местность была заселена мало. Редко попадались по крутым берегам Яузы убогие избенки.

Дальше домики стали попримятнее, плотнее лепились друг к другу.

– Здесь государевы серебряники живут, – объяснял дед Силуян, отлично знавший Москву. – Делают они к государеву столу серебро: кубки, чары, корцы и всякие иные столовые посуды... Они же, серебряники, готовят украшенья на конские сбруи и на пищали огнестрельные и куют серебряные стремяна...

Головану, любителю мастерства, захотелось посмотреть, как работают серебряники. Но для него, нищего в лохмотьях, это была неосуществимая мечта.

Оставив Яузу, Силуян и его спутники повернули вправо – на Солянку. По улице движение шло бойко, но вид ее разочаровал Андрея: сплошные высокие заборы с воротами, покрытыми потемневшими двускатными кровельками. Головану, сыну искусного плотника Ильи Большого, лучшего резчика в округе, украшения карнизов и свесов показались бедными.

Одни ворота распахнулись – выехал обоз. Нищие приткнулись к воротному столбу. Голован рассмотрел внутренность двора.

«Боярская усадьба», – подумал Андрей.

Хоромы стояли посреди двора, людские избы и службы разбросались повсюду. Ворота караулил дюжий мужик, а рядом прыгал на цепи огромный пес.

– С опаской бояре живут! – добродушно сказал дед Силуян.

Закрывая ворота, сторож закричал:

– Эй, нищebroды, чего сглядываете?

Сердитый и острый на язык Лутоня сразу нашел ответ:

– У твоего боярина сглядишь! У него каждая деньга алтынным гвоздем прибита!

– А ты ведаешь, слепень?

– А то нет? Видать сову по полету!.. Э, да я и тебя по голосу признал: это ты вчера своих родителей за чужой обедней поминал, благо на дармовщинку! А батька твой из блохи голенища выкроил!

Любопытная московская толпа, собравшаяся вокруг, захохотала. Побезденный в острословии привратник скрылся, буркнув:

– Проходи, проходи! Ты тоже молодец: борода с помело, а брюхо голо...

Лутоня отправился дальше, распевая густым басом:

– А вот подайте пищу на братию нищу! Мы, нища братия, бога хвалим, Христа величаем, богатого боярина проклинаям...

Окруженные ребятишками, которых привлекала богатырская внешность Лутони и мрачное, неподвижное его лицо, добрели нищие до Варварки.

Эта улица, в которую они прошли через ворота Китай-городской стены, оказалась богаче Солянки. Тут даже попадались боярские хоромы, горделиво глядевшие на улицу, а не спрятанные в глубине усадьбы.

Улица поражала многолюдством. Людской рокот оглушил Голована. Толпы народа катились встречными потоками; людские водовороты возникали на перекрестках, возле лавчонок, где продавали съестное.

Баба, торговавшая пирогами, выхваляла товар пронзительным голосом:

– А вот пироги! Пироги горячи!

– Бублики! Бублики! – ревел дюжий парень. – На деньгу десятков, а дырки в придачу!

– Отчего зачался мир-народ на земле?.. Отчего у нас ум-разум?.. – не смущаясь общим гамом, заунывно тянули Силуян и Лутоня.

Андрей держался поближе к слепому, боясь затеряться в сутолоке.

– Боярин едет! Боярин! – раздались крики.

Верховые холопы с нагайками неслись по улице, и народ бросался кто куда. Не успевших ускользнуть настигали удары под хохот толпы. Досталось и Лутоне с Андреем, замешкавшимся на дороге.

Боярин проехал гордый, надменный, высоко держа голову в драгоценной меховой шапке, сурово глядя на толпу. За ним следовала свита.

– Я тебя, малый, в Кремль поведу! – сказал дед Силуян, когда наконец миновали суматошливую Варварку.

Они прошли Пожар, пробираясь сквозь людскую гущу.

Андрей не обращал внимания на толчки и ругань встречных, он забыл даже про Лутоню.

День был ясный. Солнце играло на многочисленных куполах и главах кремлевских церквей, на жарко блестящих медных крышах царских хором.

У Голована разбегались глаза, он не знал, куда смотреть. За высокими стенами красовался иной мир, о котором он слышал только по рассказам старого Булата и который теперь представился ему воочию.

Причудливыми легкими громадами рисовались на чистом небе великокняжеские палаты с массой шатров, шпилей, башенок... Выше их поднимали величавую голову Архангельский и Успенский соборы...

В Кремль вошли через Фроловские ворота, сняв шапки.

Голована удивило множество нищих у кремлевской стены, в воротах и на церковных папертях. Андрей сказал:

– Нам не подадут: вишь, сколько убогих!

Силуян спокойно возразил:

– И, милый, Москва велика, на всех хватит! А может, будет раздача от государя либо от митрополита. Тогда и нам перепадет...

Оставив Силуяна и Лутоню на паперти Архангельского собора и обещав скоро вернуться, Андрей пустился осматривать Кремль. Прошел час и второй, а Голован не возвращался. Обеспокоенный Силуян отправился на розыски. Старик нашел Андрея перед великокняжескими хорами. Голован восторженно рассматривал их, потеряв всякое представление о времени.

Великокняжеские хоромы выстроились не сразу; в течение десятков лет к ним прибавлялись бесчисленные пристройки: сени, терема, чердаки, повалуши... Эти естественно возникшие сложные сооружения были причудливо красивы, как деревья в лесу, выросшие на вольной воле...

Кремль восхищал зрителя родной русской красотой, хоть и не обязан был ею одному какому-то зодчему; ни один строитель не смог бы создать такой красоты, будь он самым гениальным художником мира: она рождалась веками, усилиями тысяч безыменных русских людей.

Точно пьяный, с головой, кружащейся от множества впечатлений, вернулся Голован в лачугу к бабе-пирожнице.

* * *

Изо дня в день Силуян и его спутники бродили по Москве. Многие слободы ее ничем не отличались от деревень, какие видел Голован на Руси. Улицы пролегали то меж покосившихся деревянных заборов, то меж простецких ивовых плетней. Из курных изб вырывались сизые столбы дыма, совсем как в Выбутине. Избушки крыты были тесом, дранью, соломой...

В праздничные дни москвичи сидели на дерновых завалинках, щелкали орешки, пересмеивались, задирали прохожих. Парни и девки вели хороводы. Взявшись за руки, ходили кружком вокруг парня, припевая:

И ходит царь, И ищет царь, Царь царевну свою. Королевну свою...

Между слободами раскинулись поля. Ветер взвихривал мелкий сухой снежок. Безлюдье, как за сотни верст от Москвы. Потом снова вкривь и вкось тянулись улицы.

Многими слободами окружена была главная, центральная часть Москвы. И каждую слободу населяли люди по преимуществу одного ремесла.

В Серебрянической слободе, уже знакомой Головану, мастера выделывали золотую и серебряную посуду для великокняжеского стола.

В Кожевниках ремесленники мяли кожи. Там купцы закупали сапожный товар: подошвенную кожу, юфть, сафьян.

Хамовники и Кадаши готовили для дворцового обихода тонкое полотно на белье, скатерти, полотенца.

В Садовниках каждый дом был окружен фруктовым садом, а за садами, у берега Москвы-реки, раскинулись огороды.

Конюшни сосредоточивались в Конюшенной слободе; по соседству жили царские конюхи и кучера. А на Остожье стояло множество огромных стогов сена: годовой запас для великокняжеских конюшен.

Остожье осталось навсегда памятно Головану: там между Лутоней и его молодым поводырем произошла крупная ссора.

Из разговоров со сторожами слепец узнал, что стогами ведает его бывший господин Вяземский, по воле которого Лутоня лишился зрения.

Старик решил свести старые счета: он приказал Головану пробраться тайком к одному из стогов и поджечь его. Погода была ветреная, пожар быстро уничтожил бы огромные запасы сена, приготовленные на целый год для великокняжеских лошадей.

– Пускай тогда почешется Вяземский! – злорадно говорил старик. – Небось узнает тогда государеву милость!

Голован отказался выполнить приказ. Слепец гневно укорял парня в трусости, называл боярским приспешником. Только тогда утих Лутоня, когда Андрей сумел доказать ему, что пожар погубит не боярина Вяземского, а множество невинных людей из простого народа. Будут жестоко наказаны за небрежение сторожа; погорят избушки огородников, приютившиеся на берегу Москвы-реки. А если, на беду, огонь перекинется на соседние слободы, то количество жертв будет огромно...

Старик побрел прочь от Остожья, сердито ворча себе под нос:

– Ладно, пока спущу тебе, анафема Вяземский, а придет время, я с тобой посчитаюсь...

Поначалу Головану казалось, что Москва – огромная государева вотчина, обслуживающая многочисленные нужды великокняжеского двора.

«Вот так поместье у государя! – думал Андрей. – Я мыслил, боярин Оболенский велик, а он супротив государя – мошка...»

Голован узнал Поварскую улицу и окружающие ее переулки: Скатертный, Столовый, Хлебный. Тут жили повара, хлебопеки, крендельщики, квасовары и медовары и всякие иные работники, готовившие пищу и питье к государеву столу. А ели и пили при дворе немало...

У Новинского жили государевы охотники – сокольники, кречетники; у Ваганькова – псаря; в Пресненских прудах были живорыбные садки для рыбы, издалека привозимой к государеву столу в кадках с водой...

Только позднее понял Голован, что по неопытности замечал первое бросающееся в глаза. Москва не была княжеской вотчиной, хотя многие тысячи ее жителей обслуживали государевы нужды. Москва была столицей обширного государства, которому она дала свое имя (иностранцы называли русское государство Московией). Москва устанавливала порядок в стране, обеспечивала ее безопасность. В Москве были приказы, ведавшие государственными делами; московские гости торговали со всеми областями большого царства и с другими странами...

Глава VII

Скоморохи

Зима подошла к концу, а Голован все еще ходил с нищими. Холопы Артемия Оболенского частенько наезжали в московский дом князя и жили подолгу. Андрей не раз видел на улицах знакомые лица из муромской княжеской вотчины. Спасало Андрея скромное положение поводыря слепого великана. Голован жил в постоянной тревоге, стал боязливым, раздражительным; высокий стан юноши согнулся, лицо похудело...

Артель Силуяна поговаривала, что пора подаваться на полдень: нищие не любили засиживаться на месте. Андрей слушал такие разговоры с тоской. Что ему делать? Пойти с нищими, бродить по Руси, питаясь подаянием? А зодчество? А выкуп Булата? Головану казалось, что жизнь зашла в злосчастный тупик, из которого нет выхода.

«Пойду в Холопий приказ! – надумал Андрей. – Открою всю правду-истину, как меня Мурдыш не по закону закабалил. И буду просить защиты...»

Нищие единодушно отвергли отчаянный замысел:

– Али ты с ума сошел? У дьяков вздумал правду искать! Тебя же с головой Оболенскому выдадут. И уж тогда не сбежишь... С сильным не борись, с богатым не судись!

И опять Голован не знал, на что решиться. Если бы не была заказана дорога во Псков...

В начале апреля нищие ушли из Москвы на юг. Голован остался. Баба-пирожница обещала давать ночлег.

– А уж кормить не буду, не прогневайся! Сам видишь мои недостатки...

Голован тоскливо бродил по городу. Милостыню просить он не хотел. Надо искать работу, а как взяться за это в нищенской одежде, без поручителя...

Погруженный в невеселые думы, Андрей вышел на площадь. Шумел и толкался народ. Двое в забавных пестрых костюмах, в колпаках с бубенчиками кружились, приплясывая, сходясь и снова расходясь.

Скоморохи!

Во время странствий по Москве Голован не раз видел скоморохов, и зрелище это было для него не ново. Один из скоморохов, высокий, вихлястый, с жиденькой козлиной бородкой, колотил в бубен; бубну вторили колокольчики, пришитые к колпаку. Второй, низкий и коренастый, играл на свирели; он мало двигался, довольствуясь тем, что повертывался вокруг себя.

Зато высокий вертелся волчком и кружился вокруг товарища. Он ухарски взвизгнул, тряхнул бубном и завел плясовую:

Прокалила Еремевна толочноДа поставила студить за окно.Ниоткуда тут возьмись Елизар,Толоконце все до крошки слизал!..

– Ой, ловко! Молодец, Нечай! Молодчага! – восторженно кричали зрители.

В лице Нечая играла каждая жилка, губы, казалось, слизывали толочно из чашки, глаза щурились то озорно, то испуганно, руки упирались в бока, как у разгневанной бабы, или подхватывали и прятали пустую посудину. Товарищ Нечая высвистывал задорную плясовую, а лицо его оставалось сосредоточенным и даже угрюмым.

– Дуй вовсю, Жук! – вскрикивал Нечай, бешено округляя веселые глаза и учащая пляс. – Сыпь, Матвей, не жалея лаптей! – отбивал он присядку под гул, хохот и крик толпы.

Проворно оглядевшись вокруг, Нечай завел новую песню, резко отличную от первой. Лицо скомороха изобразило великую спесь и полное презрение к окружающим. Выпятив брюхо и важно толкая ближайших зрителей, Нечай медленно выводил:

Как у нашего боярина хоромы высоки,Как у нашего боярина собаки злы...У него ли, милостивца, мошна толста...Что душа ни пожелает, то и все у него есть...А чего же у боярина, братцы, нет?У боярина у знатного совести нет!У боярина великого правды нет!..

– А ну, ты, детина, насчет великих бояр полегче!

Из-за спин зрителей неожиданно появился рыжий мужчина, кривой на один глаз. Толпа встретила выходку пристава злобным гулом:

– Недоля! Княжеский заступник выполз!

– Крив, собака, а боярское поношение сразу узрел!

– Ищейка господская!

Кривой Недоля, не обращая внимания на угрозы, пытался пробиться к Нечая, но возмущенные зрители крепкими толчками выпроводили пристава за круг.

– Ты нашего Нечая не тронь! Он за правду стоит! Еще полезешь не в свое дело – бока переломаем!..

Злобно ворча, Недоля ушел в соседний переулок.

Представление кончилось. Сдернув колпак, Нечай начал обходить зрителей; в его шапку изредка падали медные гроши.

Толпа рассеялась, на площади остались только два скомороха и замешкавшийся Голован.

– Нет, Недоля каков! – весело подмигнул юноше Нечай, тряхнув колпаком со скудным сбором. – Он давно до меня добирается, а донести боится: знает, что за меня народ оплатит... А ты, паря, по обличью вроде не московский...

«А что, если я этому скомороху откроюсь? – неожиданно подумал Голован. – Едва ли он станет боярскую руку тянуть. А мужик, видать, бывалый...»

Так наболело у Андрея на душе, что он откровенно рассказал скоморохам свое прошлое, свои страхи и мечты.

Слушатели и рассказчик сидели на паперти ветхой церквушки. Голован уселся лицом к лицу с Жуком. У Жука были черные волосы, спутанная, торчащая вперед короткая черная борода.

– Так-то, друг Андрюша! – тепло и просто сказал Нечай. – Не минула и тебя боярская милость! Худо жить одинокому бедняку. Это ты, милый, ладно сделал, что нам правду выложил. У нас, скоморохов, хоть шуба овечья, да душа человеческая, и мы тебя в беде не бросим... Как, Жук, возьмем малого с собой?

– Пущай, – согласился Жук. Был он молчалив, а когда говорил, то запинаясь и как будто боролся с каждым словом.

– А все же ты, паря, попробуй завтра по постройкам походить, – посоветовал Нечай. – По твоим рассказам, работник ты дельный. Коли войдешь в почесть к сильному, то и от Оболенского тебя заступит. А там справишься с делами, одежонку заведешь – станешь и деньги копить на выкуп наставника.

– Попробую, – согласился Андрей.

– Нос не вешай! Бог не выдаст, свинья не съест. Пошли!..

Нечай шагал, нелепо выворачивая ноги: приучила кривляться скоморошья жизнь. Демид Жук ступал твердо, точно сваи вколачивал.

Покуда добрались до переулочка у Трубы, скоморохи успели дать три представления и собрали еще несколько медяков.

Изба, куда привел гостя Нечай, служила пристанищем многим скоморохам. Голована накормили, уложили на лавку. Сон сморил усталого парня, но и сквозь сон он слышал, как входили в избу новые люди, шумели, рассказывали, кто сколько заработал, делили деньги...

* * *

Изба поднялась чуть свет. Высокая сгорбленная старуха, артельная хозяйка, поставила на стол щи, разложила огромные горбуши хлеба. Ели быстро, сосредоточенно, все торопились.

После завтрака вспыхнула ссора между Нечаем и Жуком. Повздорили, куда идти.

– На Арбат двинем, дружок, на Арбат! – бойко сыпал словами Нечай. – На Арбате мужики щедры, на Арбате бабы добры... Пошагали, сват, на Арбат?

Демид отрицательно качал черной головой.

– Так куда ж? Ну куда ж тебе хочется?

– В Крутицы, – буркнул Жук.

Нечай так и завихлялся длинным развинченным телом.

– В Кру-ути-ицы? – тоненько протянул он. – В Крутицах чорт крутился, последнего умишка лишился!.. Идем, сват, на Арбат!

– В Крутицы! – упрямо повторял Жук.

Кончилось тем, что оба побросали котомки, бубны и свирель, зачем-то сняли колпаки и стали наступать один на другого. Нечай скороговоркой исчислял обиды, причиненные ему Жуком чуть не за десять лет, а тот твердил одно:

– В Крутицы!

Плотный старик с кудрявой головой хихикал и подзадоривал спорщиков:

– А ну, ходи веселей! На кулаки давай! – Повернувшись к Головану, сказал:
– Думаешь, раздерутся? Не-е... Они каждое утро так. Пошумят – и перестанут... Их водой не разольешь!

Крик в самом деле прекратился. Порешили идти в Крутицы. Нечай подошел к Андрею:

– А то, может, с нами, дружок? Кафтан достанем, колпак. Живем хоть не густо, а все хлебаем шти с капустой!

– Попервоначально опробую, по твоему совету, искать работу.

– Не приневоливаю. А коли нужда прихватит – приходи! Всегда пригреем... Хозяйка! Ежели малый без нас придет, примай, как свою! А ты, Андрюша, коль куска хлеба не сыщешь, сюда путь держи. Дорогу запомни лучше!..

* * *

Мечты о работе разлетелись в прах.

Голован обращался к артельным старостам на стройках, спрашивал, не нужно ли зодчего. Исхудалого просителя в лохмотьях строители встречали насмешливо:

– Хо-хо, гляди, робя, какой зодчий набивается!

– Бо-огат! Шестерней приехал!

– Да ты, паря, алтын в руках держивал?

Голован уходил под улюлюканье. Вслед несло:

– Озорной! Похвальщик!

В одном месте его согласились принять подручным каменщика. Андрей с радостью ухватился за это предложение. Но его ожидало горькое разочарование. Уж он собирался, не теряя времени, приступить к работе, когда староста остановил его:

– Погодь, малый! А у тя заручник есть?

– На такую работу? – спросил озадаченный Голован.

– Пускай заручится, что ты не беглый холоп либо вор. Ин возьмешь без заручника, хлопот не расхлебаешь...

Голован повернулся и медленно пошел прочь.

Обида переполняла сердце. Почему добры к беднякам только последние люди – убогие да скоморохи? Почему только они жалели бесприютного, давали пропитание и укрывали от преследований? А чуть кто повыше, к тем не приступись. Даже старосты на постройках смотрят с презрением и недоверием...

Вечером Андрей разыскал Нечая и Жука.

– Ну как, паря? – с живым участием спросил Нечай.

– Плохо, друг! Никому я не нужен, на работу не берут. Пошел бы во Псков, да больно злобен на меня игумен Паисий, сгубит...

– Тесные у тебя дела, – согласился Нечай. – Уж больно лохмотья твои страшны, всех отпугивают. Одно спасение: походи с нами, скопи денег, приденься. Я тебя научу в бубен играть да тарелками в лад стучать. Али стыдишься?

– Я не боярского роду!

– Ну вот и хорошо. Зайдем по этому случаю в кабак!

– Не пью я.

– Это плохо, друг Андрюша! Какой из тебя после этого скоморох?..

Нужда научит калачи есть. Голован пошел со скоморохами по московским улицам, научился звенеть тарелками, притопывать под звон бубна, подпевать Нечаю...

Великий пожар

Лето 1547 года было в разгаре. Долго стояла сухая, жаркая погода. Высохла грязь на площадях Москвы, в улицах, закоулках и тупиках, и каждый порыв ветра поднимал с земли пыльные тучи. Густая пыль тянулась за боярскими каретами и мужицкими телегами, клубилась из-под копыт лошадей и из-под ног пешеходов.

Московские старожилы с опасением поглядывали на бурое небо, на поблекшее солнце, лучи которого едва пробивались сквозь пыльный воздух.

– Быть беде! – шептались старики. – Быть великому пожару!..

Знающие люди не обманулись в своих предчувствиях. Большие пожары были нередки в Москве: почти ежегодно выгорала то та, то другая слобода с сотнями домов. Но пожар, случившийся во вторник 21 июня 1547 года, так опустошил Москву и последствия его были такими незаурядными, что подробное описание его попало в летопись.

В этот день бушевала сильная буря. От небрежного обращения с огнем загорелась церковь Воздвиженья на Арбате. Огонь, по выражению летописца, понесся на запад, как молния, и все спалил вплоть до Москвы-реки.

Река Москва служила надежным и дешевым путем для перевозки громоздких и недорогих товаров: дрова, доски и брусья, бочки со смолой и дегтем, со скипидаром и олифой – все это сплавлялось по Москве-реке и выгружалось в склады, расположенные на ее берегах.

Страшное получилось зрелище, когда огонь дошел до этих складов. Бочки со скипидаром и смолой разрывались, как бомбы; пылающие клепки летели за десятки сажен и даже перекидывались на другой берег реки, создавая новые очаги пожара. Каменные стены амбаров раскалялись добела и казались прозрачными. Густой черный дым поднимался на огромную высоту и оттуда падал, подобно хлопьям черного снега...

Пламя охватывало всё новые и новые части города: загорелся Балчуг, вспыхнули Маросейка и Покровка, запылали лесные склады и стога сена на Остоженке... С громовым шумом взорвались десятки бочек пороха, хранившиеся на Пушечном дворе близ Неглинной.

Море пламени заливало всё новые и новые улицы и площади Москвы, и не было такой силы, которая могла бы остановить разлив этого моря. Только там замирал огонь, где ему преграждали дорогу огромные пустыри, через которые ветер не мог перекинуть пылающие головешки.

Пожар не пощадил и Кремль. Вспыхнули кровли Успенского и Благовещенского соборов и крыша царского дворца, хотя на ней стояли десятки людей с ведрами воды и мокрыми тряпками. Люди напрасно пытались бороться с мириадами огненных искр, носившихся в воздухе подобно сердитым пчелам. Сгорела Оружейная палата с драгоценными образцами старинного оружия. Сгорела Постельная палата с государственной казной. Выгорел митрополичий двор со всем добром, накопленным владыками в течение десятилетий...

Царская семья с самого начала пожара спаслась на Воробьевых горах. Молодой царь Иван с ужасом смотрел с высоты на пожар, зарево которого виднелось за десятки верст вокруг.

Когда огонь только начал распространяться, москвичи принялись вытаскивать пожитки во дворы, на улицы и площади – прежде многим так удавалось спасти имущество. Но пламя пошло сплошным валом, накрывая сверху и дворы, и улицы, и площади. Народ был охвачен ужасом: стало ясно, что надо заботиться не о пожитках, а о спасении жизни. Многим и многим не удалось этого сделать...

Люди метались среди узких и кривых улочек, переулочков и тупиков, охваченных пожаром, пытаясь выбраться на простор, на пустыри, разделявшие

слободы. Хорошо поработали, спасая людей, скоморохи, прекрасные знатоки города, исходившие его вдоль и поперек.

Нечай, Жук и Голован спасли в этот день сотни несчастных, задыхавшихся в густом дыму, изнемогавших в накаленном воздухе пожарища. Приказывая держаться друг за друга веренице измученных, отчаявшихся людей, скоморохи ползком пробирались по извилистым улицам и выводили их в безопасное место. Там, оставив их, еще не верящих своему спасению, Нечай и его товарищи снова отважно бросались в пылающие улицы.

– Бог не выдаст, свинья не съест! – задорно кричал Нечай, поворачивая к Жуку и Головану покрытое копотью лицо, на котором блестели озорные глаза. – Когда и поработать для души спасенья, как не сегодня! Пошли, братья!..

Много раз повторялись отважные вылазки скоморохов в бушующее море огня, пока дело не кончилось бедой.

В конце глухого тупика горела бедная избенка. Тревожное чувство заставило Голована приблизиться к поднятому окошку и заглянуть в него. То, что он увидел, заставило парня похолодеть от ужаса: в дальнем углу, смертельно испуганные, стояли двое детей лет по пяти-шести – мальчик и девочка. Гибель их казалась неизбежной, но Андрей окутал голову армяком и смело ринулся в пылающую избу. Он успел вытащить оцепеневших ребят, но, сбегая с крылечка, споткнулся. Невольным движением Голован бросил ребят подбегавшим к нему товарищам, и в это время горящая доска свалилась с крыши на спину Андрея.

Нечай и Жук понесли Голована в безопасное место; парень с тяжелыми ожогами бредил и стонал. Спасенные ребяташки, держась за руки, побрели за скоморохами, но, к счастью, на ближнем пустыре им встретилась мать, уже оплакивавшая своих детей.

Григорий Филиппович Ордынцев ехал в Москву из Серпухова. Еще за десяток верст от столицы его поразил вид дымной тучи, нависшей над городом, и запах гари.

– Пожар! – закричал Ордынцев и ударил кучера в спину: – Гони, гони!

Лошади понеслись птицами.

Григорий Филиппович перепугался недаром. Немалые деньги, скопленные им за годы службы губным старостой, он обращал в драгоценности: золотые кубки и блюда, перстни, браслеты... Все это хранилось в кубышке, спрятанной в спальне. Тайник был известен ему одному: до поры до времени он не говорил о нем ни Федору, ни его жене Наталье.

Старый Ордынцев не был скупцом, безрассудно обожающим сокровище, но мысль, что он один знает о нем, что власть распорядиться золотом всецело в его руках, веселила Григория Филипповича, и он решил открыть сыну тайну только на смертном одре.

И теперь сокровищу угрожала гибель. Это еще не страшно, если золото побывает в огне: расплавившись, оно останется золотом. Но мысль, что сокровище могут украсть холопы, обнаружив тайник во время суматохи, всегда сопутствующей пожару, была нестерпима Ордынцеву. Он даже застонал от ярости: ему представилось, как Тишка Верховой, пряча под полкой золото, с воровской ухмылкой пробирается по двору – зарыть добычу в укромном месте...

Кони мчались всё быстрее. Но вот телегу пришлось остановить перед стеной дыма и огня.

– Бросай лошадей! За мной! – хрипло закричал Ордынцев кучеру.

И они вдвоем ринулись в лабиринт горящих переулков.

Холоп давно отстал, а тучное тело Григория Филипповича несла какая-то неведомая сила. Он пробирался через дворы, еще не охваченные пламенем, нырлял под огненными завесами и упорно пробивался все вперед и вперед, на Покровку, к заветному сокровищу.

И он пробился! Вбежал на пустынный двор, уже покинутый людьми, вскочил в пылающий дом и там, набросив на голову шубу, на четвереньках пробрался в свою опочивальню, обожженными руками открыл тайник и вытащил кубышку.

«Цела!..» – пронеслась мысль в затуманенном сознании, и Ордынцев пополз к выходу.

Только на третий день, когда на улицах, охваченных пожаром, сгорело все, что могло гореть, а дождь погасил головни и прибил к земле дым, люди стали возвращаться на родные пепелища.

Федор Григорьевич уже знал от кучера о том, что случилось, и не чаял увидеть отца живым. Он нашел его труп на огороде: видно, крепок еще был Григорий Филиппович, коли, страшно обожженный, сумел он с тяжелой ношей выбраться на пустырь; но там старик обессилел и умер, накрыв своим телом сокровище, спасенное ценой жизни.

Много жертв унес великий московский пожар. По словам летописца, более тысячи семисот человек погибло в огне.

Глава IX

Грозные дни

Прослышав о московском пожаре, артель деда Силуяна поспешно двинулась в Москву из-под Коломны. Настоял на этом Лутоня, которому показалось, что настало время расплатиться с Вяземским за свое увечье, за разбитую жизнь.

Как мелкие ручейки соединяются в речки и реки и потом вливаются в море, так со всех сторон стремились в Москву кучки нищих, скоморохов, артели строителей и просто любопытные люди, которым хотелось поглазеть на небывалое зрелище: огромный город, выгоревший почти дотла.

Чем ближе к Москве, тем гуще шли по дорогам народные толпы, с неумолчным гулом разговоров.

В одном из больших сборищ гремел бас Лутони. Слепец в сотый раз рассказывал людям, как он по оговору тиуна безвинно лишился глаз.

– Пришло время посчитаться с лиходеями-боярами! – говорил Лутоня при бурном одобрении слушателей. – Не иначе как они Москву сожгли!

– А зачем, дяденька? – робко спросил светловолосый певун Савося.

– Зачем? – сердито переспросил Лутоня. – Затем, что им, злодеям, людское горе слаще медового пряника. Иной бедняга, что все пожитки на пожаре потерял, постоит-постоит на пепелище, хлопнет руками об полы, да и пойдет продаваться к боярину в кабалу!

– А ведь верно! – ахнули в толпе.

– Чего вернее! Мудрый слепец!

– Ах и злое же это, братцы, семя – бояре! Искоренить бы их! – вздохнули в толпе.

– Затем и идем на Москву! – уверенно отчеканил Лутоня.

Многотысячные толпы пришельцев заполнили московские площади и пустыри, перемешавшись с погорельцами, ютившимися под открытым небом. На каждом свободном клочке земли раскинулись таборы наподобие цыганских. На тех, кто сумел устроить себе палатку или навес из рядна, смотрели с завистью: это уж было какое-то подобие жилья. Большинству ложем служила земля, а покрывалом – облака, благо погода была летняя, теплая.

Близ таборов невесть откуда взявшиеся торгаши продавали съестное: булочки, пироги, соленую рыбу... У кого не было денег, расплачивался одежкой и всякими вещами, сохранившимися от пожара.

С утра и до поздней ночи кипела Москва. Слухи, возникавшие в одном конце города, мгновенно передавались повсюду; около нищих и скоморохов собирался народ, жадный до новостей.

Молва о том, что Москву выжгли бояре, становилась все увереннее, многим она уже казалась непреложной истиной. Нашлись десятки людей, которые, объявляя себя очевидцами, рассказывали, почему возник пожар.

– А получилось это дело, братцы, так, – вдохновенно повествовал высокий кривой детина, давний недруг Нечая, пристав Недоля. – Литвинка Анна с сыновьями раскопали могилы, вытащили из мертвецов сердца, положили их с бесовскими заклятьями в воду и той водой кропили Москву. И где покропят, там сейчас и занимается...

– От воды? – усомнился подгородный мужичок с кнутом за поясом – только и осталось у него от лошади с телегой, уведенной в суматохе.

– Так вода-то какая? – победоносно сказал Недоля. – Не простая вода, а колдовская. Скажи, – наступал он на собеседника: – у тебя хватит духу пойти на кладбище и из мертвых сердца вырезать?

– Ну что ты, Христос с тобой! – испуганно попятился мужичок. – Да разве православный человек на такую страсть решится?

– То-то и оно, а споришь! Православному это великий грех, а литвины – они ведь не нашей веры...

– И ты сам видел? – допытывались другие слушатели.

– Лопни мои глаза! Чтоб мне отца-мать не увидеть!..

Слухи о волшебстве Глинских бежали по Москве, как огонь в сухой траве.

Кому выгодно было обвинить в великом злодеянии Глинских? Их старинным врагам Шуйским, потерпевшим несколько лет назад поражение в борьбе за власть.

Недоля и другие наймиты Шуйских сеяли по Москве смуту, которая, по замыслу ее вдохновителей, должна была обрушиться на партию Глинских.

Шуйские рассчитали плохо. Народный гнев копился давно, и не против одних Глинских, а против всего боярства, всех угнетателей. Народ помнил, что и при Шуйских ему жилось ничуть не легче, чем при Глинских: те и другие были одинаково ненавистны.

В воскресенье, 26 июня, в Кремле, на Соборной площади, яблоку негде было упасть: так заполнили ее черные люди.

Народ собрался не случайно: сторонники Шуйских накануне распространили молву, что в этот день после богослужения будут всенародно изобличены виновники злодейского поджога Москвы.

Дюжий Недоля тоже был на площади, окруженный сообщниками. Дед Силуян жался к стенке, охраняемый от натиска толпы богатырской фигурой Лутони, который не стеснялся пускать в ход кулаки, если люди слишком напирали. Были там и Нечай с Жуком. Нечай, по обыкновению, сыпал злыми прибаутками, язвившими бояр без различия партий.

Нетерпение толпы достигло предела, послышались злые выкрики:

– Когда ж до дела дойдем?

– В этой давке стоячи, живота лишишься!

– Эй, там, передние, покричите попам, пускай побыстрее служат!..

Вдруг толпа заколыхалась, теснясь вперед; на соборную паперть вышли из храма бояре в пышном одеянии.

Тучный Иван Петрович Челяднин выступил вперед и поднял руку, призывая народ к молчанию. На площади стало тихо.

– Православные! – начал Челяднин. – Посланы мы царем Иваном Васильевичем вызнать правду про злоумышление, коим стольный город Москва сожжен. И вы, люди русские, кому про то черное дело ведомо, не боясь сильных и знатных, объявите истину, как на страшном суде господнем...

Все было странно в этом выступлении царского посланца: как можно узнать правду о причинах пожара (если он даже и не возник случайно, как и было в действительности) у многотысячной толпы, накаленной яростью, настроенной по

преимуществу против Глинских! Но никто как будто не замечал несообразности дела, а бояре Челяднин, Федор Скопин-Шуйский и другие политические противники Глинских, явившиеся в тот день перед народом, поставили себе двойную цель. Прежде всего им хотелось сломить силу Глинских, уничтожить их главарей: для этого и был пущен нелепый слух о колдовстве; летопись называет Челяднина и Скопина-Шуйского в числе распространителей этого слуха. Другой же их целью было разрядить народный гнев в определенном направлении.

«Пусть поплатятся Глинские, – думали Шуйские и их сторонники. – Сорвет народишко злобу и на том успокоится...»

Челяднин окончил свою недолгую речь. Молчание толпы прервал злобный выкрик Недоли:

– Я, православные, знаю правду-истину! Волхвовала царева бабка Анна Глинская да дети ее, царевы дяди! Вон один стоит, побелел от нечистой совести!

Недоля грозно указал пальцем на князя Юрия Глинского, который стоял на паперти в толпе бояр.

Юрий действительно побледнел и отступил в задние ряды, стараясь укрыться за широкой спиной Федора Ордынцева. Молодой спальник слышал, как бешено бьется сердце вплотную прижавшегося к нему Глинского. А князю Юрию стал совершенно ясен коварный умысел Челяднина, подбившего его показаться толпе.

– Коли будешь прятаться, князь, – говорил лукавый царедворец, – хуже будет. Поверит народ злым толкам, и тогда от него не укроешься. А так-то, с чистой совестью, чего бояться?..

Теперь князь Юрий стоял лицом к лицу со смертью. Пылающие яростью лица, злобно поднятые руки...

«Бежать! Укрыться в святом храме!.. Туда не посмеют ворваться убийцы...»

Юрий убежал в собор. Вслед ему понесся злобно-торжествующий рев Недоли, подхваченный сотнями голосов:

– Повинен в волшебстве! Сознал свою вину!

– Колдуну божий храм – не убежище!

Толпа ринулась на паперть Успенского собора. Челяднина и других бояр грубо отгеснили, хотя они только для вида сопротивлялись людскому натиску. Один пылкий Федор Ордынцев попытался задержать нападающих и был сброшен с паперти, помятый, истерзанный, в разорванном кафтане.

Юрий Глинский был убит, и труп его выбросили на всеобщее поругание.

– Так и всем злодеям достанется! – шумела толпа.

Слепой Лутоня расспрашивал людей, не видно ли среди бояр князя Лукьяна Вяземского, и очень огорчился, узнав, что его нет на площади.

– Разыщу же я его, ирода! – злобился Лутоня.

Весть о том, что царев дядя Юрий Глинский жизнью расплатился за свои злодеяния, молниеносно распространилась по Москве. Она воодушевила многих робких, которые еще не решались открыто выступить против бояр.

Казнь Глинского показала, что и на знатных есть управа, что народ сильнее кучки бояр и их приспешников. Пламя бунта с каждым часом разгоралось все сильнее.

Тысячные толпы, вооружившись топорами, вилами, дрекольем и дубинами, рассыпались по Москве. Клевреты Шуйских, шныряя среди восставших, старались направить их против сторонников Глинских. Люди Глинских – холопы, слуги и просто приверженцы – гибли сотнями.

Но этим дело не ограничилось. Шуйские, как в сказке, выпустили грозного духа, с которым не в силах были справиться.

Князь Лукьян Вяземский был одним из столпов партии Шуйских. Но страшный Лутоня явился к его усадьбе, уцелевшей от пожара, с двухтысячной толпой.

Сам Вяземский успел сбежать и оставил за себя ключника Аверку, уже состарившегося, но еще бодрого. Аверка должен был оборонять хорошо огороженную усадьбу с сотней вооруженных слуг.

Аверка узнал во главе нападавших слепого великана Лутоню. Да и немудрено было тиуну узнать своего заклятого врага: Лутоня каждый год появлялся у ворот княжеской усадьбы в тот день, когда выжгли ему глаза, призывал страшные проклятия на князя Лукьяна и его верного холопа Аверку и грозил мстью.

«Теперь он рассчитается со мной сполна!» – в страхе подумал Аверка и не ошибся.

Лутоня во главе кучки молодцов первым подступил к воротам с огромным бревном. Несколько мощных ударов – и ворота рухнули. Княжескую челядь перебили, усадьбу сожгли.

Два дня продолжались бои между повстанцами и боярскими дружинами. Всюду побеждал народ. Туда, где нападающие встречали особенно упорное сопротивление, являлась сильная подмога.

Ужас охватил бояр и богатых дворян, понявших, как ничтожны их силы перед мощью народа.

Даже наиболее смелые из знатных, которые вначале пытались наладить оборону своих поместий, поняли, что для них единственное спасение в бегстве. Но бежать открыто было невозможно: сотни тысяч глаз сторожили беглецов. Бояре надевали грязные лохмотья, пачкали грязью и золой белые лица и холеные руки, пробирались глухими закоулками. Многим удалось спастись, иные погибли.

Тревожно было и в царском дворце.

«Вошел страх в душу мою и трепет в кости мои», – откровенно сознавался впоследствии Иван Васильевич, вспоминая о великом московском восстании 1547 года.

На второй день восстания захотел отличиться перед царем князь Андрей Курбский.

– Людишки московские – трусы и бездельники! – заявил князь. – Я нагряну на них с моей дружиной и мигом приведу к покорности!

Царь с радостью согласился на предложение Курбского.

Во главе трехсот воинов князь Андрей углубился в пределы города. Москвичи встретили дружину Курбского в угрюмом молчании; не начиная боя, они пропускали врагов, смыкались за ними.

Курбский добрался до Лубянки. Поведение восставших его беспокоило.

Привстав на стременах, князь огляделся. Его отряд был окружен плотной толпой: спереди и сзади сомкнулись грозные ряды бойцов. Они заполняли все улицы, выходящие на Лубянку; люди смотрели с крыш домов, стояли на стенах Китай-города...

Князь Андрей понял: если он подаст знак к битве, из его дружины не уцелеет ни один человек. И, хмуро опустив глаза под насмешливыми взглядами москвичей, Курбский повернул коня. Бегство совершилось в таком же молчании, как и вступление в город.

Выслушав сбивчивый рассказ Курбского о его неудаче, Иван Васильевич понял: велика сила народная, и если у москвичей явится достойный вождь, его царской власти будет грозить серьезная опасность.

Но вождя не нашлось, и на третий день восстание пошло на убыль.

Как всегда во время народных волнений, хаосом воспользовались бездельники и воры. Крестьяне и ремесленники думали о расправе с лиходеями-боярами. А боярская дворня – ленивые и развращенные холопы принялись грабить боярские и дворянские усадьбы.

Из дома Ордынцевых, пользуясь временным безвластием после гибели Григория Филипповича, сбежал Тишка Верховой. Наглый, вконец испорченный

праздной жизнью, Тишка решил, что настало время разбогатеть за чужой счет. Он нашел немало приятелей, таких же любителей чужого добра.

Одна из воровских шаек особенно яростно громила боярские и дворянские дома, но не брезговала и скудной добычей, захваченной в курных избенках. Вел шайку плотный мужик среднего роста, с красным круглым лицом, с большой рыжей бородой: это и был Тихон Верховой.

Во время мятежа Тишке Верховому и Головану довелось встретиться.

Страдающий от сильных ожогов Голован лежал в уголке площади под навесом из обгорелых досок, который соорудили ему друзья – Нечай и Жук. Они даже ухитрились устроить больному мягкую подстилку из соломы и тряпья. С утра скоморохи оставляли товарищу пищу и питье на целый день, а сами уходили громить бояр. Этому делу Нечай отдавался с веселым азартом, а Жук – с угрюмым ожесточением. Возвращались они лишь поздним вечером, и весь день Голован скучал один.

Тихон тащил за собой огромный узел с награбленным добром, высматривая, куда бы его пристроить, чтобы пуститься за новой добычей. Его внимание привлек навес Голована, и он решительно направился к нему. Взгляды Андрея и Тишки встретились. Тишка первый узнал Голована, так как тот хотя и сильно вырос, но мало изменился. Зато Тихона трудно было узнать: такой он стал дородный, краснолицый, бородатый.

Тишка горделиво посмотрел на Андрея:

– Э, парень, не высоко же ты поднялся! Скоморошествуешь?

Зоркий мужик разглядел брошенные в угол навеса скоморошья колпаки, дудки, бубен.

Голован коротко рассказал о себе, умолчав, впрочем, о том, как он был в холопах у Артемия Оболенского: он знал коварство Тишки Верхового. Выслушав Андрея, Тишка самодовольно заметил:

– А я вот не понапрасну из Выбутина убег: я теперь велик человек стал – дворецкий у спальника Ордынцева. Хочешь, похлопочу по старой дружбе? Мой боярин тебя в холопы примет.

– Нет уж, спаси тебя бог за такую послугу! – хмуро усмехнулся Голован.

– Ну, как знаешь! – Тишка спесиво задрал голову. – А можно мне свой узелок к тебе на время положить? Я тебе за сохранение малую толику пожертвую.

– Нет уж, тащись прочь со своим нечистым добром! – вспылил Голован.

– Эх ты, дурак!

Тишка ушел, волоча за собой узел.

Не все Глинские пали жертвой народного гнева: Анна Глинская, которую считали главной виновницей несчастья, и ее сын Михаил были в Ржеве, полученном ими на кормление.

Во вторник, ровно через неделю после пожара и на третий день после гибели князя Юрия Глинского, тысячные толпы отправились на Воробьевы горы требовать от молодого царя выдачи остальных Глинских, его родственников.

В числе людей, горевших желанием покарать виновников народного горя, случайно оказался и Тишка Верховой. Пока шествие продвигалось к воробьевскому дворцу, по толпе поползли слухи о том, что смельчаков, поднимающих руку на цареву родню, ожидает жестокая расправа. Слабые и нерешительные отставали. Сбежал и Тишка Верховой; вечером того же дня он как ни в чем не бывало смиренно прислуживал своему господину, спальнику Федору Григорьевичу.

Иная судьба постигла смелого Лутона.

Слепец шел в первых рядах толпы, направлявшейся на Воробьевы горы. Его вели Нечай и Жук. Лутона был вооружен такой увесистой дубиной, которую человек обыкновенной силы едва поднимал обеими руками. Но слепой богатырь ворочал ею, как перышком.

– Вот что, братцы, – сказал Лутоня окружающим: – как начнется бой, поставьте меня лицом к царевым дружинникам, а сами бегите подальше: зашибу! У моей дубины глаз-то нету...

Толпа повстанцев значительно поредела, когда приблизилась к горам, но остались самые смелые: их было около трех тысяч.

Царская дружина, уступавшая по численности, но превосходившая вооружением, встретила мятежников под горой. Не вступая с ними ни в какие переговоры, дружинники бросились в битву. Передние ряды повстанцев подались назад, и лицом к лицу с нападающими оказался гигант Лутоня.

Почувствовав по топоту ног и движению воздуха приближение врагов, слепец взмахнул дубиной. Царские воины в первый момент опешили; наступившее замешательство стоило жизни нескольким из них.

На месте, где стоял слепой боец, завязалась жестокая схватка. Лутоня вертелся на месте с неожиданным проворством; длинная дубина образовала, вращаясь, страшный круг, в который никому не было доступа. Воинственные крики старика, вопли и стоны умирающих, лязг оружия – все смешалось в жуткую музыку боя. Лутоню издали кололи копьями, задевали мечами, но страх мешал царским дружинникам нанести слепому богатырю смертельную рану. А тот, вдруг прыгнув вперед, ударами тяжелой дубины разбивал головы, крушил врагам ребра...

Как замороженные следили друзья Лутони за необычным боем, где, казалось, ужасного старика невозможно было победить. Но вот они заметили, что ноги слепца слабеют, – он потерял слишком много крови из многочисленных ран.

Жук, дико вскричав, первым бросился на выручку к Лутоне, но было поздно. Копье, брошенное издали с большой силой, пронзило сердце слепого, и тот упал мертвым.

После смерти Лутони бой продолжался недолго. Гибель старика, казавшегося предводителем толпы, обескуражила мятежников, а царские дружинники ободрились.

Нечая ранили в голову, но Жук успел взвалить его на плечи и унести. Дружинники не стали преследовать отступавших, боясь попасть в засаду.

Восстание кончилось. Оно было первым предвестником тех великих бурь, которые в последующие века потрясли Русь. Отголоски московской грозы понеслись по стране. Во многих областях народ поднимался против наместников и расправлялся за обиды, что пришлось терпеть в течение многих лет. Кое-где власти сумели своими силами усмирить крестьян, в иные места пришлось посылать войска.

Жук притащил раненого Нечая под тот же навес, где лежал больной Голован. Но друзьям недолго пришлось лежать вместе. От добрых людей Жук узнал, что схваченный Недоля оговаривает множество участников восстания. Нечая и Жуку грозила казнь, и в тот же вечер они ушли из Москвы. Голована они поручили заботам другой артели скоморохов, которая пришла в Москву в тот день и не была замешана в восстании.

Глава X

После восстания

Федор Ордынцев участвовал в вылазке Курбского, когда тот попытался усмирить мятежную Москву. Царь послал Ордынцева с князем Андреем неспроста. Привыкший к двуличию бояр, царь Иван не доверял Курбскому и хотел иметь отчет о событиях от верного человека.

Федор видел бесславное отступление князя Андрея и правдиво рассказал о нем царю.

Когда восстание отшумело, Федору довелось присутствовать при решении участи его главарей и зачинщиков.

С молодым спальником Иван Васильевич обращался ласково, но в душе Федора всегда жил страх перед царем. Теперь этот страх получил еще более веские основания: Ордынцев видел неумолимо жестокое лицо царя, когда тот изрекал бунтовщикам смертные приговоры, мстя за трепет, с каким выслушивал вести о московском бунте. Федор видел и казни: погибли сотни главных участников восстания, а наряду с ними и многие оговоренные невинно.

Ордынцев, с самых юных лет состоявший в придворной должности, человек начитанный и умный, понимал, что московский бунт повлечет за собой большие государственные преобразования. Ведь восстание показало, что народная мощь крайне опасна для верхушки общества, стоящей у власти. Силы немногочисленной кучки князей и бояр-кормленщиков были ничтожны.

Откровенно беседуя со своим шурином Степаном Масальским, Федор как-то сказал:

– Боярское время ушло. Пусть предки бояр когда-то сидели на княжеских уделах – народ про то позабыл. Вот мы с тобой, Степа, без малого полтора десятка лет при дворе, многое видели. Видели, как грызлись за власть Шуйские, Бельские, Глинские... А народ за их спиной стоял? Шуйские – потомки суздальских князей, а разве суздальская волость хоть раз поднялась за них?

– Не припомню такого дела, – признался Степан. – Бывал я в Суздале, там народ Шуйских терпеть не может...

– Как и Бельских, как и Глинских, как и всех кормленщиков, – подхватил Ордынцев. – У всех этих великих господ и жадность великая. Вот мы, дворяне, довольствуемся малым. Есть у меня деревенька, что за мной после отца закрепили, – мне того и достаточно. Таков же и ты, и Кеша Дубровин, и Василий Голохвастов... Да нас таких неисчислимо, и ежели царь даст нам силу, крепка будет и его власть...

Думы и надежды дворянства не укрылись от Ивана Васильевича, который и сам понимал, что только сильное дворянство может стать опорой царской власти.

Во главе нового правительства стали благовещенский поп Сильвестр и думный дворянин Алексей Адашев.

Попа Сильвестра Федор Григорьевич знал хорошо: Сильвестр еще до большого пожара бывал во дворце у Ивана Васильевича. Читал Ордынцев и сборник поучений русскому человеку – «Домострой», составление которого молва приписывала Сильвестру.

Став во главе правительства, властный и честолюбивый Сильвестр пытался обращаться и с царем Иваном в духе «Домостроя», требуя совершенного повиновения.

Алексей Федорович Адашев происходил из среднепоместного дворянского рода. Неизвестно, как выдвинулся Адашев на такую видную роль, не соответствовавшую, по тогдашним понятиям, его незнатному происхождению. Но дело свое он выполнял умело, с блеском. Адашев взял на себя две важнейшие отрасли управления: он ведал внешними сношениями и государственной казной.

Новое правительство – Сильвестр, Адашев и их ближайшие помощники и советники составили так называемую «Избранную Раду». Эта Рада пользовалась таким огромным влиянием, что без ее согласия царь не проводил ни одного важного мероприятия.

Поп Сильвестр и неродовитый дворянин Адашев нуждались в сильной поддержке; они привлекли тех крупных бояр, которые сознавали, что создавшееся положение требует некоторых уступок дворянству. Первым из таких бояр оказался честолюбивый Андрей Михайлович Курбский, потомок князей – владетелей

Ярославля. Курбского сблизил с царем большая начитанность и красноречие. Много лет Курбский был любимцем царя Ивана.

Мечты Федора Ордынцева, Степана Масальского и других молодых дворян сбылись в 1550 году. В этом году была составлена так называемая «Тысячная книга», в которую внесли тысячу семьдесят восемь избранных дворян. Отбор производился очень тщательно: люди попадали в «Тысячу» за собственные заслуги или за дела отцов.

Попали в «Тысячу» и Федор Ордынцев, пожалованный в стольники, и Степан Масальский. Тысячников называли «лучшими государевыми людьми». Им дали поместья под Москвой. Из них впоследствии назначались военачальники, наместники областей, судьи, послы в иноземные государства... Многие блага получили тысячники, но многое и требовалось от них: они должны были быть всегда готовы «на посылки» и обязывались нести государеву службу, не щадя живота.

Многие преобразования той поры вели к усилению центральной власти, и, однако, дело не было доведено до конца. Причиной тому – двойственность положения Избранной Рады.

Избранная Рада хотела бы усилить самодержавную власть и дать ей опору в лице сильного, сплоченного дворянства, обеспеченного землей, единственным занятием которого являлась бы служба государству. Но члены Избранной Рады в большинстве были крупные бояре, потомки удельных князей, подобно Курбскому. Довести реформу до конца – означало для них лишиться земли, подорвать собственное влияние и свою силу в государстве, опуститься до мелких вотчинников, на которых они смотрели с презрением.

Знатные члены Избранной Рады сумели это предотвратить и сохранили за крупными боярами громадные поместья. Так, еще в 70-х годах XVI века князь И. Ф. Мстиславский был полновластным владельцем укрепленного города Венева, где содержал собственное войско с пушками.

Узкие интересы ничтожной кучки высшего боярства помешали довершить важные мероприятия, способствовавшие усилению государства, правда за счет увеличения гнета, лежавшего на простом народе.

Централизация государства была проведена полностью позднее, в годы опричнины, когда Иван Васильевич взял правление в свои руки.

Глава XI

Хоромы Ордынцева

Москва после великого пожара строилась. По всем дорогам спешили в Москву крестьянские роспуски, а на них лежали обтесанные и перемеченные бревна: мужики везли в столицу готовые срубы.

На Руси каждый мужик был плотник: за большим искусством не гнались, а немудреную избу поставить мог всякий. И вот застучали топоры на сотни верст вокруг Москвы и заскрипели по проселкам обозы.

В несколько дней вырастали на месте сгоревших целые улицы. Хозяин вместе с приезжим мужиком ставил сруб обязательно на том же месте, где и прежде стояла изба; укрепляли стропила, накрывали кровлю кто тесом, а кто и соломой. Приходил запыхавшийся, косматый поп, наскоро бормотал молитвы, тыкал голик в чашу со «святой» водой, брызгал по углам, кропил склоненные головы хозяев. Это называлось: молебен с водосвятием; без этого обряда ни мужик, ни боярин не вселялись в новое жилье.

На старых пепелищах вновь расцветала жизнь.

У купцов и бояр так быстро дело не налаживалось – им требовались богатые хоромы. Но и на это находилось на Руси много мастеров. Прослышав о небывалом

пожаре, из разных областей стекались в Москву артели плотников и каменщиков; всем хватало работы.

Вновь многолюдны стали московские улицы; с утра до вечера шумел народ на торговых площадях; снова потянулись в Москву купцы с товарами из далеких стран...

Неистребимый город Москва, необычайна его жизненная сила, с чудесной быстротой залечивает он самые тяжкие свои раны.

* * *

Семья Ордынцевых оплакивала гибель Григория Филипповича. Но жизнь не стоит на месте: надо было восстанавливать двор, благо старик спас золото. Отцовское поместье приказ закрепил за Федором Ордынцевым.

От отца Федор Григорьевич перенял пристрастие ко всему псковскому; для постройки хором он решил выписать каменщиков из Псковщины. Молодой стольник решил послать за мастерами Тихона Верхового.

Тихон выразил большую радость, что выбор боярина пал на него, и усердно начал сборы. Но накануне дня отъезда он вывихнул ногу, споткнувшись о бревно. Мужик орал диким голосом, когда его несли в наспех построенную людскую, и никому не позволял притронуться к искалеченной ноге. Впрочем, когда в Псков послали другого, нога у Тихона зажила удивительно быстро.

Из Пскова пришла артель Герасима Щупа. Щуп постарел, острую его бородку пронизала частая седина, но был он суетлив и добродушен по-прежнему.

На дворе Ордынцева Щуп встретился с Тихоном Верховым, который распоряжался дворовыми, спесиво задирая рыжую бороду.

Земляки разговорились. Щуп расспрашивал о пожаре и мятеже. Тихон рассказывал весьма осторожно, умалчивая о своих «подвигах» по части грабежа. Но он случайно упомянул о встрече с Голованом, и зодчий сразу загорелся:

– Как, что ты говоришь! Голован в Москве? Да правда ли это?

– Говорю тебе, видел его в нищенских отрепьях, – лениво процедил Тихон, которому непонятна была радость Щупа.

Дворецкий кратко передал рассказ Голована о его скитаниях.

– Ах, бедняга! – взмахивал руками Щуп. – Вот горе-то его пристигло: шутка ли, такого наставника потерять!

В тот же день Герасим отправил на розыски Андрея трех своих работников, знавших Голована в лицо. Встретить парня посчастливилось Акиму Груздю, пожилому каменщику с морщинистым лицом и реденькой клочковатой бородкой.

Голован сердечно распрощался со скоморохами, крепко обнял их, благодарил за все добро, которое от них видел, обещал никогда не забывать Нечая и Жука.

Встреча с земляками была самая радостная. Каменщики обступили Андрея, хлопали его по плечу, удивлялись, как он вырос, как похорошел:

– Богатырь прямо!

– В батьку пошел!

– Исхудал только без каменной работы...

Голован прервал дружеские излияния вопросом об отце и матери.

– Живут, – ответил Щуп. – Когда, бишь, я Илью видал? Да недели за две до того, как уйти нам из Пскова. Батька твой привез на базар свое изделие, ну мы с ним и поговорили. Здоровьем он, конечно, сдал. Главное, об тебе горюет. Уж очень давно, говорит, весточки от сына не получал...

– Какие уж тут вести подашь, – смущенно сказал Голован, – коли сам еле-еле из беды выбрался!..

Он рассказал о зиме, проведенной в Москве с нищими, о том, как приютили его скоморохи.

– Теперь этому конец! – твердо воскликнул Щуп. – С нами будешь работать. Не дело такому мастеру на скоморошьей дуде дудеть!

Каменщики шумно изъявили одобрение словам Герасима.

– Да, – спохватился Голован, – а как Паисий? Жив?

– Что ему поделается, идолу гладкому! – сердито ответил Щуп. – Толще и здоровее прежнего. И все твоего батьку бранит за то, что не отдал тебя в монахи...

– Значит, по-прежнему мне пути на родину нет, – огорчился Андрей.

– Ничего, ты молодой, переживешь своего врага, – утешил парня Герасим.

Федор Григорьевич задумал поставить каменные хоромы в два жилья. Он потребовал, чтобы Щуп представил ему роспись, в которой, по обычаю, полагалось указать длину и ширину здания, расположение входов, размер дверей и окон.

Сговорившись между собой, зодчие сделали лучше. Голован нарисовал в красках, как будет выглядеть дом Ордынцева. Федор Григорьевич пришел в восторг.

Сознавая, сколь важна работа, проделанная Андреем, он щедро вознаграждал молодого мастера, купив ему одежду, приличную зодчему: кафтан и ферязь с золотым шитьем, сафьяновые сапоги на медных подковках, богатую меховую шапку, рубахи тончайшего полотна и красивую, расшитую опояску.

Голован низко поклонился стольнику и побежал в чулан переодеваться.

Когда он вышел, преобразившийся, высокий и стройный, с пышной шапкой темных непокорных волос, в богатом наряде, в красных сафьяновых сапогах, каменщики залюбовались им.

– Чисто боярич! – с восторгом пробормотал Аким Груздь.

А Щуп радостно воскликнул:

– Ну, теперь, Ильин, ты житель! Вот посмотрела бы на тебя матка твоя...

Голован загрустил, представив себе горе матери, не видевшей его столько лет.

* * *

Прошел год. Палаты стольнику Ордынцеву были выстроены: русские мастера работали на диво быстро и прочно.

Голован уговорил Федора Григорьевича поставить здание не в глубине двора, а лицом на улицу.

Величавые, высокие хоромы на глухом подклете, в два жилья, сложенные из красного кирпича, перепоясанные полосами из белого камня, с белыми же наличниками решетчатых окон, выглядели нарядно, торжественно: Андрей вспомнил наставления Булата и применил их к делу. Здание венчал шатровый верх с теремцами, со смотрильными башенками. Крыша была из листовой меди, ярко блиставшей на солнце.

Со двора верхнее жилье окружали крытые обходы с узорчатыми перилами тончайшего рисунка. Крытые высокие всходни – крыльца – вели к хоромам с трех сторон. За дверями открывались сени; вдоль верха сеней, под самым потолком, шли решетки из красиво выточенных кленовых балясин.

Из сеней посетитель попадал в горницы. Шашечные дубовые полы сверкали; стены были обиты дорогими сукнами с прикрепленными к ним квадратиками разноцветного стекла; высокие печи облицованы были изразцами, на изразцах – рисунки.

Вдоль стен в каждой горнице протягивались длинные лавки, покрытые коврами или цветными сукнами. Столы стояли дубовые, под снежно-белыми скатертями...

Богато, привольно зажил стольник Федор Григорьевич в новых хоромах. За год работы и на дворе поднялись все нужные хозяйственные постройки: людские избы, баня, прачечная, пекарня, квасоварня, конюшня, скотные дворы...

Ордынцев щедро расплатился с каменщиками. Узнав, что Голован остается работать в Москве, стольник разрешил ему поставить избу на своем обширном дворе. Артель на прощанье построила другу и земляку хорошенький пятистенный деревянный домик.

Каменщики ушли. Андрей отправил со Щупом письмо родителям и послал деньги, заработанные на ордынцевской стройке. Этого должно было хватить старикам на несколько лет.

Проводив друзей, Голован сидел один, в грустном раздумье. Когда-то удастся ему побывать в Выбутине? Увидит ли он Булата, своего старого наставника? Хорошо ли он сделал, послав отцу все деньги? Быть может, стоило оставить часть на выкуп Булата?

Но сердце говорило Андрею, что он поступил хорошо. Еще неизвестно, жив ли Булат, а старые отец с матерью, вскормившие и вспоившие его, бедствуют... А теперь – работать и работать и быстро скопить деньги на выкуп пленника! Теперь он смело может жить в Москве: есть у него надежный поручитель, – стольник Ордынцев, известный самому царю.

Размышления Голована были прерваны стуком отворяемой двери. Подняв голову, Андрей увидел Акима Груздя.

– Али что позабыли? – удивленно спросил зодчий.

Аким Груздь хитро улыбнулся, постучал указательным пальцем по кончику носа. Подмышкой он держал тощий узелок.

– Я сяду, Ильин, у меня к тебе дело.

– Говори, дядя Аким, слушаю!

– Бирюком ведь тебе придется в новой избе сидеть. Не заскучаешь?

– У меня дела много будет.

– Так! Оно, конечно, и постряпать, и постирать, и печь истопить. Парочку тебе надобно...

Андрей рассмеялся:

– Да ты не сватом ли ко мне пришел? Я жениться не собираюсь.

– Не собираешься? – Аким вздохнул с облегчением. – Ну, так я... я жить с тобой остаюсь, Ильин! – бухнул он и вытер пот с лица. – Вот и пожитки мои!

Он развернул старенькие портки и рубаху, углядел в стене деревянный гвоздь. Повесив пожитки, скрестил руки на груди и уселся поплотнее.

– Что это ты надумал, дядя Аким? А как же домой?

– Эх, какой у меня дом! Разве не знаешь, что бобыль я? Да и ты на чужой стороне сирота. А сойдутся два бобыля – вот и семья готова... Неужто выгонишь, Андрюша? – Голос каменщика звучал задушевно. – Тебе ли тратить время настряпню, на печку, на пустые бабьи дела! Коли у тебя такое соображение на зодческое художество, должен ты большие дела делать. А я тебе все обхлопочу, будь спокоен! Я, брат, шти сварю!..

Голос его пресекался, маленькие слезящиеся глаза смотрели на Голована с мольбой. Андрей растрогался, протянул Акиму руку:

– Коли так – живи! Будешь мне заместо отца...

Старый каменщик, хлопая Андрея по плечу, взволнованно бормотал:

– Ну вишь... ну как же... Один горюет, а двое воюют... Уж мы с тобой!..

Аким оказался преданным товарищем. Его хозяйственные заботы освободили Андрею много времени. Федор Григорьевич разнес по Москве весть, что у него во дворе живет знатный мастер-строитель, и у Голована сразу нашлось много работы.

* * *

В том же году, как Щуп с артелью ушел на родину, Головану довелось встретиться на улице лицом к лицу с Мурдышом. Тиун узнал бывшего князьего холопа. Он схватил Андрея за грудь и злобно-радостно прошипел:

– Попался, беглец!
– Я тебя не знаю! – спокойно ответил Голован.
– Не знаешь? Зато я тебя знаю! Ты Семейко Никаноров, извечный холоп нашего господина Артемия Оболенского!

– Не знаю, про кого ты говоришь, человече! – промолвил Голован сдерживаясь, чтобы не наброситься на Мурдыша с кулаками. – Коли хочется тебе сведать, кто я таков, иди к государеву стольнику Ордынцеву Федору Григорьевичу. От него узнаешь, что я московский зодчий Андрей Ильин...

Тут не вытерпел Аким Груздь, давно в нетерпении переминавшийся с ноги на ногу:

– Да что ты байки баешь с этим побродягой, Ильин? Отойди-ка, я с ним поговорю по-своему!

Тряся реденькой бороденкой, Груздь проворно засучил рукава.

Из толпы, которая уже собралась вокруг, слышались гневные голоса:

– Да что же это такое, хрестьяне? Боярские приспешники рады весь свет закабалить! Али мало их, собак, о прошлом годе учили?..

Яростные лица москвичей, сверкающие взоры так перепугали Мурдыша, что он рад был, когда выбрался из толпы, отделавшись парой здоровых тычков под ребра.

Глава XII

Пушечный двор

У московских придворных было в обычае собираться по утрам у царского дворца. Потолкавшись на площади часа полтора-два и вдоволь посплетничав, дворяне расходились, за исключением тех, кого выкликали царские спальники.

В один из июньских дней 1548 года Федора Ордынцева вызвали к царю. Стольник вошел в палату с душевным трепетом.

Восемнадцатилетний Иван сидел в кресле.

Царь был одет роскошно. Его голову покрывала черная бархатная скуфейка, расшитая крупным жемчугом. На царе была длинная, почти до пят, малиновая флязь с рукавами до полу, перехваченная кованым золотым поясом.

Холодные глаза царя смотрели спокойно и властно из-под черных, почти сросшихся бровей. Тонкий, с нервными, подвижными ноздрями нос сбоку походил на орлиный клюв. От углов тонких, плотно сжатых бескровных губ шли две глубокие складки.

Жесткое это было, недоброе лицо, и чувствовалось в нем сознание огромного могущества, недоверие и презрение к людям. Но вдруг царь улыбнулся, глядя на смущенную фигуру молодого стольника, и черты его лица смягчились, подобтели.

– Подойди поближе, Федор! – приказал царь. – Слушай мою речь, будет она о важных делах...

Федор подошел потупив голову.

– Знаю я тебя давно, – продолжал царь, – знаю и твое прилежание к книжному ученью. И, думается мне, понапрасну толчешься ты по утрам у моего дворца, на то много есть других охотников. Надо тебе настоящее дело дать, и дело такое я нашел. Наша неудача военная меня хотя и огорчила весьма, но отнюдь не отвратила от мысли исконную русскую землю, захваченную безбожными казанцами, под нашу высокую руку вернуть.

Иван углубился в воспоминания о своем первом неудачном походе на Казань. Воспоминания эти были тяжелы для его самолюбия...

Царь выехал во Владимир в декабре 1547 года. Вслед за ним отправилось войско, повезли пушки. Время для похода оказалось в высшей степени неблагоприятным. Зима стояла небывало теплая, шли дожди. Дороги раскисли,

обратились в болота. Переправлять орудия через реки приходилось с великим трудом. Только в январе 1548 года артиллерия прибыла во Владимир.

Ценой огромных усилий русское войско добралось до Нижнего Новгорода и там выжидало наступления холодов. Первые морозы вселили в царя и его полководцев надежду. Лед на Волге, казалось, укрепился. Войско двинулось в поход из Нижнего Новгорода в феврале. Но снова начались оттепели, лед сделался рыхлым; пушки проваливались, увлекая за собой лошадей и людей.

Три дня простоял Иван Васильевич на острове Роботка посреди вздувшейся реки. Поверх льда шла вода, скрывая многочисленные промоины. Казалось, сама природа преграждала русским путь к Казани.

Иван гневно проклинал судьбу. Но держать большое войско на пустынном острове было невозможно. Царь возвратился в Москву, отправив под Казань отряд под командованием воеводы Дмитрия Бельского и бывшего казанского хана Шиг-Алея, теперь вассального правителя касимовских татар.

Бельский и Шиг-Алей разбили рать хана Сафа-Гирея на подгородном Арском поле и прогнали ее в город, но ворваться в Казань не решились: неизвестно было, как посмотрит на это ногайский князь; сильная ногайская орда, ударив русским в спину, могла уничтожить московское воинство.

И русские и казанцы хорошо понимали, что неудачный поход Ивана IV – только один из эпизодов многолетней борьбы. Казанский хан Сафа-Гирей не хотел жить в мире с Москвой, немало походов совершил он на пограничные русские земли, докатывался даже до Муррома; разбитый, отступал вспять, но не унимался.

Теперь, когда малолетство Ивана кончилось, наступила пора покончить хотя бы с восточными последышами Золотой Орды.

... После долгой задумчивости царь заговорил снова:

– Для нового похода надо нам все отрасли воинские крепить, и первую же из них – пушечный наряд. Вот и надумал я, Федор, отдать под твое ведение Пушечный двор. Сидит там окольный Мусин-Пушкин. Недоволен я им: распустил людей, сам литейное дело не знает и учить не хочет – и стар, и ленив, и бестолков.

– Дозволь, государь, слово молвить, – робко заметил Ордынцев. – Завистники на меня подымутся: род мой незнатен, и заслуги за мной никакой нет...

– Насчет заслуг это ты мне предоставь знать, – обрезал Федора царь, и холодные глаза его загорелись гневом. – Будешь хорошо работать, направишь пушечное литье – вот тебе и заслуга, и за нее я тебя превозвышу. Хватит ставить на высокие должности родовитых бездельников, оттого и все наши неурядицы. Но смотри у меня, Федор, литье изучи досконально, сам до всего доходи, чтобы тебя работники за нос не водили, как Мусина-Пушкина!

– Работы я не боюсь, государь, – дрожащим голосом ответил Ордынцев. – Сколько у меня силы есть, всю положу на дело!

– А силы у тебя, Григорьевич, много! – уже мягче промолвил царь, любясь могучей фигурой молодого стольника. – Вон тебе плечи-то господь дал – косая сажень! Любую пушку на себе перенесешь!

– А и перенесу, коли понадобится! – весело ответил Федор.

* * *

Артиллерия – один из важнейших родов войск – появилась в Европе в начале XIV века. И уже во второй половине этого века пушки были на Руси. Летописцы рассказывают об «арматах» великого князя Дмитрия Донского, а он правил Москвой с 1359 по 1389 год.

Русские люди, искусные на всякое мастерство, быстро выучились пушечному делу: ковать и отливать пушки, стрелять из них. Русская артиллерийская техника не только не уступала западноевропейской, но зачастую превосходила ее: во время войн и осад московские пушкари стреляли дальше и метче, чем пушкари противника.

Пушечным делом заведовал оружничий – один из видных чинов дворцовой администрации. А производство артиллерии и всякого огнестрельного оружия сосредоточивалось на московском Пушечном дворе.

Пушечный двор, обнесенный частоколом, широко раскинулся по берегу Неглинки-реки. Рядом с ним располагались Кузнецкая и Оружейная слободы.

Москва снабжала города и пограничные острожки пушками и пищалями, а зелье – порох – они готовили сами. Производство черного, или дымного, пороха из серы, селитры и угля являлось делом несложным. Перед походом объявлялось, сколько зелья должен сдать в казну боярский, дворянский, поповский двор. «А кто отговаривается, что зелья добыть не может, к тем посылают ямчужных мастеров показать, как зелье варят».

...Федор Григорьевич, подъехав к воротам Пушечного двора, оставил лошадь на попечение привратника и прошел внутрь. Ему долго пришлось бродить по обширному двору, где были разбросаны литейные цехи, сарайчики для готовых пушек и ядер, поленницы дров, кучи угля, руды. Едкий дым носился в воздухе, щекоча нос и горло. Полуголые люди спускали по желобам расплавленный металл в ямы, где были установлены формы.

«Да, тут работать надо... – подумал стольник. – Порядок у них, как у нерадивой хозяйки в избе...»

На вопрос Ордынцева, где найти старшего мастера, его посылали то в одну, то в другую сторону. Наконец он заметил двоих, склонившихся над пушкой, положенной на деревянные козлы. Один, хорошо одетый, обмерял пушку аршином, заглядывал в жерло, заставляя второго повертывать ствол.

«Тут добыешь толку...» Ордынцев с любопытством наблюдал издали.

Мастер выпрямился, поднял трость:

– Какова у тебя пушка отлилась? Какова?

– Винюся, батюшка, прости! Бес попутал!

– Ты мне на беса не сваливай! – Трость заходила по спине виновного.

– Каюсь, недосмотрел...

– То-то! Перелить За угар да за дрова пеню внесешь: три алтына. И получишь за нерадение двадцать плетей.

Литейщик упал в ноги.

– Ба-а-атюшка! Сбавь по силе возможности!

– Ну? – грозно подтвердил свой приказ мастер и ушел.

Наказанный бросил вслед ему:

– Старый хрыч! Как громом ошарашил... – Поправил прожженный кожаный передник, сердито ткнул пушку ногой. – Чортова скотинка! Хозяина подвела...

Откуда-то вывернулся другой литейщик, тоже в кожаном фартуке, с таким же зеленовато-бледным лицом, усыпанным черными точками.

– Как это тебя, Гаврюха, угораздило?

Гаврюха погладил опаленную бородку:

– Сам не знаю! То ли меди не хватило?

– Вот и заработал!

– Ништо! У нашего брата спина дубленая!

К пушкарям подошел Ордынцев:

– Где мастер Мартын Туровец?

– Вон ходит, литцов проверяет. А ты кто же таков будешь?

– Меня царь поставил вашим главным начальником.

– Вона! К нам главные начальники сроду не заглядывали Али ты другого складу?

– Я другого складу и есть, – улыбнулся Федор Григорьевич и пошел к мастеру.

Мартын Туровец, родом с Украины, был одним из лучших знатоков пушечного дела. Литейщики боялись Туровца, но уважали за то, что без вины не наказывал, посулов и поминков из подчиненных не выколачивал, как другие мастера.

Старший мастер Туровец ходил с тонкой железной тростью: ею он наказывал виновных на месте преступления. Ребята выкрали трость. Туровец в тот же день приказал выковать новую – потолще. Стянули и эту. Мартын опять промолчал и обзавелся тростью еще более увесистой.

– Старика не перехитришь! – решили литцы и подбросили первую украденную трость.

Мартын ухмыльнулся, принял трость – тем дело и кончилось.

Федор Григорьевич подал Туровцу царский указ. Пока мастер читал, Ордынцев рассматривал его. Украинец был низкоросл, плотен; румяные щеки, живые серые глаза под кустистыми бровями. Щеки и подбородок мастер брил по украинскому обычаю, зато носил густые казацкие усы.

– Рад я, Федор Григорьевич, что убирают от нас Мусина-Пушкина. От него толку было, как вот от этой болванки! – Мастер ткнул ногой медную чушку. – И позволь ты мне, старику, сказать тебе прямое слово: коли ты сюда будешь заглядывать раз в год по обещанию, то и у тебя дело не пойдет.

– Я не затем сюда послан, чтобы только государево жалованье получать, – заверил мастера молодой стольник.

– Ну тогда – добро пожаловать! – широко улыбнулся Туровец.

Ордынцев горячо принялся за дело. Работа вдаль от грозного царского взгляда, вдаль от дворцовых хитростей и сплетен увлекала Федора Григорьевича. На свои силы и способности он надеялся, и не напрасно. Он с головой ушел в работу. В скромном кафтане и высоких кожаных сапогах он с утра до вечера ходил по Пушечному двору, беседовал с мастерами и рабочими, старательно изучал премудрости литейного дела.

Нередко можно было видеть, как Ордынцев тащил вместе с работниками тяжелую пушку.

– Вот это боярин так боярин! – восхищались литейщики. – Такой наладит дело по-настоящему!

Работники полюбили Ордынцева, хотя он был строг и с первых же дней потребовал навести порядок на Пушечном дворе. Но нельзя было обижаться за строгость на человека, который сам работал не покладая рук и совсем не считаясь со своим высоким положением.

Дома Ордынцев читал латинские книги по литейному делу, закупленные по его просьбе посольскими дьяками за границей. Результаты упорной работы сказались скоро.

После наблюдений над выплавкой меди из руды и долгих размышлений Федор Григорьевич завел разговор со старыми литейщиками.

– Худо, литцы, работаем!

– А что тебе у нас не показалось? – обиделся Гаврюха Корень.

– Грязно, руды много попусту изводим, угар большой.

– Не нами заведено – отцы и деды так поставили.

– Не все ж по дедовскому разумению жить, надо и своим разумом раскидывать.

Ордынцев сделал чертеж новой печи, посоветовался с Мартыном и другими мастерами. Для опыта переложили одну печь – вышло хорошо. Стали перекладывать и другие печи.

Деятельность Ордынцева на Пушечном дворе не укрылась от внимания Ивана Васильевича, и царь был доволен, что его любимец оправдал возлагавшиеся на него надежды.

* * *

Голован стал известным на Москве мастером. Не раз предлагали ему в артелях место старосты, но Андрей отказывался, подобно Никите Булату. Не связываясь с мелкими хозяйственными хлопотами, Голован мог руководить сразу двумя стройками, отдавая одной утреннее время, а другой – вечернее.

Голован и Аким Груздь жили очень скромно, большую часть своего заработка зодчий откладывал на выкуп наставника.

По вечерам в домик Андрея часто заглядывали старший дворецкий и тиун Ордынцева.

Тишка Верховой, напротив, старался встречаться с молодым мастером как можно реже. Судя по себе, он ожидал от Андрея всяких неприятностей, вроде доноса о воровских делах его, Тихона, во время московского мятежа.

«И угораздила его нелегкая поселиться на нашем дворе! – злобно думал Тишка. – Нешто поджечь? А какой прок? Еще попадешься... А он все равно новый дом поставит – что ему, строителю!..»

А у тиуна были две дочери на выданье, и он мечтал породниться с Голованом, завидным женихом. Тиун и старший дворецкий любили слушать рассказы Андрея о том, как он ходил по Руси с Никитой Булатом. Об одном лишь умалчивал Голован: как он попал в кабалу к князю Оболенскому и как оттуда сбежал. Андрей опасался недаром: если бы его признания дошли до Мурдыша, княжеский тиун обязательно поднял бы кляузное дело, и много пришлось бы Головану потратить сил и денег, чтобы оправдаться перед дьяками, жадными до взяток.

В один из вечеров зашел разговор о том, как славится Псков мастерами-строителями, и о том, что немало искусных псковских мастеров ходит по Руси.

– Ты, небось, Ильин, многих встречал, как по свету хаживал? – спросил дворецкий.

– Встречал я многих, – ответил Голован, – да вот дивное дело: земляка своего, Постника Яковлева, ни разу не довелось встретить. И скажи, как на грех всегда получалось. Из Твери мы ушли, а он туда через неделю явился с учителем своим Бармой (я о том спустя время сведал). В Ярославль подрядились церковь строить, а Барма с Постником за месяц до нас кончили крепостные башни переделывать. Прямо как неведомая сила нас разводит!.. А работу их я видел: хорошо работают Постник с Бармой! Вот у кого поучиться бы!

Голован не знал, что его желание поработать с Постником и Бармой исполнится через несколько лет.

* * *

В 1549 году у Андрея скопилось пятьдесят рублей; этого было достаточно для выкупа Булата.

Бедствия русских полонянников породили небезвыгодный промысел: выкупать рабов из казанской и крымской неволи. Люди, которые этим занимались, имели охранные грамоты от обеих сторон.

Собрав на Руси деньги у родни невольников, посредники являлись в Казань или Крым, уплачивали условленное и везли освобожденный «ясырь», на который уже не нападали татарские разбойники. За страх и за хлопоты посредники брали немалую мзду.

С одним из таких посредников – касимовским татаринцем Хусаином Бекташевым, часто наезжавшим на Москву, – свел знакомство Голован. Он просил Хусаина разузнать, у кого в плену Булат, какой за него просят выкуп.

К великому разочарованию Андрея, пронырливый татарин не мог разыскать след Булата.

– Не горюй, бачка! – утешал его татарин. – Может, не пропал, жив! У них есть такой человек: свой полон скрыл, не хотел продавать. Ему, может, он больше польза давал, может добрый слуга. А может, твой старик далеко продавал: Крым,

Кавказ, Туретчина. Тогда плохой дело! Не горюй, бачка, другой раз поехал, хорошо узнавал...

Но и новые поездки Бекташева не принесли утешительных известий: Булат был слишком надежно укрыт за высокими стенами Кулшерифова дворца.

Глава XIII

Музафар, сын Сеида

Сан первосвященника Казани переходил по наследству от отца к сыну. Духовными владыками казанских мусульман могли быть только члены знаменитого рода, происходившего от дочери Магомета – Фатимы, и ее мужа – Али.

– Ты – потомок самого великого пророка, ты будущий имам правоверных Казанского царства, – внушал Кулшериф старшему сыну, Музафару, когда тот был еще ребенком.

С юных лет Музафара усадили за изучение грамоты, хотя не забыты были и воинские забавы, приличные мужчине: верховая езда, умение владеть саблей, стрелять из лука и пищали.

Когда Музафару исполнилось шестнадцать лет, его отправили учиться в Стамбул, в духовную школу: так требовал вековой обычай, и за его соблюдением зорко следило высшее турецкое духовенство и сам султан.

Прошло несколько лет ученья. Юноше не часто приходилось кататься в лодке по чудесной бухте Золотой Рог или гулять в тенистых садах, окружавших город. По целым дням сидел он за изучением корана и многочисленных толкований к нему. Священная книга мусульман написана языком темным и непонятным, и за многие столетия комментаторы написали груды книг, где на всевозможные лады изъясняется каждая строка корана. Будущий первосвященник должен превосходить ученостью всех правоверных, и Музафару приходилось корпеть в душной келье над свитками древних пергаментов.

С еще большим рвением наставники Музафара раздували в душе юноши вражду к гяурам – московитам.

Ежедневно и ежечасно внушалось будущему сеиду Казани, что Москва – злейший противник всего магометанского мира, что ему, Музафару, предстоит почетная задача – вернуть то время, когда московские князья были покорными слугами татарских ханов. А в предвидении того времени, когда Музафар возглавит борьбу против Москвы, его обучали военному искусству.

На службе у султана были немецкие и французские инженеры – специалисты по строительству крепостей и ведению осадных работ. Их учеником стал Музафар.

По приказу султана, при обучении Музафара главное внимание обращалось на искусство защиты осажденной крепости: молодого татарина учили, как укреплять стены, как располагать на них орудия, как устраивать вылазки.

Музафар изучал историю Казанского ханства. Он узнал, что город Казань был основан в 1437 году изгнанным из Золотой Орды ханом Улу-Махметом и что уже к концу XV века Казань стала огромным городом, известным в отдаленнейших странах Европы и Азии.

Известно стало Музафару, что отношения между двумя соседними государствами – Москвой и Казанью – были запутаны и изменчивы.

Две партии боролись за власть в Казани в течение десятилетий. Одну возглавлял род Ахмата, последнего хана Золотой Орды. Во главе другой стояли приверженцы Гиреев, властителей Крыма. Между родом Ахматовым и родом Гиреевым шла жестокая наследственная вражда. Партия ахматовцев, ища союзника, стала за Русь и получила название московской, а гиреевцы при постоянной поддержке Турции и Крыма непримиримо враждовали с Москвой.

Стамбул воспитывал в будущем казанском сеиде ярого врага ахматовцев и Москвы.

Власть первосвященника над душами темных, фанатических мусульман огромна, и в лице Музафара турецкий султан рассчитывал приобрести надежного и умелого союзника в борьбе с Россией.

Когда воспитание Музафара было сочтено законченным, великий муфтий возвел его в звание муллы и выдал молодому татарину грамоту, где он именовался светилом мусульманской веры и чудом учености. Музафар получил приказ явиться перед отъездом к самому падишаху Солиману Великолепному.

Музафара вечером провели в опочивальню Солимана через потайной ход; ни один человек не встретился ему на пути, и только великий муфтий, главный наставник Музафара, находился в комнате во время приема.

Юноша упал ниц и поцеловал расшитую туфлю падишаха, которую тот подвинул к его губам небрежным движением.

– Встань, сын мой! – приказал Солиман, и на полном лице его появилась ласковая улыбка. – О твоём усердии в делах веры мне доносили, и я тобой доволен. Но будешь ли ты так же рьяно бороться с врагами нашей святой веры, с проклятыми гяурами – московитами?

– Клянусь тебе, повелитель! – пылко вскричал Музафар-мулла. – Все свои силы отдам великому делу ниспровержения Москвы!

– Если сдержишь обещание, будешь у нас в почете, а после смерти займешь почетнейшее место в райских садах Магомета. Через соглядатаев знаю я, что ненависть почтенного отца твоего Кулшерифа к гяурам в последние годы поостыла и он не очень горячо поддерживает хана Сафа-Гирея в борьбе с московитами... Или, быть может, он устарел и заботы этого света утомили Кулшерифа? Быть может, пора поставить на его место молодого первосвященника, сильного святой злобой против врагов пророка?.. Что ты на это скажешь, сын мой Музафар?..

Намек был слишком ясен, и Музафар его понял. Представилось ему ласковое лицо старика-отца, так любившего старшего сына, с такой грустью провожавшего его на чужбину... Но религиозный фанатизм быстро взял верх, и молодой мулла склонился перед султаном в смиренном поклоне:

– Как ты повелишь, милостивый падишах, так и будет!

Солиман повернулся к великому муфтию и коротко бросил:

– Вручи снадобье!

Муфтий протянул юноше флакон со светло-коричневой жидкостью:

– По три капли в день в кушанье или питье – и через неделю душа человека безболезненно отлетает в сады пророка...

Музафар-мулла взял яд дрожащей рукой.

– Но не торопись, сын мой! – предостерегающе поднял пухлую белую руку султан. – Кулшерифа любят в Казани, ему верит народ, и было бы опрометчиво лишить его возможности загладить вину передо мной, наместником пророка на земле и главой всех мусульман мира. Я посылаю с тобой к сеиду строгий указ и надеюсь, что не придется потерять слугу, который в прежнее время принес нам много пользы. Но если Кулшериф не одумается... – Лицо султана сделалось свирепым, и он решительно махнул рукой сверху вниз.

Юноша снова упал к ногам султана. Тот протянул ему перстень, где на драгоценном камне было вырезано несколько букв:

– Вот знак моей милости. Этой печатью ты будешь запечатывать свои тайные послания ко мне... Я отправлю с тобой две сотни отборных янычар-телохранителей: это мой подарок возлюбленному хану Сафа-Гирею, да продлит аллах дни его жизни. Скажи хану, что мое благоволение и моя помощь всегда с ним...

Когда великий муфтий вел Музафара обратно, он, оглядевшись, наклонился к уху юноши и шепнул:

– За то, что я тебе собираюсь сказать, мне грозит лютая казнь, но ты мой любимый ученик...

– Я не выдам тебя, святой отец!

Старик зашептал еще тише:

– За тобой тоже будут следить невидимые глаза, и если ты окажешься чересчур мягок, такие же капли будут подмешаны в твою пищу.

Холодная дрожь пробежала по спине Музафара.

Два пути вели из Стамбула в Казань. Один, сухопутный, проходил по южному и восточному побережью Черного моря, далее степями Предкавказья до Астрахани и вверх по Волге. Другой, более короткий, пролегал через Черное море и владения крымского хана.

Но была осень, море бушевало, и страшно казалось подвергать опасности драгоценную особу наследника первосвященнического престола Казани. Музафара-муллу отправили по сухопутью.

Под надежной охраной янычар в ноябре 1547 года Музафар возвратился на родину. За два перегона до Казани поскакали вперед гонцы, и будущему сеиду была устроена торжественная встреча.

Музафара отец поставил настоятелем самой большой казанской мечети, и молодой мулла рьяно принялся за выполнение обязанностей, налагаемых на него новым саном.

В первые месяцы после возвращения из Турции Музафар держался очень осторожно. Прежде всего он постарался завербовать побольше сторонников; в этом ему помогали не только ласковые слова и обещания, но и турецкое золото, которым щедро снабдил Музафара султан Солиман.

Управитель Кулшерифа – Джафар-мирза следил за всеми действиями своего господина и докладывал о них Музафару. Но оснований исполнить над первосвященником смертный приговор, вынесенный ему султаном, пока не находилось. Получив грозный указ Солимана и чувствуя опасность, Кулшериф проявлял крайнее рвение и в своих проповедях яростно разжигал вражду против москвитов.

Наслушавшись проповедей сеида, казанские байгуши седлали коней и ехали грабить Русь, сводя на нет усилия предводителей московской партии установить хорошие отношения с могучим соседом.

Через каждые три-четыре месяца Музафар-мулла тайно посылал гонца в Турцию с донесением к султану и получал от него ответы с выражением благоволения и крупные денежные средства для поддержки гиреевской партии.

Музафару очень хотелось узнать, кто же еще из казанцев состоит на тайной службе у султана; если бы это удалось, наследник сеида чувствовал бы себя в большей безопасности. Но турецкие агенты умели держаться в тени, и никого из них Музафар не смог раскрыть.

Так протекло около полутора лет; а затем политическое положение в Казани резко изменилось.

Глава XIV

Неожиданное событие

Уход за садом Кулшерифа не слишком утомлял Никиту Булата – у сеида было много садовников. Жить бы спокойно, но Булата грызла тоска по родине, по любимой работе.

Никита ежедневно виделся с Дуней. Годы придали выдумке Настасьи о ее родстве с Булатом полную достоверность. Все считали Никиту родным дедом Дуни.

Кончался четвертый год плена Никиты. Был то 1549 год, 927-й по мусульманскому счету.

В мартовский день, когда солнце сильно припекало и по грязным улицам журчали ручьи, к Кулшерифу примчался из ханского дворца всадник с двумя телохранителями.

Сопровождаемый Джафаром ханский советник вошел к Кулшерифу, прикоснулся рукой к поле его халата: уже и этим сеид оказал ему почет. Касаться колен казанского первосвященника могли только князья, и лишь один хан имел право лобызать его руку.

– Великий имам, я приношу тебе ужасную весть! Опора царства и меч мусульманской веры – наш хан умирает!

– Сафа-Гирей?.. Хан Сафа-Гирей, которого я вчера видел полным сил и жизни?..

Неожиданное известие потрясло Кулшерифа. На лице его проступили багровые пятна.

– Но что случилось, сын мой?

– Пресветлого хана погубило пристрастие к напиткам, запрещенным законом. Сегодняшней ночью он пировал с друзьями. Утром хан осушил еще несколько чаш, а потом ему захотелось умыться руки. У умывальницы он споткнулся и упал так несчастливо, что разбил голову и грудь... Костоправ Измаил-мирза утверждает, что Сафа-Гирею не дожить и до вечера.

– Сын мой, ты действительно принес страшную новость. Кто еще знает о ней?

– Святой имам, я боялся народного потрясения. При хане трое преданных слуг и спешно вызванный мною лекарь Измаил. Я приказал им не выходить из ханского покоя, не выпускать костоправа и говорить, что хан почивает. А сам поскакал к твоему святейшеству.

– Ты хорошо сделал, сын мой! Я соберу курултай, а ты поспедай во дворец, продолжай хранить тайну и жди моих распоряжений... А может быть, Сафа-Гирей оправится, на радость правоверным? – со слабой надеждой спросил Кулшериф.

– Невозможно, святой имам!

Кулшериф-мулла отпустил советника. Джафар уже держал кисточку и лист бумаги – писать имена тех, кого сеид вызовет на совет.

* * *

У Кулшерифа-муллы собрались знатнейшие сановники, в огромном большинстве гиреевцы, враги Москвы.

Пришли завзятые ненавистники русских Ислам и Кебяк и их неразлучный спутник – мурза Аликей. Явились уланы, князья. Пришел Камай-мурза, проведавший, что у Кулшерифа собирается знать. Джафар-мирза поморщился, узнав от слуг о его прибытии: Камай был из ахматовской партии. Но обычай не позволял выгнать незваного гостя. Собралось много и других эмиров и беков.

В уголке притаился звездочет Кудай-Берды. Он внимательно прислушивался к разговорам сходящихся вельмож, так как делал предсказания, применяясь к обстоятельствам.

Чтобы скрыть от любопытных причину неожиданного собрания, Джафар-мирза приказал дворецкому приготовить угощение. Гости рассаживались на коврах и подушках вокруг низких круглых столов, крестообразно поджимая ноги. Они засучивали рукава, чтобы удобнее брать кушанья.

Середину каждого стола занимало огромное блюдо с нежной жеребятиной. Каждый брал мясо руками. Сын сеида Музафар угощал избранных гостей, кладя им в рот лучшие куски своей рукой. Получивший угощение униженно благодарил, кланяясь сидевшему за отдельным столом Кулшерифу: его не должно было осквернять ничье прикосновение.

Как требовал обычай, хозяин пира Музафар-мулла извинялся перед гостями за скудость угощения:

– Покорно прошу, дорогие гости, простить нас за то, что мы осмеливаемся предлагать вашему утонченному вкусу такие простые, наспех приготовленные яства.

Гости, тоже по обычаю, восхваляли блюда в преувеличенных, цветистых выражениях:

– Если бы аллах дал нашим слабым ногам силу и резвость обойти все четыре стороны света, нигде бы наши глаза не порадовал вид столь вкусных, превосходно приготовленных блюд...

– Наши жеребята вскормлены старой соломой, их мясо жестко...

– Ты ошибаешься, дорогой Музафар-мулла: это мясо нежно, как самый свежий, сочный урюк, оно пахнет лепестками роз, которыми вы, очевидно, откармливали ваших жеребят...

Во время обмена любезностями блюда следовали за блюдами. Подавались цыплята, приправленные сладким луком; шашлык; похлебка с бараниной и пшеном; рис, сдобренный пряностями; жареные телячьи ножки, куропатки с соусом из сушеных слив; пирожки с творогом, напоминающие вареники; простокваша, салма, баклава, баурсаки с медом, халва... Слуги обносили гостей шербетом и кумысом, айраном. Хмельные напитки религия запрещала, и Кулшериф-мулла делал вид, что не замечает, как слуги подают гостям пиво, бузу, арак. А вышколенные рабы, поднося гостю чашу с бузой, улыбаясь, говорили:

– Прошу тебя, достопочтенный, принять из моих недостойных рук этот сосуд с кумысом, очень плохо приготовленным руками наших ленивых женщин.

Гость, с наслаждением выпив бузу, кричал и отвечал:

– Кумыс хорош! Видно, ваши кобылицы питаются благовонными травами, и руки ваших женщин могли бы взбивать пуховики для праведников, почивающих в райских садах...

Завершилась подача блюд великолепно приготовленным пилавом. Хотя пир у Кулшерифа и был уловкой, предназначенной замаскировать созыв курултая, но достоинство сеида требовало, чтобы он был ничуть не хуже обычных его роскошных пиров.

Во время обеда слух гостей услаждала музыка, доносившаяся из соседнего зала.

Когда гости насытились, дворецкий подал знак. Проворные рабы очистили столы от остатков обеда, поставили драгоценные вазы и блюда с урюком, кишмишом, фигами и удалились.

– Аллах велик!.. – начал Кулшериф среди настороженного молчания.

Гости понимали, что не для простого угощения созвали их во дворец первосвященника, и ждали разрешения загадки.

Музафар-мулла уже знал от Джафара мирзы о близкой смерти хана. Еще во время пира, угощая собравшуюся знать, Музафар с трудом сдерживал волнение, а теперь его нетерпение дошло до крайних пределов. Что скажет отец? Будет ли он призывать к продолжению борьбы против русских или заговорит о примирении с Москвой?

От этого зависело – жить или умереть Кулшерифу. Честолюбивые мечты о первосвященническом престоле, казалось таком близком и доступном, довели Музафара до готовности собственноручно влить яд в пищу отца. Но чтобы уничтожить сеида Казани, нужна была веская причина, иначе преступление могло обратиться против самого преступника. Музафар-мулла помнил предупреждение султана: пока Кулшериф против русских, его особа неприкосновенна.

Весь во власти противоречивых чувств, Музафар вздохнул почти с облегчением, когда сеид снова заговорил после долгого раздумья.

– Аллах велик! – повторил Кулшериф. – В своей неизреченной милости он посылает нам горе, он не хочет, чтобы мы среди роскоши и неги зажирили, как бараны, которых откармливают под нож мясника. Друзья и братья! Вы все знаете, как долго боролся с урусами славный Сафа-Гирей, да будет ему лучшее место в райских садах, потому что по земле нашему хану уж не ходить...

– Как? Что такое? Разве хан скончался? – слышались испуганные возгласы. – Говори скорее, святой имам!

– Звезда нашего счастья, пресветлый хан Сафа-Гирей лежит на смертном одре!

– Горе, горе! – возопили крашенные бороды. – Великое горе!

Сеид рассказал о несчастье, случившемся с ханом.

– Вы, знатнейшие сановники Казани, вы, избранники всевышнего, должны решить, кому править после кончины Сафа-Гирея. Нельзя допустить смуту: ею воспользуется Москва и вновь попытается наложить на нас руку...

– Нет, нет! – зашумели взволнованные голоса. – Не допустим московитов хозяйничать в Казани!

– Храбрый наш Сафа-Гирей, защита веры и гроза врагов, угасает, – снова возвысил голос сеид. – А сыну его, Утемыш-Гирей-хану, только два года от роду. Правда, мать его, царица Сумбека, наделена не женскими добродетелями – умом и храбростью, но не ей же стоять во главе войска, не ей бороться с урусами, которые так упорны, что, глядя на них, сам сары-сабур раскрошится...

– Много раз приходили к нам урусы – и уходили ни с чем, – отозвался мрачный князь Кебяк.

– Уходили, а свои города возводили на наших землях, – живо возразил представитель московской партии Камай-мурза. – Когда на Сахиб-Гирея урусы приходили – в 901 году то было, – до Казани не дошли, а город на нашей земле, на устье Суры-реки, поставили: Василь-городом назвали в честь своего князя Василия. Вы, правоверные, знаете, чего нам этот город стоит, как он нас стеснил...

– О-о, знаем, знаем! – слышались раздраженные голоса.

– Уходили, – продолжал Камай-мурза, – а свои заставы всё ближе к нам подвигали... Трудно с урусами бороться: они когда отступают, и то побеждают!

– А ты не пугай! – гневно воскликнул улан Коцак, высокий молодой мужчина с воинственной осанкой; крымский царевич Коцак оставил родину с намерением возвыситься среди смут, раздиравших Казань. – Не пугай! – с силой повторил он. – Или ты за Москву?

– Да, я за Москву, – бесстрашно согласился Камай. – Я хочу уберечь от несчастья и себя и вас. Покоримся Москве без войны: не будем без нужды губить наших людей!

Поднялся шум. Возражая Камаю, люди старались перекрычать друг друга. Выделился резкий, пронзительный голос Аликея, ярого противника Москвы:

– Царь Иван уже пробовал идти на нас, да ни с чем ушел!

Камай не смутился – он был смел и искусен в спорах:

– Что урусы ушли, этим хвалиться нечего. Зима какая, была? На Волге лед весь покрылся водой, урусы в полыньях пушки потопили, людей потопили, потому и не дошли до нас...

Рассудительный голос Камая-мурзы остался одиноким. Слышались насмешливые возгласы:

– Камай-мурза трус!

– Баба!

– Робкому баранья голова двойной кажется!

Сеид водворил тишину и обратился к звездочету:

– Что ты скажешь, достопочтенный? Ты, наверно, вопрошал звезды?

Кудай-Берды, польщенный всеобщим вниманием, важно погладил красную бороду:

– Звезды враждебны Москве! Звезды говорят, что если урусы сунутся под Казань, им придется убираться с позором!

В глубине души сеид стоял за примирение с Москвой, но он видел, что виднейшие вожди партии гиреевцев хотят продолжения борьбы. Однако важнее,

чем мнения собравшихся в его дворце вельмож, были для Кулшеряфа указы, получаемые им из Стамбула. Эти указы предписывали ему, сеиду, разжигать непримиримую вражду к Москве. И между строк указов, написанных в многословной и витиеватой восточной манере, Кулшериф читал угрозы. Он ведь и сам в юности учился в Стамбуле, он хорошо понимал, что значит воспротивиться приказаниям турецкого султана, тени аллаха на земле. Веревка, кинжал, яд – все пускали в ход исполнители повелений султана, когда они наказывали ослушников его воли...

Заканчивая курултай, сеид против своей совести предложил: ханом возгласить Утемыш-Гирея; царством править ханше Сумбеке и избранному совету во главе с уланом Кощак; Москве сопротивляться всеми силами.

Большинство собравшихся приняло эти решения с громкими возгласами одобрения.

Музафар-мулла был мрачен: он не знал, радоваться ли ему, что отец спасся от гибели, или горевать о том, что высокий сан первосвященника и на этот раз ускользнул от него.

Оказавшийся возле Музафара управитель Джафар-мирза, точно подслушав мысли юноши, шепнул с коварной насмешкой на безобразном, рябом лице:

– Не печалься, эфенди, твое от тебя не уйдет!

Музафар с изумлением посмотрел на горбуна, а тот исчез в толпе.

* * *

Утром следующего дня глашатаи объявили народу о кончине Сафа-Гирея.

Перед ханским дворцом собралась многотысячная толпа. После шума, ссор и драк верх взяли гиреевцы. Ханом был провозглашен младенец Утемыш, правительницей – Сумбека.

Сафа-Гирею устроили торжественные похороны.

* * *

Улан Кощак послал гонцов с письмом в Крым и к турецкому султану, просил совета и помощи. Письма попали в Москву: гонцов перехватили русские казаки. Смущенный Кощак и советники, желая оттянуть время и лучше подготовиться к борьбе, отправили Ивану Васильевичу мирную грамоту. Царь не поверил татарам: они легко давали обещания и не стеснялись нарушать их. Они и перед этим порвали договор с Москвой: не выбирать хана без царского согласия.

Московская рать выступила во второй поход против вероломной Казани 24 ноября 1549 шда.

Глава XV

Второй поход

У жен Кулшерифа появилась новая прислужница; звали ее Хатыча. Бойкая баба никого не боялась, по-русски говорила, как по-татарски.

Хатыча оказалась искусной сплетницей. На женской половине, где обитательницы изнывали от безделья, Хатыча чувствовала себя прекрасно: сплетничала, подслушивала, ссорила и мирила, получая подарки за услуги.

Старый Никита привлек особенное внимание любопытной Хатычи. Она пыталась подольститься к нему, но без успеха.

Тогда она принялась за Дуню. Хатыча сумела приворожить неопытную девушку. Выведала историю Булата, узнала, что он искусный зодчий, что не раз возводил в городах крепостные стены.

Простодушная девушка, думая сделать деду приятное, восхваляла его знания и способности. Хатыча изливалась в похвалах.

Открытие Хатычи имело неожиданные последствия.

С Никитой вдруг заговорил управитель, который до того не замечал старика.

– Здравствуй, уста! – начал он с коварной улыбкой на изуродованном оспой лице.

– Какой я уста! – возразил Булат.

– Э-э, теперь знаем! Скрывал, что ты уста-баши, большой мастер, строитель. Нехорошо делал, старик, очень нехорошо! Садовник сделался. Какой ты садовник, когда ты зодчий!

«Это проклятая Хатыча сведала у Дуни и меня выдала!» – подумал Никита. Вслух же сказал:

– Зачем мне говорить?

– Ты хитрый старик! – Косые глаза горбуна смотрели на Булата злобно. – Молчал – боялся, наверно, что заставим мечети строить? А вот не укрылся от нас, уста!

* * *

После смерти Сафа-Гирея Булат повеселел.

«Смута у басурман надвигается! – с надеждой думал он. – Может, перемена будет... Эх, кабы наши понагрянули!»

Но месяц проходил за месяцем и уж наступил новый, 1550 год, а русские пленники не видели облегчения своей доли.

– Что слышно? – шептались они в укромных уголках. – Сумбеку-ханшу не собираются столкнуть?

– Куда там! Главный теперь у них Коцак-улан, а он на русских зуб точит – у-у!..

Оторванный от родины, Никита Булат вел строгий счет дням, соблюдал праздники.

По исчислению Никиты был вторник сырной недели.

– Масленица у нас теперь на Руси, дочка, – рассказывал Булат прибежавшей к нему Дуне. – Эх, масленица, масленица, широкая масленица!.. По улицам катанье на лошадях... Парни с девками на санках с гор летят...

Его речь прервали глухие удары, донесшиеся издалека: один, другой, третий...

– Что это? – изумился Никита.

Сердце заколотилось так, что груди стало больно.

– Доченька, Дуня! Беги разузнай!

Взволнованная Дуня скрылась. Она вернулась через некоторое время бледная, с высоко вздымающейся грудью:

– Ой, дедушка! Наше войско под Казанью! Русские! Из пушечного наряда бьют по стенам, аж пыль летит...

Булат выпрямился, точно вырос:

– Наши! Наши! Долго ждал, а дождался!.. Чего ж ты, глупенькая, перепугалась? Это нам свобода пришла!

Дуня со страхом и робкой радостью смотрела на старика.

А пушки продолжали греметь, пробуждая в сердцах русских пленников надежду на избавление.

* * *

Сильна была Казань, и час ее падения не настал. Московская рать еще не привыкла брать крепости и не одолела грозных укреплений татарской столицы.

Приступ русских отбили. Обе стороны понесли громадные потери, но стены по-прежнему стояли высокие, прочные, и за ними скрывались десятки тысяч защитников. А тут и природа снова пришла на помощь казанцам. Наступила сильная оттепель, полил дождь, стали вскрываться реки. Опасаясь, что в случае вынужденного отступления придется потерять весь осадный наряд – пушки, царь Иван Васильевич, который и на этот раз сам вел войско, приказал уходить.

Осаждающие ушли от стен Казани 26 февраля 1550 года; всего две недели стояли они под городом.

Казанцы тысячами высыпали на стены, любуясь видом отступающего неприятеля. Мужчины и женщины насмешливо кривлялись, выкрикивали обидные ругательства.

Русские воины уходили не оборачиваясь. В их сердцах кипела ярость.

Отъехав так, что казанские стены чуть виднелись вдаль, царь Иван обернул к городу искаженное стыдом и гневом лицо.

– Ничего, еще посчитаемся! – прошептал он. – Придет солнце и к нам на двор... – Потом сурово обратился к воеводам, которые тесной кучкой следовали за ним: – По вашей милости терпим позор, бояре! Кабы не ваши споры да раздоры, кто из вас старше да чей род честнее, разве я выступил бы в поход зимой? Сколько месяцев пришлось вас мирить да уговаривать! Ну, бог даст, выведу я ваше проклятое чванство!..

Иван Васильевич сдержал слово в том же, 1550 году. Был издан указ о распределении воевод по полкам; этот указ в значительной мере поломал старые порядки.

Правда, с знатностью боярских родов все же приходилось считаться, трудно было сразу изменить многовековой обычай. Но по новому указу находилось место в рядах воевод и тем незнатным, кто прославил себя воинским искусством и умением водить полки. Воеводы всех полков подчинялись воеводе Большого полка, и уж тут не оставалось места родовым спорам. В каждом полку также был установлен строгий порядок служебного подчинения, власть воевод укрепилась, а вместе с тем улучшилась и дисциплина в войске.

Доселе нестройные, непривычные к порядку, рати начали превращаться в сильную армию.

В том же году Иван IV создал первое постоянное войско на Руси – стрелецкое, использовав опыт отрядов «пищальников».

Стрельцам полагалось служить в войске без срока, пока силы позволяли носить оружие. Жили они в слободах; утром и вечером производилась поверка, самовольно отлучавшихся строго наказывали. Стрелецкие слободы только тем отличались от солдатских казарм, что в них стрельцы жили с женами и детьми.

Во главе каждого стрелецкого полка, или «приказа», как их первоначально называли, стоял голова; мелкими подразделениями командовали сотники и пятидесятники.

Пешие стрельцы были вооружены пищальями и бердышами. Уменью владеть оружием они обучались постоянно под наблюдением голов, сотников и пятидесятников. За службу стрельцы получали значительное денежное жалованье. Для них была введена форма.

Начиная с этого времени и до Петра Великого, который уничтожил стрелецкое войско, стрельцы не только ходили в походы, но и были верной опорой самодержавной власти и орудием для подавления народных восстаний. Стрелецкое войско помогло Грозному покончить с самовластием бояр.

Реформы Ивана подняли боеспособность русской армии.

* * *

Тяжко переживали неудачу Москвы десятки тысяч русских пленников. Их хозяева присмирели было, просили у своих рабов заступничества. Теперь рабовладельцы мстили за пережитый страх, за волнение. Издевательства, зверские побои...

Снятие кратковременной осады города принесло неожиданную славу звездочету Кудая-Берды. Многие вспомнили, как год назад он предсказал, что звезды неблагоприятны Москве, что если урусы осмелятся появиться под стенами Казани, то уйдут с большим уроном.

– Нет предела знаниям мудрого звездочета! – кричала молва. – Он – кладезь премудрости! Он – источник света...

Звездочет не успевал принимать всех желающих посоветоваться с ним и узнать судьбу. Кудай-Берды разрешал и запрещал браки, предсказывал, выздоровеет или нет больной, будет ли удачна торговая сделка. Неудавшиеся предсказания он приписывал влиянию враждебных светил, удачные возвеличивали его славу.

На двор к звездочету приводили коней, ишаков, баранов, несли золото, серебро. Кудай-Берды раздулся от важности, стал надевать шесть дорогих разноцветных халатов – один поверх другого.

Глава XVI

Построение свияжской крепости

Казанцы радовались новой неудаче русских, но радость их была преждевременной. Проницательный Камай-мурза, сторонник Москвы, был прав, когда утверждал, что русские не теряют голову от поражений.

Иван Васильевич решил поставить укрепленный русский город в непосредственной близости от Казани. Место для построения такого города нашли легко: круглую крутую гору при впадении реки Свияги в Волгу.

Прошло больше года со времени второго казанского похода. Весной 1551 года застучали топоры русских дровосеков по берегам верхней Волги, в Угличском наместничестве. Валились леса – и строились срубы, звенья городских стен, надворотные башни.

С поразительной быстротой вырос новый город; заготовленные строения тут же разбирались, из перемеченных бревен вязали плоты, ставили на причалы у берега.

Плотники, стрельцы, пушкарки с арматами и гауфницами, с запасом ядер и зелья погрузились на плоты. Причалы отвязаны, и новый городок Свияжск медленно тронулся вниз по Волге...

24 мая русские строители под началом дьяка Ивана Григорьевича Выродкова и ратные люди, которыми предводили Данила Юрьев, брат царицы Анастасии Романовны, да воевода Булгаков, высадились на берег. Плотники и стрельцы принялись расчищать место для города.

Среди зодчих, составлявших план города и руководивших его построением, был и Андрей Голован: о его таланте Иван Выродков узнал от стольника Ордынцева и пригласил строить Свияжск. Голован согласился с радостью: ему было на руку все, что приближало его к месту пленения Булата.

Голован превосходил других зодчих быстротой соображения. Он поражал Выродкова легкостью, с какой схватывал указания ратных людей о том, как строить башни и где проделывать бойницы для пушек и пищалей. Андрей сам определял площадь обстрела, умело ставил башни так, чтобы перед ними не оставалось мертвых, необстреливаемых пространств.

– Тебя, Ильин, хоть воеводой ставь! – ласково шутил с зодчим Иван Григорьевич.

Свияжская гора оказалась больше, чем рассчитывали, и звеньев для городских стен не хватило. Это не смутило строителей: лесов много росло и здесь.

Меньше чем в месяц изрядный срубили город: тысяча двести сажен по кругу и семь ворот, защищенных крепкими башнями; башни возвышались и на всех углах крепости.

А внутри города воеводы, приказные, богатые гости воздвигали себе хоромы, а простые мужики нарубили курных избенок.

* * *

В Казанском ханстве, кроме татар, жили чувашаи, мордва, удмурты, марийцы. Завоеватели-татары захватили у покоренных народов лучшие земли. Земли похуже оставались во владении старшин, местных князьков, которые зачастую принимали ислам и переходили в ряды казанской знати.

Народные массы или закрепощались помещиками, или уходили в дебри, в непроходимые леса и овраги, которыми изобиловало Среднее Поволжье.

Татары свысока смотрели на завоеванные народности; не разбираясь в национальных особенностях покоренных, они всех их огулом называли черемисами. Русский летописец метко определил положение, которое занимали в Казани подневольные племена; он так сказал о них: «простые земские люди, черемиса, по русскому же чернь».

Действительно, чувашаи, марийцы, удмурты, мордва являлись самым низшим слоем населения в Казанском ханстве; это была угнетаемая и своими и казанскими феодалами чернь.

Через два дня после того, как был достроен город Свияжск и поставлены пушки на стенах новой крепости, окрестные чувашаи и мордва прислали к царским воеводам старшин и просили принять их в подданство русского царя.

Воеводы Данила Юрьев и Григорий Булгаков с большой радостью встретили чувашских послов, хотя из дипломатических соображений эту радость скрыли.

Среди всех завоеванных татарами народов Среднего Поволжья чувашаи стояли на первом месте как по численности, так и по более высокому уровню культуры. Чувашаи, населявшие «горную сторону», то есть возвышенный правый берег Волги, занимались по преимуществу земледелием и скотоводством. О храбрости чувашей, об их искусстве стрелять из лука знали и иностранные путешественники.

Силу Казанского ханства в значительной степени составляли подчиненные народы. С «горных людей», как часто называли жителей волжского правобережья, казанцы собирали большой денежный оброк, и это была главная доходная статья ханской казны. «Черемиса» поставляла Казани десятки тысяч храбрых воинов, опытных во владении оружием. Оторвать черемисов от Казани – означало подточить самые основы ее существования в чужом, завоеванном краю.

Задачу поставить чувашское войско на службу Москве взял на себя воевода Булгаков. Он отправился в объезд чувашского края – узнать, где и сколько можно набрать воинов и какое у них вооружение. В свою свиту Булгаков взял Голована. Андрей согласился поехать с радостью. Ему любопытно было посмотреть жизнь незнакомого народа, который давно уже жил в добрых отношениях с великим русским соседом, а теперь своей волей шел под его высокую руку.

В характере русского народа есть прекрасная черта – благожелательное и терпимое отношение к чужим нравам и обычаям, стремление жить в мире и дружбе с другими народами.

Эту черту прежде всего поняли и оценили чувашаи, а за ними и другие народы Среднего Поволжья.

Даже татарские вельможи, владельцы поместий на горной стороне, вынуждены были считаться с тем, что они оказались соседями русских. Одни из них бросали владения и бежали в Казань; другие, более дальновидные, старались установить хорошие отношения с Москвой. От воеводы Булгакова Голован узнал, что еще в сентябре 1546 года большая группа казанских князей, крупных помещиков Чувашии, покинула Казань и заявила о своем желании служить русскому царю.

7 декабря 1546 года придворный летописец записал: «прислала к великому князю бить челом горная черемиса, чтобы государь пожаловал, послал рать на Казань, а они со своими воеводами государю служить хотят...»

Булгаков со своей свитой объехал Чувашию. Сорок тысяч горных людей, пригодных к ратному делу, были разбиты на полки и поставлены под начало московских воевод.

Чтобы доказать свою преданность Москве, большие отряды чувашей и мордвы переправились на луговую сторону Волги. Завязалась сеча на подгородном Арском поле. Горные люди стояли крепко и отступили только тогда, когда по ним ударили пушки, вывезенные из города.

* * *

Точно гром грянул над головой казанцев, когда до них дошла неожиданная весть о новом городе.

Русская партия подняла голову. Камай-мурза неустанно набирал сторонников Москвы.

– Урусы у наших ворот! – говорил он, убеждая людей оставить мысль о сопротивлении царю Ивану. – Москва далеко, Васильгород – поближе, а Ивангород – совсем близко. Хромой старик утром из Ивангорода выйдет – вечером в Казань придет. Просить надо московского царя, чтобы посадил нам своего воеводу. Лучше станем жить! Я сказал, а ты другим передавай...

Москва неотступно теснила Казань. Если от Васильгорода, построенного в 1523 году, до столицы ханства было двести пятьдесят верст, то от Свияжска насчитывалось всего двадцать пять. Русь действительно стояла на расстоянии дневного перехода от ворот Казани.

* * *

Возведение Свияжской крепости сделало крайне тяжелым положение партии гиреевцев, еще мечтавших о борьбе с Русью.

Русские казаки захватили переправы на Волге, Каме, Вятке. Они не пропускали ратных людей ни в Казань, ни из Казани. Гиреевцам неоткуда было ждать подкреплений.

Мурза Камай и другие главари московской партии громко кричали, что пора сложить оружие и отдаться под власть русского царя. В стане гиреевцев начался разброд.

Правитель Казани, крымский царевич Кошак, решил на смелое предприятие: он задумал прорваться за помощью в Крым и Стамбул.

– Отпусти меня, царица! – просил он Сумбеку. – Я приведу сотню тысяч закаленных воинов. Турки и крымцы ударят на русских с юга, а мы – с востока. Мы сломим могущество Москвы!

Сумбека дала согласие. Звездочет Кудай-Берды предсказал благополучный исход дела.

С Кошачком отправились три сотни верных сторонников.

Только быстрота передвижения могла открыть гиреевцам дорогу в Крым. Беглецы оставили в Казани жен и детей и тронулись налегке.

Чтобы обмануть русских, Кошак избрал окольную дорогу и повел свой отряд на Каму. Там татары наткнулись на сильные отряды московских стрельцов и боярских детей. Кошак и его воины повернули к Вятке, достали лодки и поплыли вверх по реке. Они уже не думали о Крыме, им только хотелось скрыть след от вездесущих русских. Но и это не удалось.

Вятский воевода и русские казаки зорко оберегали рубежи Московского царства. Они как в невод взяли казанских беглецов. Сеча была жестокая, но непродолжительная. Только сорок шесть человек уцелели от разгрома: их перехватили живьем. В числе пленных оказался и сам царевич Кошак.

Так благодаря бдительности русских был разрушен замысел Кошачка, который в случае удачи мог привести к усилению казанской мощи.

Если бы Кощаку удалось прорваться к крымским Гиреям, то они, лютые враги Москвы, без сомнения послали бы свои орды на Русь: ведь могущество Крыма сразу ослабело бы после присоединения Казани к московским владениям.

Турецкий султан Солиман I Великолепный, гордо именовавший себя царем царей, князем князей, раздавателем корон, тенью бога на земле, повелителем Европы и Азии, тоже не преминул бы прийти на помощь угрожаемой Казани.

Но намечавшееся единство действий противника и на этот раз было сорвано русскими.

Уход Кощака и его сторонников настолько ослабил гиреевскую партию, что ахматовцы захватили власть. Кулшерифу приказано было явиться в Свияжскую крепость и принести покорность московским воеводам.

Камай знал, что Музафар ненавидит русских больше, чем отец его Кулшериф; не тайной было для ахматовцев и то, что сын сеида и его клеветы постоянно разжигают в народе вражду к Москве. Камай-мурза принудил Музафара отправиться в Свияжск вместе с отцом. Этот ловкий политический ход ахматовцев связал руки Музафару-мулле: он не мог выступать против отца, так как вместе с ним присягнул Москве.

В Москву отправилось посольство с челобитной грамотой:

«Царю, государю и великому князю Ивану Васильевичу всея Руси земля казанская, муллы и сеиды, шихи и шихзады, имамы, азии, князья и уланы, мирзы, дворные и задворные казаки, и чувашы, и черемисы, и мордва тебе, государю, челом бьют, чтобы ты, государь, пожаловал, гнев свой снял, а дал бы им царя Шиг-Алея на царство, а Утемыш-Гирея-царя с матерью взял бы, государь, к себе; а полону бы русскому волю дать. Так бы их государь пожаловал, и в том челом бьют».

Все это случилось летом 1551 года.

Глава XVII

Адашев в Свияжске

Веселым перезвоном колоколов и пушечными выстрелами встречал новый городок Свияжск царского посланца Алексея Адашева, ближнего советника государя Ивана Васильевича.

Летний день был лучезарен. Солнце рассыпалось золотыми блестками на волнующейся поверхности реки. Чайки-рыболовы с криками носились над Волгой.

Адашев в великолепной шубе и дорогой шапке сошел по сходням с нарядно убранного головного струга. Его встретили воеводы, купцы, толпа простого народа. Адашев быстрым взглядом окинул толпу встречающих:

– А где царь Шиг-Алей Алеярович?

Воевода Булгаков насмешливо улыбнулся:

– Сидит у меня в хоромине. Притворяется, будто ноги болят.

Адашев понял, что новый казанский хан Шиг-Алей не захотел унижить свое достоинство встречей московского посла недостаточно высокого сана. Затаив злобу, он пошел к городским воротам.

– Не прогневайся, господине, – подскочил к нему Юрий Булгаков, – без отписки к великому государю и к тебе сии ворота назвали...

– Как назвали? – нахмурился царский посол.

– Адашевскими, господине!

У Адашева досаду как рукой сняло, и он вошел в город с гордо поднятой головой.

Казанский хан Шиг-Алей ждал Адашева в горнице воеводского дома.

Природа наделила Шиг-Алея на редкость безобразной наружностью. Толстый, с жирным лицом, с редкими трепаными усиками на оттопыренной губе,

Шиг-Алей то и дело поворачивал к двери огромное торчащее ухо: не приближается ли московский посол.

Шиг-Алей удобно устроился на мягких подушках и думал, на каких условиях русские посадят его, хана, на дедовский престол. Думал и вспоминал прошлое. А вспомнить ему было что. Побывал он за свою долгую жизнь и на коне и под конем, дважды восходил на казанский престол и дважды бежал из Казани, спасая жизнь.

И вот теперь в третий раз лежит перед ним покорная Казань. Сладко будет мстить недругам!..

Вошел Алексей Адашев. Сопровождающие остались за дверью.

Хан сделал вид, что хочет привстать, и с болезненной гримасой плюхнулся обратно: протянул Адашеву жирную руку с пальцами, украшенными золотыми перстнями:

– Садись, боярин, гостем будешь!

– Еще не боярин! – улыбнулся польщенный Адашев.

Ловкий татарин предвосхитил его мечту. Самому близкому советнику царя Ивана не хватало только боярского сана, чтобы подняться над толпой ненавистных соперников; но этим саном царь упорно не желал наградить Адашева, несмотря на неоднократные намеки последнего.

– Будешь боярин, это я тебе говорю, царь. Садись на подушки.

– Необык я, Шиг-Алей Алеярович, на полу сидеть, – отговорился Адашев. – Я лучше на лавку.

– И я тогда на лавку, – кряхтя, поднялся Шиг-Алей. – Мне ниже тебя сидеть невместно: я Ахматова рода, я природный царь... Рассказывай, боярин, что есть, чего нет.

– Прислал меня великий государь к тебе, царь Шиг-Алей Алеярович, с милостью. Изволь встать: государевы указы негоже сидя выслушивать.

– Да вот ноги у меня... – сморщился татарин, но встал.

Адашев, строгий, торжественный, с осанкой, не допускающей даже тени ущерба государевой чести, развернул свиток, протянул Шиг-Алею. Тот поднес к толстым губам печать, подвешенную к царской грамоте, приготовился слушать.

– Жалует тебя, царь Шиг-Алей Алеярович, великий государь всея Руси Казанью-градом с Луговой и Арской стороной, а Горную сторону тебе, царю, не дает, ибо до челобитья вашего по доброй воле отошла она от Казани-града и приписана к Свияжскому городу. – Голос Адашева был сух и резок.

Шиг-Алей такого удара не ожидал: оказалось, что значительная часть его наследственного царства навсегда переходит к Москве. Он сердито уселся на лавку:

– Вон оно как!.. Над чем царствовать буду? Опять половину юрта урезали?.. Народ обидится, меня не впустит.

– Вольно вам было черемису теснить, – холодно возразил Адашев. – Думали, век она будет вам покоряться? Ну, не печалуйся: Казань – град немалый, кроме того арские чуваша под тобой останутся. А коли не согласен, другого хана сыщем.

Московские дипломаты прошли хорошую школу: умели держать себя.

Шиг-Алей перепугался:

– Ой, зачем другой хан, не надо другой хан! Я хан, я ваш старый друг!

– Все вы друзья до поры до времени, – улыбнулся Адашев, оглаживая курчавую бородку. – Да, вот еще: приказ тебе от государя Ивана Васильевича – первым долгом всех русских полонянников выпустить, чтобы ни один не оставался в ваших поганых лапах!

– Все сделаю, боярин! – пробормотал Шиг-Алей.

Глава XVIII

Война

В августе 1551 года Шиг-Алей вступил в Казань под охраной московских стрельцов. Город встретил хана настороженно. Казанцы не любили Шиг-Алея за корыстолюбие, за жестокость. Казань приуныла.

– Радуйтесь! – насмешливо говорили гиреевцы Камаю-мурзе. – Явился выпрошенный вами у Москвы хан, да продлит аллах его царствование на трижды сорок лет!

– Э, зачем так долго! – усмехался Камай-мурза – Нам не хана надо – нам надо московского наместника. Но от разговоров о халве во рту не станет сладко!..

* * *

Шестьдесят тысяч русских пленников вышли из Казани, но Булата среди них не было. Многие тысячи рабов еще остались в столице ханства, скрытые от глаз русских приставов и дьяков. У казанских богачей немало было тайников, где, прикованные цепями, томилась несчастные невольники.

Джафар-мирза не выпустил Булата на волю. Открыть его местопребывание не могли: ни татарская, ни русская власть не смела проникнуть на женскую половину.

Никита знал о выходе русского полона, но напрасно молил управителя об освобождении.

– Ты зодчий, а нам в Казани таких людей побольше надо. Не пойдешь домой. Станешь шуметь – в яму посадим.

Многие освобожденные москвичи вернулись домой; среди них был и оружейник Кондратий. Ему посчастливилось вырваться из цепких лап Курбана вскоре после того, как он избавил от его власти Никиту Булата.

Случилось это так. Соперники Курбана по торговле сумели раскрыть его тайну и донесли хану о скрытом богатстве оружейника. Курбана схватили, но даже под пытками он не выдал место, где было зарыто его золото.

После смерти Курбана все его имущество, в том числе и рабы, было отобрано в ханскую казну Пушкаря Самсона поставили на его прямое дело – к пушкам, а Кондратий, знающий мастер, попал в помощники к надсмотрщику оружейной палаты ханского дворца. Это спасло ему жизнь: ханский оружейник не наваливал на него столько работы, как жадный Курбан.

Андрей Голован разыскивал вернувшихся полоняников, расспрашивал о Булате. И ему посчастливилось встретить Кондратия.

Велика была радость Андрея, когда он узнал, что его старый наставник жив и попал во дворец казанского первосвященника. Кондратий по собственному опыту знал, что рабство во дворце намного легче, чем у мелкого ремесленника; он уверял молодого зодчего, что Булат доживет до освобождения, которое не за горами.

В душе Голована родилась надежда встретиться со своим старым учителем.

* * *

Музафар и другие турецкие агенты всё сильнее разжигали в народе ненависть к Шиг-Алею, обвиняли его в том, что, продавшись русским, изменник-хан хочет искоренить в Казани мусульманскую веру и всех татар силой обратить в православие.

Народные массы были глубоко равнодушны к борьбе правящих партий: казанским ремесленникам и земледельцам одинаково тяжело жилось как при Гиреях, так и при потомках Ахмата. Но религиозный фанатизм, раздуваемый в народе веками, был страшной силой, которой умело управлять мусульманское духовенство.

Положение Шиг-Алея сделалось весьма опасным.

Алексей Адашев снова поскакал в Казань – разобраться с делами на месте. Молодой придворный с радостью пускался в далекий путь, когда вопрос шел о защите русских интересов. Дело это требовало тонкого ума и твердого характера.

«Без Адашева не обойтись!» – и это возвышало искусного дипломата в глазах царя Ивана.

– Видишь, Шиг-Алей Алеярович, каковы твои казанцы, – начал Адашев осуществлять тонкое поручение, данное ему царем. – Не любят рода Ахматова. Убьют тебя либо выгонят, коли не укрепишь город русскими людьми...

– Эй-яй! – Шиг-Алей прищурил хитрые заплывшие глаза. – Плохое дело, Алексей: шибко на меня Казань сердита. За отобранную Горную сторону сердита. Отдадите Горную сторону назад – будет подо мной Казань крепка, не отдадите – бежать мне с ханства...

У Шиг-Алея был свой расчет. Заявляя себя верным сторонником Москвы и борясь за ее интересы, хан хотел выпросить у нее отпавшие от Казани области и увеличить свой наследственный юрт.

Но снова допустить усиление Казани – означало затянуть изнурительную борьбу, быть может на целые десятилетия. Это прекрасно понимал московский посол.

Адашев усмехнулся в ответ на требование хана:

– Беги, беги, Шиг-Алей Алеярович: Горная сторона все равно к тебе не воротится. Беги, только сначала сдай город нашим стрельцам.

– Того не можно, что просишь, боярин! Я мусульман, супротив своего юрта не встану...

Свести Шиг-Алея с ханства не удалось. Все же Адашев заставил хана принять для обороны от врагов отряд московских стрельцов.

* * *

Наступил 1552 год, последний год существования Казанского ханства.

Так тяжек был гнет Шиг-Алея, так невыносимы стали вымогательства и насилия ханских любимцев, что даже ахматовцы потеряли терпение и решили принять русского наместника; единственным условием подчинения они ставили неприкосновенность мусульманской веры.

Казанские послы приехали к царю Ивану с богатыми дарами и с челобитьем:

– Хан нас грабит и побивает без жалости... Пожалуй нас, великий государь, Алея от нас сведи, и мы тебе город сдадим. А только сеида нашего и мулл не тронь, мы хотим веровать по старине...

Убирать Шиг-Алея с ханства явился тот же неутомимый, незаменимый в казанских делах дипломат Адашев.

– Пусти московских людей в город, – объявил хану посол, – и проси у великого государя чего хочешь!

– Пустить московских людей в Казань не могу, – отвечал двуличный татарин. – Сам съеду в Свияжск, а там что хотите, то и делайте. Мне здесь не житье – каждую ночь в другом месте сплю, кольчугу не снимаю ни ночью, ни днем... Болячки натер с кулак величиной... Не так казанских людишек боюсь, как своих же телохранителей – султанских янычаров: изведут они меня... Съеду!

Выехал Шиг-Алей из Казани с хитростью, как всегда привык делать. 6 марта он объявил, что едет ловить рыбу на озерах и пировать на приволье. Посланцы Шиг-Алея ходили по домам и передавали ханские приглашения; гостей бесцеремонно забирали с собой.

Приглашенные заранее прощались с жизнью. Их жены выли, оплакивая мужей, и закапывали в землю драгоценности. Около сотни знатнейших людей вывез из города Шиг-Алей.

Был хороший весенний день.

Гости Шиг-Алея ехали мрачные, весеннее пробуждение природы не радовало их.

Вот и берег озера, еще покрытого бурым покوروبившимся льдом.

«Насмешка... – думали казанцы. – Какая рыба! Нас сейчас под лед спустят рыбу откармливать... Как ханские слуги злобно смотрят! Не прорвешься сквозь их строй...»

Величавый Ислам-князь, дрожа от страха и гнева, подъехал к Шиг-Алею:

– Не тяни дело! Убивать хочешь – бей! – Он подставил грудь.

– Зачем убивать? – усмехнулся хан, взъерошив редкие усы. – Это вы меня убивать хотели! С ногайцами пересылались, нового хана звали... Москве на меня жаловались, убрать просили... Вот я и съехал с ханства, а чтобы веселее было, и вас захватил!

– Предатель ты! – вскричал побагровевший от злости князь Ислам.

– Предатель! – подхватили угрюмый князь Кебяк и маленький Аликей-мурза.

– Мы разберем, кто предатель, а кто хороший человек, – невозмутимо отвечал Шиг-Алей, – кому в Казани жить, кому в Свияжске, а кому башку рубить... Н-но, ты! – ударил он нагайкой своего сильного гнедого коня. – Поехали в Свияжск! А сазан-судак пускай растет, нас ждет!

Свияжский воевода отправил в Казань гонцов:

– По челобитью вашему свел великий государь хана Шиг-Алея с казанского престола, и вы, начальные люди казанские, приезжайте в Свияжск великому государю на верность присягать.

– Согласны, – отвечали казанцы, – только пришлите к нам наших князей: мы им верим и в их руки отдадимся.

Два татарских князя отправились в Казань под охраной московских стрельцов.

Все было спокойно в городе. Русские полки готовились вступить в Казань, обозы подвозили съестное, пищали, порох...

Но массы темного казанского народа были обмануты сторонниками войны – гиреевцами.

Маленький Аликей, уму и хитрости которого беззаветно доверяли и мрачный силач Кебяк и тучный неразговорчивый Ислам, составил коварный план. План этот привел друзей в восторг.

Кебяк, Ислам и Аликей отпросились у воевод в город – попрощаться с семьями перед отъездом в Москву и отдать распоряжение по дому. С ними были их верные слуги – джигиты.

Ворвавшись в городские стены галопом, точно за ними гнались враги, Ислам, Кебяк и Аликей носились по улицам с дикими криками:

– Слушайте, люди! Пришел день гибели нашей святой веры! Едут русские попы обращать мечети в церкви, переkreщивать мусульман в православие! А кто не согласится, всех будут убивать – от малого до старого... Вооружайтесь, правоверные, не дадим перерезать себя, как баранов!

Чудовищная ложь была мгновенно подхвачена муллами. Десятки тысяч казанцев выбежали из домов, заполнили улицы и площади. Страшная весть распространялась, как степной пожар в сухой траве.

– Вероотступник Шиг-Алей идет с русскими попами! Вооружайтесь, правоверные! Лучше умереть в бою за свою веру, чем малодушно погибнуть под ножом палача!..

В головах казанцев долго копились тревожные слухи последних месяцев, сомнения, страхи, опасения. И слились в неудержимую лавину народного выступления, толчок которому дало коварное выступление Аликея и его друзей.

Толпы татар, вооружившись чем попало, бежали на стены. Городские ворота затворились. Русских, которые приводили жителей к покорности, схватили и отвели в зиндан; сопротивлявшихся побили насмерть.

Московские воеводы, подъехав к городским стенам, пробовали уговорить казанцев – их не слушали. Город кипел, как встревоженный улей.

Русские полки ушли в Свияжск. Казанцы послали к ногайским татарам послов:

– Пришлите нам царя!
Война!..

Часть третья Великий поход

Глава I Боярская дума

Веселый перезвон гудел-разливался над Москвой. Тяжко бухал большой колокол на звоннице Архангельского собора, заливчато сыпали малиновую россыпь колокола у Ивана Предтечи, частый серебряный перебор вызванивал звонарь у Успенья, и, перекликаясь друг с другом, буйно-радостно пели тысячи больших и малых колоколов над праздничной, нарядной Москвой.

Тесная площадь между Успенским и Архангельским собором была запружена народом. Люди стояли вплотную, плечом к плечу, и неотступно смотрели на царский дворец, на Красное крыльцо, где открывался ход в палаты.

Десятки тысяч людей пришли на Соборную кремлевскую площадь. Они собрались спозаранку, прослышав, что Боярская дума будет решать о том, воевать или не воевать с мятежной Казанью.

Боярская дума в течение нескольких веков была высшим совещательным органом при московских властителях. В ее состав входили бояре и князья из наиболее знатных фамилий. Кроме них, в Думу, по особому «государеву пожалованью», входили бояре и дворяне, известные способностями и умом. Участвовали в работе Думы также и дьяки казны – центральной государственной канцелярии того времени.

Московские государи не часто собирали Думу в полном составе и предпочитали советоваться с немногими избранными членами, составлявшими Ближнюю думу. Но в этот день царь созвал Думу полностью: отношения с Казанью были важнейшим жизненным вопросом для русского государства.

В толпе, собравшейся перед дворцом, виднелись купцы в добротных суконных кафтанах, дети боярские в разноцветных однорядках, попы и дьяки в длинных черных рясах. Но преобладали здесь черные люди – простонародье. Отдельными кучками среди многотысячного людского скопища стояли дюжие кузнецы в прожженных кожаных фартуках, с лицами, почерневшими от дыма горнов; ткачи, бледные от вечного сиденья за станами в душных избах; румяные, здоровые огородники; серебряники, кожевники, сапожники и прочий московский ремесленный люд.

Пронырливый Тишка Верховой, поднявшись задолго до света, удобно устроился невдалеке от Красного крыльца, и хотя царские слуги его потеснили, ему было видно всю площадь.

Ордынцев вышел из дому не рано, и ему пришлось протискиваться сквозь толпу, чтобы попасть на такое место, с которого хоть что-нибудь можно было рассмотреть. Раздвигая толпу мощными плечами и возвышаясь над ней на целую голову, Федор Григорьевич неуклонно продвигался под шум и ропот потревоженных. Стольник обрадовался, увидев среди зрителей Голована:

– Андрей? А ну, помоги, вдвоем скорей пробьемся!

Голован был высокий и ладный парень, но куда ему было тягаться силой с богатырем Ордынцевым! И все же вдвоем они составили такую пару, против

которой не могли устоять самые крепкие и упорные мужики. Иной даже начинал ругаться, однако, взглянув на веселые лица Ордынцева и Голована, пролагавших себе путь решительно, но беззлобно, смирился и давал молодцам дорогу.

Толпу потешали песнями и присказками веселые скоморохи. Голован радостно встрепенулся: среди разногласного гомона ему слышалась бойкая скороговорка Нечая.

«Ошибся я или неужто там в самом деле Нечай?»

Голован, рьяно работая локтями, полез в ту сторону напролом; он не видел друга целых пять лет, со времени московского восстания.

Слух не обманул Голована: приплясывая и притопывая, развеселый Нечай пел песню, высмеивавшую многодумных бояр, не печалющихся о народном горе. Жук, как всегда угрюмый и сосредоточенный, подыгрывал Нечая на дуде.

Встретились восторженно. Голован спросил вполголоса, хотя среди мощного гула толпы это была излишняя предосторожность:

– Как это вы, други, напустились в Москву явиться? Не боитесь в Разбойный приказ попасть?

– Бог не выдаст, свинья не съест, – ухмыльнулся Нечай. – Ходит слух, что кто в ополчение на татар пойдет, тому старые грехи простятся.

Пока Нечай коротко рассказывал Головану о том, где бывал и что видел за пять лет, в толпе началось движение: сквозь ее плотную массу протискивались члены Думы – дородные бояре в длинных шубах, в высоких меховых шапках.

Вслед боярам неслись возгласы:

– Порадейте, бояре, за русскую землю!

– Порешите с басурманским засильем!

– Пусть только кликнут клич – весь народ на татар подыметесь!..

Хмурые бояре пробирались сквозь людскую массу безмолвно, возмущенные тем, что им, царевым советникам, указывают черные людишки, как вести себя в Думе.

Вот прошел последний, запоздалый боярин, и толпа снова замерла в нетерпеливом ожидании: хоть до вечера будут стоять люди, лишь бы своими ушами услышать, что порешит думское сиденье...

Истово поднявшись на Красное крыльцо и пройдя через Среднюю палату, бояре входили в Столовую избу, где собиралась Дума.

Царь Иван – длинный, но еще с юношески узкими плечами, с румянцем на худом горбоносом лице – нетерпеливо оглядывал собиравшихся советников. Они входили чинно, по уставу, кланялись царю, касаясь рукой пола, рассаживались по лавкам, покрытым персидскими и индийскими коврами.

Явился брат царя, Юрий Васильевич, не по годам полный, с глуповатой улыбкой на одутловатом лице.

Митрополита московского Макария усадили на почетное место – в кресло, обитое парчой, пронизанной золотыми нитями. Макарий задумался, уронив седую голову. На груди митрополита сиял золотой крест, в руке – резной посох с набалдашником слоновой кости.

Чуть пониже Макария поместился скромно одетый благовещенский поп Сильвестр. Его пламенные черные глаза пытливо всматривались в лица бояр: как они поведут себя, не станут ли пугать царя трудностями предприятия, которое всецело одобряла Избранная Рада...

Бояре, одетые в длинные шубы и высокие меховые шапки, сидели, сонно кивая бородами – седыми, рыжими, черными. Иные старались преданно поймать царский взгляд, а что на душе у них – кто знает!..

У ног Ивана свернулся клубочком на полу шут – разноглазый мужик с длинным туловищем и короткими кривыми ногами.

– Не в пору, Васильевич, Думу затеял, – пискнул шут. – Надоть бежать в бабки играть, а ты тут с боярами...

Иван ткнул шута в бок носком желтого сафьянового сапога:

– Ври, дурак, да не забывайся!

Солнечные лучи, проникая сквозь цветные стекла оконных решеток, рассыпались игривыми зайчиками. Один озорной лучик, красный, плескался на шашечном полу возле шута, а тот ловил его колпаком и осторожно совал под колпак руку.

Царь повернулся, и нестерпимо ярко заискрились алмазные пуговицы лимонно-желтого парчового кафтана. Иван Васильевич невольно улыбнулся, глядя на проделки шута. Улыбка стерла привычное выражение царского достоинства, разгладила складки у губ, и стало видно, как государь еще молод...

Иван повернул голову к веселому, румяному Алексею Адашеву, стоявшему за троном:

– Почнем, что ли, Федорович?

– Время, государь! Все в сборе.

Услыхав, что царь собирается открывать заседание Думы, шут незаметно юркнул из палаты: не пристало ему, темному мужику, слушать, как знатнейшие люди государства будут решать важные дела.

Царь обвел острым взглядом притихшее собрание.

– Бояре, советники мои излюбленные! – начал Иван. – Ведомо вам, какая измена учинилась против нашего дела в Казани. Наглые Кебяк-князь с товарищами присягу порушили, наших людей похватали и побили, город закрыли. Ужели стерпим измышательства мусульманские?..

Все долго молчали. Первым заговорил митрополит:

– Шел я к тебе, государь, и зрел на площади несметное сборище народное. Не из праздного любопытства сошлись перед твоим дворцом люди московские: велика их ревность услышать справедливый приговор помазанника божия и его мудрых советников – навеки укротить нечестивую Казань!

– Не ихнее это дело в государские дела мешаться! – злобно прогудел боярин Федор Шуйский. – Дай им волю – они тебе и на шею сядут! Чай, всем нам памятен пятьдесят пятый год!

Удар был нанесен метко. Лицо царя побагровело от неприятного воспоминания, а бояре сердито заворочались на лавках. Но митрополит возразил примирительно:

– Господь велел прощать вины грешникам даже до семижды семидесяти раз! И в сегодняшнем собрании зла не вижу, с похвальным чувством пришли люди: хотят пролить кровь за правое дело, за благоденствие русской земли... Всем ведомо – и тебе, государь, и вам, бояре: не мы, zde сидящие, малочисленные и телесным составом слабые, поднимемся с оружием на грозного врага, а те простые духом, но мощные телом, кои во множестве стоят у дворца и с верою ждут нашего решения...

Макарий смолк.

Веселый колокольный перезвон докатился в палату, отгоняя докучные заботы, пробуждая в боярах приятные и слегка печальные воспоминания о днях детства, когда под такой же переливный звон пасхальных колоколов играли они на изумрудно-зеленой траве.

Андрей Курбский, боярин Дмитрий Пронский и еще двое-трое других в кратких речах поддержали Макария. Большинство советников молчало, отводя глаза от властного, угрюмого взора попа Сильвестра.

– Бояре, и ты, пресвятой владыко! – снова заговорил царь. – Предки наши, князья московские, много сделали, чтобы скинуть ненавистное иго с русской земли. Дмитрий Донской и дед мой Иван Васильевич потрудились, да не довершили дело. Нам его доканчивать!.. Мечты мои велики... – Царь Иван понизил голос, как будто

смущаясь. – Но из-за проклятой Казани сижу словно орел со связанными крыльями... Как государство возвысить, как все княжества русские и земли под свою державную руку взять? Хотел бы по своей воле распоряжаться воинской силой – а не могу! Всякий час, всякое время надо быть настороже. Задумаю ли послать полки на юг, на запад – сокрушить назревающую измену, а злобные казанцы уж набегают на Русь: у них повсюду глаза и уши... Скован я, как узник в железной клетке!

Царь помолчал, собираясь с мыслями.

– Было время, – с силой продолжал он, – московские князья держали татарским ханам стремя, руку целовали нечестивым врагам. Прошло то время! Ныне сам я царь, и должна Русь вспомнить иное: походы Олеговы, великие битвы Святослава! Сильна наша держава, и приспел час порвать последние цепи!.. Возьмем под свою власть вероломную Казань, неизменную рушительницу договоров, и откроются нам неизмеримые пути на восход солнца. Там, за Каменным поясом, живут народы дивии, воинскому искусству не обученные. Тяготееют те народы к нам, хотят приклониться под нашу сильную руку, и в том не раз послов к нам засылали. Но тех послов Казань, словно сказочный Змей Горыныч, перехватывает, не дает пути в Москву... Торг весь за себя забрали казанцы: с персидцами, с бухарцами, с индийской землей, с Катаем. Сколько они барышу берут на индийских товарах, на персидских коврах, на кавказском оружии, на китайской бумаге!.. Эти барыши и нашей царской казне, нашим гостям, нашим боярам-дворянам сгодились бы!

Бояре заулыбались, одобрительно закивали бородами: такой разговор был им по душе.

– Нет сейчас у русских людей врагов хуже и лютее казанцев, и надобно с ними покончить! Сколько трудов потратила на них Русь! Походы, войны, осады... Жертвы бесчисленные – все по-пустому! Аки вампир кровавый, высасывает из нас Казань кровь и силы... Давно ли я, Иван, царствую – и уже третий поход приходится затевать... третий поход за четыре года!.. Велик нам подвиг предстоит, бояре, и коли справимся, процветет русское государство и пойдет в богатырский рост. С востока переведем взоры на запад – к исконным вотчинам, что отхватили у нас жадные немцы и свей. То вижу внутренними очами, в том готов страшную клятву дать!..

Царь закончил с необыкновенной силой убеждения. Он замолчал, и горящие глаза его впивались в лица советников: ясна ли для них великая важность того, что им замыслено?

Большинство членов Думы поняли необходимость последнего, решающего похода, а несогласные не решились выразить сомнения.

Раздались громкие возгласы:

– Кончим дело!

– Не попятимся, государь!

– Святую истину сказал ты, Иван Васильевич!

– Хватит татарам озоровать!

– Наши люди, на мухамеданов работая, всю силушку повымотали!..

Царь поднял руку, призывая к молчанию:

– Согласье принимаю. Токмо глядите, бояре, пускай неліцемерно будет ваше слово: великие трудности предстоят!

– Не покривим душой, государь!

– Пускай же весь свет знает, что Москва за правду постоит до последнего! –

Царь встал с трона, выпрямился.

По чину думного сиденья поднялись и бояре.

– Кто поведет рать в поход? – приложив губы к уху Ивана, спросил Алексей Адашев.

– Кто? – удивился царь, тряхнув подстриженными в скобку волосами. – Я и поведу.

Этот быстрый обмен словами не ускользнул от слуха советников. Намерение царя вызвало смущение. Бояре полагали, что государь не захочет снова подвергнуть себя опасностям и тяготам бранной жизни.

Иван обвел глазами членов Думы. Только Макарий, Сильвестр, Курбский, Адашев и еще два-три боярина из молодых смотрели сочувственно, в глазах остальных он читал несогласие.

Князь Никита Ростовский сказал:

– Не прими за обиду и поношение, государь: лучше б тебе на Москве остаться! А вдруг, как и прежде бывало, крымчаки с казанцами сговорятся, и когда ты войско на Казань поведешь, крымская орда на Москву нагрянет? Кто же тогда, окромя тебя, стольный город защитит? А на Казань рать вести – мы твои слуги. Кому укажешь – тот и воевода.

Царь задумался. Довод Ростовского был серьезен: опасно оставлять Москву на попечение бояр. Но еще опаснее посылать рать на Казань с одними воеводами, которые без царского глаза обязательно перессорятся и погубят дело.

Ведь случилось же в правление отца его, Василия Ивановича: князья Иван Бельский и Михайло Глинский, оба знаменитого рода, после успешных боев с противником подошли к Казани. Городские ворота были открыты, и казанские воины разбежались. Но Бельский и Глинский проспорили три часа, кому из них первому войти в город, и потеряли удобный случай взять Казань. Да и прошлый поход оттянулся на месяцы из-за воеводских раздоров...

После обсуждения решили: войска в поход поведет царь, а Москву, если случится надобность, станут защищать воеводы.

– Нынче в поход! – воскликнул царь. – В безмятежном житии не суждено нам проводить время. И пусть будет что будет!

Думный дьяк записал: «Государь указал, и бояре приговорили идти походом на непокорную Казань».

Сам царь вышел на Красное крыльцо объявить народу решение Думы; за ним показались митрополит и бояре. Иван Васильевич оглядел площадь. Море людских голов зашевелилось. Многие поднимались на цыпочках, чтобы увидеть государя; другие крестились на царя, как на икону; третьи высоко подбрасывали шапки, пугая ворон, примостившихся на крестах церквей.

Буря приветственных возгласов встретила слова царя о том, что поход на Казань решен.

Снова полетели в воздух шапки, люди обнимались и целовались с радостными слезами; ни у кого не было сомнения в том, что дело кончится удачей, раз пришла в движение великая народная сила.

Веселый перезвон колоколов плыл над Москвой...

Глава II

Едигер, хан Казанский

Казань готовилась к войне.

Власть в мятежном городе принял твердой рукой Едигер – царевич из рода Гиреев.

Астраханский царевич Едигер-Магмет давно жил у ногайцев, прикидываясь доброжелателем Москвы, но зорко следил за событиями. Когда в Казани вспыхнуло неожиданное восстание, гиреевцы призвали Едигера, испытанного воина:

– Иди к нам в цари! На тебя вся надежда!

Едигер согласился.

Когда было объявлено, что Едигер приближается к городу, толпы казанцев высыпали на подгородное Арское поле – встречать нового хана. Впереди ехали

муллы во главе с Музафаром. Сын сеида бодро и прямо сидел на вороном жеребце арабской крови. Рядом везли зеленое знамя, святыню мусульман.

Из-за леса показался небольшой отряд всадников, и во главе его – Едигер, молодой, черноусый, крепкий духом и телом. Радостный рев толпы и выстрелы пищалей разнеслись по полям. Сизоватые облачка порохового дыма поплыли над толпами народа...

Опытный в ратном деле, новый хан понимал, что Иван IV придет под Казань с немалой силой и надо противопоставить ему крепкую защиту. Едигер призвал под знамена многие тысячи задворных казаков со всех улусов. Мирзы – мелкие помещики – тоже явились со своими людьми, вооружив их. Племена, еще не сбросившие иго казанских ханов: мордва, арские чуваша, марийцы, – обязывались выставить сильные отряды.

Тех, кто не способен был владеть оружием, согнали под стены Казани и заставили копать глубокие рвы, рубить лес, строить укрепления.

Казанские ханы не доверяли угнетенным народам, и не без причины: князьки отдельных мелких племен и родов только и ждали случая перейти в русское подданство, как сделали жители Горной стороны.

Чтобы удержать в повиновении насильственно схваченных людей, Едигер приказал взять их семьи и привести в Казань. За верность главы семьи отвечали жизнью его жена и дети.

Лихорадочная деятельность охватила город; муллы поддерживали среди обитателей религиозный фанатизм, слабым и колеблющимся угрожали не только загробными муками, но и скорым возмездием на земле.

В огромных количествах заготавливалось оружие: оружейники делали пищали, не гонясь за отделкой; пороховщики готовили зелье; лучные мастера гнули луки, выстрагивали бесчисленное количество стрел. Скупщики оружия требовали от поставщиков такое количество кинжалов и наконечников для стрел и копий, что мастера спали по два-три часа в сутки.

Едигер принимал все меры, чтобы собрать побольше войска. Он хотел заручиться поддержкой ногайских князей, которые могли выставить в поле сто пятьдесят – двести тысяч вооруженных воинов.

С такой большой силой приходилось серьезно считаться: в многолетней борьбе Москвы и Казани весьма важно было, чью сторону примут ногайцы. Царские послы годами жили у ногайцев, искусно удерживая их от выступления против Москвы.

Но и другая сторона не дремала. Турецкий султан Солиман I Великолепный, узнав о казанских событиях, спешно прислал посла к ногайскому князю Измаилу. Он уговаривал Измаила пойти против русских вместе с казанцами, приказывал оказать помощь Азову, которому угрожала Москва. За это сулил сделать Измаила ханом азовским. Но Измаил не решился на открытое выступление: Солимана он боялся, но московский царь был более грозным противником. Зато Измаил позволил стать под знамена Едигера желающим помериться силами с москвитями. Таких набралось больше десяти тысяч; их повел ногайский князь Улубей. Едигер приветствовал такое значительное подкрепление.

* * *

С приходом Едигера к власти Музафар-мулла сильно возвысился. Новый хан предпочитал советоваться о делах не с Кулшерифом, сильно одряхлевшим за последний год и мало выступавшим перед народом, а с энергичным Музафаром, который, казалось, не знал усталости. Музафар-мулла то произносил горячие проповеди в мечети при большом скоплении слушателей и убеждал народ биться с русскими до последней капли крови, то отправлялся на стены и умело руководил строительными работами.

По городу пошли слухи (не без участия Джафара-мирзы и других клеветов Музафара), что Кулшериф-мулла скоро удалится на покой и первосвященнический престол займет его воинственный сын.

Не только в государственных делах, но и в самом дворце Кулшерифа Музафар-мулла перехватил власть у отца.

Кулшериф, одинокий, всеми забытый, сидел у себя в покоях, а все распоряжения по дому отдавал его старший сын.

* * *

Музафар-мулла сидел на шелковых подушках, поджав ноги. Перед ним стоял Булат в поношенном бешмете с медными пуговицами. Лицо старика было сумрачно.

Музафар говорил по-татарски, Булат – по-русски. Переводил Джафар-мирза.

– Так ты, урус, не хочешь помогать мне укреплять город? – спрашивал разгневанный Музафар.

– Передай своему господину, что вздумал он несбыточное. – Тихий голос старика был тверд.

– Мы тебя золотом осыпем, жен молодых дадим, дом хороший...

Никита усмехнулся:

– Мне на тот свет пора, а не женами прельщаться! Нам, русским людям, родина всех земных благ дороже...

– В подземную тюрьму! – закричал Музафар-мулла.

– Ваша власть! Лучше в тюрьме буду, чем изменю родной земле!

– У-у, крепок старик! – пробормотал горбун и сделал последнюю попытку: – Тебе и внучку Дуню покинуть не жаль?

– Жаль, а душа дороже! Ведите в зиндан, зачем слова тратить!

Музафар и управитель обменялись удивленными взглядами. В зиндан старика не отправили: надеялись все-таки уговорить его.

Глава III

Выступление в поход

В погожее июньское утро 1552 года выступала из Москвы русская рать в далекий и опасный поход на Казань.

Москвичи толпами стояли по сторонам коломенской дороги. Купцы в добротных шубах, подмосковные мужики в армяках, посадские люди, бабы в разноцветных сарафанах, в летниках и киках – все пробирались к обочине дороги.

Слышались возгласы:

– Постойте, кормильцы, за землю русскую до смерти!

– Освободите бедных невольников!

– Царство небесное унаследуете!..

– А мы бы, дедушка, еще и по этому побродили! – ответил посадскому веселый детина в потертом кафтане, с кованой железной шапкой на голове. – Оно и тут... ежели... тоже не плохо! – Он подпрыгнул, ловко прищелкнул пальцами, заиграл плясовую и начал выделывать коленца.

Сосед по ряду, угрюмый, чугунно-черный мужик, сердито ткнул его кулаком:

– Брось!

– Ай, Демидушка, ай, родненький, какая ты муха укусила? – скривился бывший скоморох Нечай.

– Чать, на войну идешь али куда? – проворчал Жук.

Скоморохам удалось попасть в ополчение, и участие в московском мятеже было им прощено. Но не только из-за этого шли под Казань Нечай и Жук, как и тысячи их соратников. Народ понимал, что совершается великое дело укрепления Руси, и отдавался этому делу с радостью.

За пехотой шла конница на низкорослых некованых лошадках, привычных по суткам оставаться без корма; это был Ертоульный полк Федора Троекурова, разведчики многочисленной рати.

Войско текло нескончаемым потоком. Среди несчетных рядов сермяжников редко блестели на солнце латы, кольчуги...

Как во все века, Русь выслала на борьбу с опасным врагом лучших своих сынов, не полагаясь на армию наемников, жадных только на деньги.

У многих ратников за лычки шапок были заткнуты деревянные ложки.

Толпа подшучивала:

– Эй, паря! Малу ложку ухватил, голодом насидишься!

– Ништо, управимся! – беззлобно отшучивались ратники. – Нам хошь какие котлы поставь – все вычерпаем!

Два боярина, окруженные челядью, внимательно рассматривали войско.

– А кто воеводы? – спросил один.

– Царский полк сам государь ведет, Сторожевой – воевода Серебряный, полк Правой Руки – князь Андрей Курбский со Щенятевым, полклевой Руки – воевода Плещеев Митрий Иванович, над Запасным полком поставлен Ромодановской...

– И-их, сколько стратигов! Много войска государь собрал!

– Много! Тысяч до сотни, а может, и больше наберется. Конечно, не все до Казани дойдут: надобно заставы от крымчаков поставить, по городам сторожи разместить...

Мимо двигался пушечный наряд. Везли толстые тупоносые гауфницы, и длинные змеи, и фальконеты-сокольники, и легкие полевые пушки. Иностранцы уверяли, что ни одна армия не располагала таким множеством прекрасной артиллерии, как русская.

Осадным делам – пушкам – царь Иван всегда уделял особое внимание. Артиллерия составляла особый род войск, и царь заботился о подготовке искусных пушкарей. По зимам в присутствии Ивана Васильевича и ближних бояр устраивались опытные стрельбы, и наиболее отличившихся пушкарей царь награждал.

Русские пушкари первыми додумались ставить мелкие и средние пушки на колеса – лафеты. Это сделало московскую артиллерию наиболее подвижной, способной к быстрому перемещению с одной позиции на другую. Так полковые пушки появились впервые на Руси.

За пушками шел обоз. В телегах лежали бочки с зельем, окутанные мокрой шерстью и рогожами.

В одной из телег сидел бывший казанский пленник – оружейник Кондратий. Узнав, что готовится новый поход на Казань, он выпросился в пушкари.

– Я и стрелять могу, – уверял Кондратий начальника артиллерии, дьяка Выродкова, – и зелье готовить, и пицаль починить... Даром хлеб есть не буду! А человек я одинокий, и коли придется под Казанью голову сложить, по крайности не зря погину, а за дело русское...

Оружейник горел одним желанием: посчитаться с неверными за мучения, перенесенные в плену.

Стольника Ордынцева не было при пушечном обозе: царь не разрешил ему отправиться в поход, несмотря на его горячие мольбы.

– Нестаточное замыслил, Григорьевич, – сказал царь Ордынцеву. – Ты в поход уйдешь, а кто станет наряд готовить, новые пушки лить? Воинское дело переменчиво, и может статься, много еще нам осадных дел понадобится, прежде нежели покончим с Казанью. В храбрость твою я верю, но не то нужно, чтоб ты десяток ворогов своей рукой убил. Замыслы мои обширны, много будет походов, и

судьба твоя – стать моим верным помощником, пушек давать побольше да хороших, какие у тебя теперь пошли...

Впервые царь так явно дал понять Ордынцеву, что доволен его работой. Это утешило Федора Григорьевича, и он стал еще больше сил отдавать работе на Пушечном дворе.

К третьему походу на Казань русские воеводы готовились тщательно. Сделано было то, о чем не слыхивали прежние полководцы: царь и его помощники пригласили козмографов с их картами, узнали, какими местами придется идти войску, где нужно наводить мосты. Стало ясно: чтобы не отвлекать войско побочными заботами, в походе понадобится большой отряд строителей; их набрали в Москве и в ближайших городах. Отряд возглавляли несколько мастеров, а старшим был поставлен Голован, несмотря на его молодость и на отказы от почетной должности. Случилось так потому, что Голован при построении Свияжской крепости заслужил особое благоволение начальника размыслов Ивана Выродкова.

Теперь обоз строителей шел непосредственно за пушкарями. Широкогрудые, сильные кони везли телеги, тяжело нагруженные огромными коваными гвоздями и железными скобами, топорами и прочим плотничьим инструментом.

Голован ехал на рослом рыжем коне; за ним трусил на пегой лошаденке неразлучный товарищ – Аким Груздь.

У Андрея на душе было радостно: исполнилось его давнее желание – он ехал освободить наставника. Голован крепко надеялся, что Никита жив, что они свидятся и настанет час, когда они вдвоем снова пойдут из города в город, из села в село по просторной русской земле...

А рать шла и шла, как широкая, многоводная река лилась. Шагали пищальники в темных полукафтанных, за ними на телегах везли громоздкие ружья и сошки к ним. Ехали всадники с копьями, с топорами, саблями; у седел болтались луки и колчаны, упряжанные в чехлы – саадаки.

Вперед, на Волгу!..

Глава IV

Нашествие крымских татар

Русское войско выступило из Москвы 16 июня 1552 года. К полудню царский поезд достиг села Коломенского, недалеко от южной окраины Москвы.

Царь обедал с боярами и воеводами; он был весел, шутил, смеялся. Великий замысел, который он вынашивал несколько лет, начинал осуществляться: рать двинута в решительный поход на Казань.

– Сей день, бояре, – сказал Иван, вставая из-за стола, – ночуем в Острове-селе, а завтра двинемся на Владимир...

После непродолжительного послеобеденного отдыха царь со свитой сел на коней.

Вдруг впереди, где виднелись дозоры, охранявшие путь царя, началось необычное движение, послышались взволнованные голоса. Три всадника скакали к царю во весь мах: два царских телохранителя и меж ними оборванный мужик, без шапки, с исхудалым лицом, с ярко-рыжими волосами, с глазами, блестящими горячечным огнем.

Завидев пышный царский поезд, мужик кулем свалился с коня и рухнул лицом в мягкую пыль дороги.

– Встань! – приказал царь. – Кто таков?

– Станичник я, великий государь! – торопливо отвечал человек с низким поклоном. – Прискакал я со всяческим поспешением из Путивля-града, от берегового воеводы Айдара Волжина...

– Что доносит Волжин?

– Дурные вести, великий государь! Вышла орда из Крыма и валом валит на наши украинны... Уж Северный Донец враги миновали!..

– Вот как... – прошептал царь. – Прознали наши замыслы да поторопились. Эх, узнать бы, кто весть подал!

Лицо Ивана Васильевича окаменело, жесткие складки сильнее прорезались у тонких губ.

Страшная угроза нависла над Русью. И счастье, что полки еще не ушли от Москвы, что есть возможность отбить неожиданное нападение...

– Кто ведет крымчаков? – обратился царь к гонцу.

Тот недоуменно покачал головой:

– Сие еще неведомо, государь! Иные толкуют, будто сам хан с ордой, иные – что сын его.

– Вижу, нелицемерно правишь нашу государеву службу. Отвести станичника в Коломенское, – приказал он телохранителям, – накормить, одеть, выдать в награду пять рублей... – Царь оглядел угрюмые лица воевод. – Приуныли, богатыри? – с ласковой насмешкой сказал он. – А я так мыслю: просчитались крымчаки! Раненько явились в наши пределы, и то нам на благо. Проучим недругов, чтоб не накидывались на Русь! Мы их не трогали, и пусть не прогневаются – спуску не дадим!

Твердая речь царя согнала уныние с лиц его приближенных. Они почувствовали, что их ведет в бой твердая рука.

Воевода Щенятев пылко воскликнул:

– Меня первого пошли, государь, на ворогов! Уж я постою за русское дело!

– Всем хватит работы, – ответил царь.

Войска поспешили в Коломну, на укрепленный рубеж. Царь, опережая главные силы, прибыл в Коломну утром 19 июня. Через час после приезда к нему ввели Айдара Волжина: береговой воевода лично явился с важными сообщениями. С десятком казаков он скакал день и ночь, сменяя лошадей, и опередил татар.

Волжин привез тревожные вести. Огромная крымская рать во главе с ханом Девлет-Гиреем идет на Рязань и Коломну. С Девлет-Гиреем вышли на Русь князья и мурзы, и в числе их любимый шурин хана. Девлет-Гирей и его приспешники похваляются разорить Русь дотла и взять богатую добычу. Об этом вызнал Айдар, захватив языка – татарского тысячника.

Иван Васильевич наметил план расположения сильных заслонов перед Москвой. Большому полку Михаила Воротынского приказано было стать у села Колычева, в двадцати пяти верстах к северо-востоку от Серпухова. Ертоульный полк с воеводой Федором Троекуровым занял Ростиславль. Полк левой Руки (воевода Плещеев) расположился у Голутвина, в пяти верстах от Коломны. Шиг-Алея царь послал в Касимов – подымать верных московскому царю татар на борьбу с Крымом.

Объехав войска, царь Иван Васильевич вернулся на Оку, в Коломну, которую избрал местопребыванием в ожидании решительного боя с Девлет-Гиреем. Там с беспокойством ожидал он известий от конных отрядов, высланных на юг.

Известия не заставили ждать. 21 июня стали один за другим подъезжать гонцы. Они сообщили, что татарские отряды, быстро продвигаясь к северу, показались близ Тулы.

На помощь угрожаемому городу тотчас отправлен был полк правой Руки с воеводами Курбским и Петром Щенятевым. За ними и царь собрался выступить на следующее утро, но не успел выполнить свое намерение.

Утром 22 июня гонцы прискакали с известием, что Туле не грозит опасность. Невдалеке от города появились только небольшие отряды крымчаков – числом тысяч до семи. Не осмеливаясь подступить к городу, татары пограбили окрестности

Тулы, забрали в плен тех, кто не успел укрыться за стенами, и ушли обратно. Курбскому и Щенятеву приказано было задержаться в пути.

Направление удара главных татарских сил оставалось неизвестным. Царь Иван решил выждать разворачивания событий, не оставляя Коломны; этому городу предстояло стать главным узлом обороны Москвы.

Ждать пришлось недолго. На следующий же день к обеду примчались новые вестники от Григория Темкина, наместника Тулы.

Темкин доносил:

«Сам крымский хан Девлет-Гирей подступает к городу со всей ордой. При нем пушечный наряд и отборный отряд турецких янычар. Войска, бывшие в Туле, отосланы для участия в казанском походе, и теперь надежда только на быстрый подход подкреплений. Впрочем, жители Тулы от мала до велика встали на защиту родного города и будут биться с татарами, не жалея жизни».

В Коломне все закипело. Полки, назначенные на подмогу Темкину, начали переправляться через Оку, а царь Иван с дружинами двинулся вверх по левому берегу Оки – к Кашире; там он должен был перейти реку и тоже спешить к Туле.

Глава V

Оборона Тулы

После ухода татарского разведывательного отряда туляки успокоились лишь на несколько часов.

На рассвете 22 июня стало известно, что Девлет-Гирей подходит к городу со всеми силами.

Прошло немного времени, и под Тулой раскинулся огромный неприятельский лагерь. На возвышении воздвигли пышный ханский шатер, ниже теснились шатры вельмож и полководцев. В отдалении, как многочисленные копны сена, чернели кибитки простых воинов: татары ходили в походы с женами и детьми.

Шум и гам наполнили окрестность; кричали и бранились люди, ржали лошади, ревели быки и верблюды...

Солиман возлагал исключительные надежды на коварный и неожиданный удар с юга, который крымцы нанесли по его приказу.

Немало вспомогательных войск прислал султан крымскому хану Девлет-Гирею. Среди них были воинственные горцы из суровых, неплодородных областей Малой Азии; несравненные наездники – аравийские бедуины в белых развевающихся бурнусах; египетские феллахи с сожженными солнцем лицами... «Царь царей» даже не пожалел для верного вассала крупного отряда янычар – отборных солдат султанской гвардии, которых в минуты хорошего настроения называл своими возлюбленными ягнятами.

С крымцами пришла также турецкая артиллерия. Огромные кулеврины лежали на арбах, в которые на походе запрягалось по десяти пар волов.

Паша, ведавший артиллерией, при наборе пушкарей предпочитал нанимать европейцев, опытных в обращении с орудиями. У турецких пушек стояли беглецы, нарушители дисциплины, мародеры и грабители из всех европейских армий. У турок они вели себя хорошо: за проступки у начальника артиллерии полагалось одно наказание – рубить голову. Зато при взятии города солдатам предоставлялось право грабить побежденных и расправляться с ними как вздумается.

Огромная разноплеменная армия была брошена на далекий север во исполнение приказа могущественного Солимана I, «повелителя всех правоверных, тени аллаха на земле». Некоторым из них были чужды воинственные помыслы, и они с радостью вернулись бы к своим виноградникам и хлопковым полям. Но большинство жаждало разбоя и убийств и готово было по первому знаку

предводителей ринуться на стены русского города, мало подготовленного к вражескому нашествию...

Жители Тулы были сумрачны, но спокойны: они знали, что только мужество спасет город, и заранее предпочли смерть постыдному плену.

Наместнику не пришлось уговаривать горожан защищать Тулу. При появлении татарских отрядов все способные носить оружие бросились на стены. Мужчины, старики, юноши с алебардами и топорами, с рогатинами, пищалями, луками, арбалетами стояли у бойниц, готовые отразить натиск врага. Женщины и дети были захвачены всеобщим воодушевлением. Они кипятили в больших котлах воду и смолу – выливать на голову штурмующих татар. Другие таскали на стены груды камней и складывали в наименее защищенных местах.

Знакомые с пушечным делом заряжали и наводили орудия туда, где можно было ожидать скопления врага.

Наместник Григорий Темкин – низенький, широкоплечий, с курчавой темной бородой и пронзительными черными глазами – не сходил со стен. Он с наибольшей пользой употребил несколько десятков воинов, которые оставались у него после ухода полков в казанский поход. Темкин разбил горожан на сотни, строго-настрого приказав каждой сотне держать свое место и подавать помощь соседям только по приказу начальных людей. А начальными людьми поставил опытных воинов. Каждая сотня разбилась на десятки. Защитники города выбрали десятниками охотников и звероловов, хорошо знакомых с употреблением оружия. Кузнецы и оружейники тоже оказались в числе начальных людей. Так внесен был порядок в дело обороны, и защитники Тулы стали не беспорядочным скопищем людей, а войском.

В сотне Провора Костюкова было много лучников; по общему приговору, над ними начальствовал олончанин Лука Сердитый. Зимой Лука проводил на родине, в лесах севера, бил соболей, горностаев, белок... А весной охотник отправлялся с пушниной в южные города: бережливый Лука, глава большой семьи, не хотел, чтоб на его труде наживались скупщики.

Этим летом дела привели Луку Сердитого в Тулу, где охотник бывал и раньше. По тревоге Лука Сердитый снял со стены лук и колчан со стрелами, повесил к поясу нож и присоединился к потоку стремившихся на стены.

Рядом с олончанином оказался знакомый купец.

– Лука, и ты туда ж? – удивился купец. – Тебе что за неволя чужой город защищать?

– Вот дурак! – рассердился охотник. – Мне русские города все свои!

На стене Лука проявил большую распорядительность: с полным знанием дела расставил ратников у бойниц, указал каждому участок обстрела, чтобы соседние лучники не поражали одну и ту же цель. Лука проверил оружие, иным подтянул тетиву у лука, осмотрел стрелы, приказал подточить железные наконечники.

Защитники в суровом спокойствии ждали первого приступа. Он начался около девяти часов утра.

Татары тучами с неистовым визгом и ревом побежали к стенам; многие тащили осадные лестницы.

Грянули выстрелы городских пушек, но ядра, хоть и убивали по несколько человек, бессильны были остановить плотную массу врагов: слишком много времени уходило на перезарядку пушек. Редко хлопали пищаля; ружейный огонь тоже оказался малодейственным.

Зато лучники производили огромные опустошения среди врагов. Хороший стрелок делал пятнадцать-двадцать выстрелов в минуту, лишь бы хватало стрел. А стрел туляки запасли много: недаром сидели за их заготовкой в долгие зимние

вечера, когда за окошками выла вьюга и татарское нашествие казалось таким далеким, маловероятным.

Мальчишки шныряли под ногами лучников с пучками стрел, звонко выкрикивали:

– Кому стрелы надобны? Дяденьки, отзываютесь, кому стрел?..

В наступавших неприятельских толпах чуть не каждая стрела находила цель. От стрелы, спущенной с тугой тетивы, не всегда спасала и кольчуга: на расстоянии в пятьдесят-сто шагов стрела пробивала толстую дубовую доску.

Большие потери не остановили стремительный бег татар. Тысячи их добрались до стен и здесь очутились в сравнительной безопасности: им угрожали только выстрелы с выступающих вперед башен, а в башнях было не много бойниц.

Под стенами татары навели порядок в своих рядах, подняли лестницы. По лестницам устремились враги.

На голову нападающих лилась кипящая вода, горячая смола, обожженные скатывались с диким воем, сшибали нижних, на смену им карабкались новые. Огромные камни сваливались со стен, круша и ломая лестницы...

Напряжение боя росло; в том и другом стане никто не думал о собственной безопасности. Единственной целью служила победа, пусть даже ценой жизни.

На участке Провора Костюкова бой разгорелся особенно сильно. Больше дюжины лестниц установили здесь татары – огонь и камни уничтожили большую часть. Но в двух или трех местах татарские головы показались над стеной, враги готовы были ворваться.

К одной из осадных лестниц рванулся невысокий дюжий парень с широченными плечами.

Рывкнув соседу, такому же крепышу, как сам он «Елифан, сдержишь меня за ноги?», парень упал на край стены, схватил облепленную татарами лестницу и напряг мускулы – сбросить ее назад. Двое верхних ударили богатыря чеканами по шлему, тот лишь мотнул головой, точно его укусили оводы. Могучее усилие – и лестница качнулась и упала, убивая и калеча висящих на ней людей.

Молодой богатырь и сам слетел бы с лестницей, если бы Елифан не удержал его на стене.

Одобрительные крики приветствовали подвиг силача:

– Ай да Васютка! Ай да Дубас!

Василий Дубас и Елифан Бердяга бросились ко второй лестнице, опрокинули и ее. С третьей уstraшенные татары посыпались сами.

Приступ на этом участке был отбит. Шум битвы начал стихать повсюду. Враги отступили, оставив под стенами тысячи трупов.

Потери туляков были меньше, но при малой численности защитников имели серьезное значение. Раненых унесли в город. Те, кто мог держаться на ногах, остались на стене. Убитых сложили внизу, под стеной: если город устоит, им устроят христианское погребение. Теперь же, когда каждая рука на счету, мертвецы могли подождать: попы стояли в рядах защитников родной Тулы.

Провор Костюков, раненный в плечо стрелой, потерял много крови. Хоть он и не оставил стену, но не мог больше руководить боем; преемником Провор назначил Луку Сердитого. Белоглазый олончанин был доволен полученным назначением.

Двух силачей – Василия Дубаса и Елифана Бердягу – Лука решил сделать десятниками вместо выбывших из боя. Парни предстали перед начальником со смущенно гордыми лицами.

Скупо похвалив их, Лука сказал о новом назначении. Елифан пошел к своему десятку, а Василий переминался с ноги на ногу.

– Чего нейдешь?

– Нет моего согласия в десятники...

Лука рассвирепел:

– Вот дубина стоеросовая! Испугался?

– Не гожусь я в начальные люди, – стыдливо усмехнулся Василий.

– Оставь его, Лука, – слабым голосом сказал Провор. – Парень привык других слушаться.

– Ну, ступай! – отпустил Василия Сердитый. – Видно, твое дело лестницы сбрасывать!

– А худо я их сбрасывал?

– Хорошо, хорошо! Ты сегодня татар десятка четыре на тот свет отправил!

– А коль доживу до вечера, не то еще будет! – похвалился Дубас и отправился в десяток Бердяги.

Было около полудня. Битва утихла. Противник собирался с силами. Воевода Темкин и тульский владыка обходили стены, ободряя воинов, обещая, что скоро придет помощь.

Отдых был непродолжителен. Заревели турецкие кулеврины, каленые ядра понеслись за городские стены. Девлет-Гирей решил поджечь Тулу, надеясь, что горожане бросятся тушить дома и стены останутся без защитников. Коварный расчет не оправдался, ни один человек не оставил боевого поста.

Дома в городе пылали. Кое-где пожары тушили женщины с помощью детей и дряхлых стариков. Там, где все ушли на битву, огонь распространялся беспрепятственно. Туляки с тревогой смотрели на гибель добра, нажитого тяжелым трудом, но дух их оставался бодрым.

Через час начался новый приступ. Он был отбит, как и первый.

Узнав силу русского оружия, татары подступали с меньшим остервенением. Правда, и силы защитников ослабели: теперь русские понесли более тяжелый урон.

На третий приступ хан Девлет-Гирей бросил отборное войско – султанских янычар, грозных противников в рукопашном бою. Турки шли к стенам неспешно, без криков, и вид их был ужасен: молодцы как на подбор, рослые, сильные, в кольчугах и начищенных латах, блестящих при свете низко спустившегося солнца.

Воевода Григорий Темкин понял, наступил решающий час битвы!

Он послал сзывать всех, кто еще оставался в городе. На стены бежали женщины и подростки, вооружались мечами и копьями убитых и тяжело раненных отцов, мужей и братьев.

Шли на битву древние старики, десятилетия назад в последний раз державшие оружие. Маленькие дети раздували под котлами со смолой огонь, бросали в пламя головни от сгоревших домов.

Бой был страшен. Янычарам удалось во многих местах взобраться на городские стены; но нигде не удалось им одолеть живую стену защитников Тулы. Противники дрались врукопашную: на близком расстоянии бесполезны были пищали и луки. Сверкали мечи, кинжалы, топоры; враги грызлись зубами. Два богатыря – Епифан Бердяга и Василий Дубас – выказывали громадную свою силу. Стоя плечом к плечу, они ломали врагов, разбивали им головы дубинами с тяжелым шаром на конце.

В схватке погиб Епифан Бердяга, проколотый мечом великана-араба, турецкого тысячника в богатейшем вооружении. Разъяренный гибелью друга, Дубас почувствовал необычайный прилив силы: схватив врага, он поднял его над головой, закрутил и швырнул со стены на голову наступающих. Лука Сердитый с немногочисленными остатками сотни воспользовался замешательством татар и турок и сбросил их со стены.

Дорого обошелся бой тулякам: меньше половины защитников осталось в строю, и все они были ранены – исколоты пиками, порублены мечами, оцарапаны стрелами... Но неколебимо стояла русская сила на стенах города, и дрогнули

татарские военачальники. Заиграли во вражьем стане карнай – боевые трубы, давая сигнал к отступлению. Крымцы отошли от города.

* * *

Всю короткую летнюю ночь провели туляки на стенах, боясь неожиданной атаки. В татаро-турецком стане слышались только завывания женщин, оплакивавших покойников.

А на заре в неприятельском лагере началось движение: владельцы шатров и кибиток поспешно грузили имущество на скрипучие арбы. Вражья орда кинулась на юг.

Взоры русских устремились на север, ища разгадки нежданного бегства татар.

На севере, на краю небосвода, клубилась пыль, розовая в лучах восходящего солнца: спешили на выручку русские полки.

– Наши! Наши! – раздались восторженные крики. – Бей недругов! В погоню!

Василий Дубас первым выбежал за городские ворота. Захватив вражеского скакуна, запутавшегося ногой в поводьях, силач помчался за татарами, свирепый и страшный, размахивая дубиной.

Немногочисленные, но одушевленные воинственным пылом русские дружины нагнали бегущих. Враги огрызались, но не хотели принять бой. В задних рядах татары падали сотнями, а передние только ускоряли бег коней.

Турецкие пушкари бросили орудия, и огромные кулеврины стали боевой добычей русских; шатры, нагруженные на повозки, женщины, дети – все осталось позади, крымские воины старались унести ноги.

Лука Сердитый и Василий Дубас скакали рядом. Лука без промаха поражал врагов стрелами. На свою меткость Дубас не надеялся и не взял лук; но кого настигала его дубина, тому уж было не жить.

Впереди завиднелись два татарина на великолепных конях, окруженные свитой. Они неслись во весь дух, оглядываясь назад.

– Хан! Сам хан! – завопил Лука Сердитый, настегивая коня.

Расстояние сокращалось. Лука пустил стрелу. Хан Девлет-Гирей взмахнул раненой рукой: стрела пробила ему запястье. Но в это мгновение пал конь Луки, не вынеся скачки. Лука грохнулся наземь, вскочил и, бешено ругаясь, стал пускать стрелу за стрелой.

Одна из стрел поразила коня ханского шурина. Высокий красивый татарин спрыгнул с лошади, выхватил меч – защищаться. На него налетел с багровым от гнева лицом Василий Дубас. Могучий удар – и татарский вельможа рухнул с раздробленным черепом, а лошадь Дубаса повалилась в агонии.

Девлет-Гирей и его спутники ускакали. Усталые, измученные боями туляки отстали от бегущих врагов.

Но татары рано обрадовались спасению. На них обрушился полк Правой Руки. В полку насчитывалось пятнадцать тысяч воинов; турецко-татарские войска, потерпевшие огромный урон в боях с туляками, все-таки были вдвое многочисленнее.

Но упавшие духом крымцы потерпели решительное поражение на берегах речки Шивороны.

Были освобождены русские, плененные в набеге татарами, захвачен еще остававшийся в ханском войске обоз, взяты лошади, быки и странные для русских животные – «вельблюды».

Один из пленников, приближенный хана, рассказал: турецкий султан повелел хану Девлет-Гирею идти на выручку угрожаемой Казани и уничтожить столицу Руси – беззащитную Москву: Солиману донесли лазутчики, что русские войска уходят в далекий поход. Войдя в русские пределы, Девлет-Гирей с

разочарованием узнал, что царь Иван близ Москвы, и хотел отступить, но турецкие военачальники решительно воспротивились.

«Великий султан разгневается на тебя и на нас, – говорили они. – Если мы хотим сохранить голову на плечах, должны идти вперед. Возьмем хоть Тулу. Она далеко от Москвы, за лесами...»

Заканчивая рассказ, пленник понурил голову:

– Рок ниспослал нам несчастье... Кто бы мог подумать, что ваша Тула так сильна!

В последующие дни гонцы принесли радостную весть: Девлет-Гирей бежит в Крым, делая по шестидесяти-семидесяти верст в день. Путь хана отмечают обглоданные волками кости загнанных лошадей.

* * *

В число гонцов, отправленных к царю с вестью о победе, воевода Темкин включил Луку Сердитого и Василия Дубаса. Они, как особо отличившиеся в боях, должны были сами поведать царю о своих подвигах.

Но рассказывать пришлось одному Луке Сердитому. Бывалый олончанин не потерялся: бойкой скороговоркой он доложил царю Ивану, окруженному боярами, о делах своих и Дубаса. Пока продолжался рассказ, Дубас упорно смотрел на носки своих огромных лаптей.

– Что ж молчишь, молодец? – весело спросил Василия царь.

Дубас вскинул на царя Ивана глаза и опустил их, охваченный робостью.

– Он у нас молчальник, великий государь, – вмешался Лука. – У него сила в руке, а не на языке!

– Чем вас наградить, ратники храбрые?

– Дозволь, государь, в твоё ополчение поступить! Хотим мы с Васькой неверную Казань громить!

– Дозволяю, дозволяю! Радостно мне такое прошение слышать.

Сердитого и Дубаса взял в Большой полк воевода Михаила Воротынский.

Глава VI

Первый отряд

Царские рати наголову разгромили крымцев. Теперь можно было идти на Казань.

Царь Иван дал заслуженный отдых войскам: восемь дней провели они в полевых станах под Коломной, Каширой, Серпуховом.

Царь возвратился в Коломну и богатыми пирами отпраздновал победу. В Москву отправлена была военная добыча: неприятельские пушки, знатные турки и татары – пленники и невиданные звери «вельблюцы». Москва ликовала. Быстрый разгром южных орд, казалось, предвещал скорую и легкую победу над казанцами.

В царской ставке разрабатывался порядок похода. Вести всю рать одним путем представлялось царю и воеводам делом невыгодным: трудно снабдить продовольствием множество людей. Решили разбить войско на три отряда.

Первым отрядом предводительствовал царь Иван. В него вошли царская дружина, полк левой Руки, Сторожевой и Запасный полки. Большой полк, полк правой Руки, Ертоульный полк и другие должны были составить второй отряд. В третий отряд входила осадная артиллерия. Путь ей предстоял по рекам на баржах; водой же царь приказал везти казну.

Первые два отряда после марша в несколько сот верст должны были соединиться в приволжских степях, за Алатырем.

Первому отряду предназначался кружной путь к Алатырю – через Владимир и Муром.

Полкам второго отряда, шедшим южнее, поставлена была важная задача: охранять на походе русские границы от неожиданных нападений. Девлет-Гирей,

хотя и разбитый, мог вновь послать на Русь войска. Крым был многолюден, а султанская Турция располагала огромными воинскими резервами.

* * *

Русские полки выступили в дальний поход 3 июля 1552 года. Во Владимир прибыли 8 июля. Их встретило радостное известие из Свияжска. Воеводы доносили: цинга в городе прекратилась; войско с воодушевлением ждет прихода главных сил, чтобы вместе двинуться под Казань.

В Муром первый отряд вступил 13 июля и простоял там неделю: рать готовилась к трудному переходу через пустынные места.

Войскам устроен был смотр, проверено вооружение и снаряжение. Людей каждого полка, побывавшего в боях с крымской ордой, разделили на сотни, назначили начальников из числа отличившихся бойцов.

Здесь осадный наряд, который везли до Мурома сухопутьем вместе с первым отрядом, погрузили на суда. Власть над стрельцами и пушкарями царь вручил воеводе Петру Булгакову. За сохранностью пушек и запасов пороха смотрел главный начальник артиллерии дьяк Иван Выродков.

Из Мурома войско выступило 20 июля, держа путь на юго-восток.

На пути к московскому войску присоединились касимовские и темниковские князья с татарскими и мордовскими дружинами: русская армия становилась многонациональной, но все ее части были подчинены единой воле, все стремились к одной цели – сплотить еще крепче русское государство и расширить его пределы.

* * *

Пушечный наряд плыл по воде. Дорога предстояла дальняя: по Оке до устья и дальше вниз, по великой Волге. Путь по рекам был не утомителен, но скучен.

Лежа на палубе, Иван Выродков рассеянно смотрел на уплывавшие берега. Пушкари варили обед, разложив костер на земляной насыпи. За кормой баржи тянулись блесны на крепких бечевах, и время от времени искусный рыболов Кондратий выхватывал из воды судака или щуку.

– Отплавала! – бормотал он, снимая с крючка трепещущую рыбину, и вытаскивал из-за голенища ножик.

Белые чайки с криком носились над рекой, выхватывая плотичек и пескариков. Свежо и прохладно было на лодках. Когда дул попутный ветер, растягивали паруса, и баржи бежали быстрее, рассекая холодноватую свинцовую рябь.

Глава VII

Степи

Путь второго, более многочисленного отряда начинался через Рязань и Мещёру.

Немало военных новшеств придумали царь Иван и его стратеги. Прежние походы проводились наспех, без хорошей подготовки, и этим объяснялись их неудачи.

Теперь дело повели крепко. Через дремучие леса были прорублены длинные просеки – дороги. Это потребовало от Голована и его строителей такой большой работы, что часто им в помощь давали значительные отряды с топорами.

Часть строителей шла вперед, наводила паромные переправы, через небольшие речки перекидывала прочные мосты; при них ставились сильные караулы. Мало того: царь Иван приказал заселить новую дорогу русскими людьми.

Прекрасное устройство ямской гоньбы между русскими городами, раскинутыми по огромному пространству Восточной Европы, всегда поражало иностранцев. Крестьяне, жившие вдоль больших дорог, обязаны были поставлять лошадей для правительственных гонцов. Эта повинность тяжело отзывалась на крестьянских хозяйствах, особенно в летнее время, но за невыполнение ее грозили

тяжкие кары. И гонцы проезжали по двести пятьдесят – триста верст в день – предел скорости в те времена.

Новая дорога не должна была остаться пустынной, и дьяки, сопровождавшие войско, немедленно принялись за дело. Через каждые пять-десять верст удобные участки земли отводились бывшим при войске беспоместным дворянам, и те посылали доверенных – скликать людей.

Крестьяне пошли на новые места охотно: их на несколько лет освобождали от всех повинностей, кроме ямской гоньбы.

Остались позади сотни верст утомительного пути. Войско шло по беспредельным степным далям. Вокруг волновался седой ковыль, вверху раскинулось бледно-голубое небо, и в нем черными точками кружили ястреба.

Встречались на пути второго отряда развалины древних городов. Рыжий бурьян да горькая полынь покрывали городские площади, на которых когда-то собирались народные толпы по звону вечеревого колокола...

Разведчики, опережавшие главные силы, въезжали на вершушки курганов; конские копыта попирали могилы давно забытых князей.

На целые версты растянулась московская рать. Телеги скрипели пронзительно и тонко.

Передовые сотни раздвигали грудью высокие увядающие травы; травяное колышущееся море ложилось на землю под ногами пехоты, под конскими копытами. Где утром прятались в веселом разнотравье сторожкие дрофы и шныряли перепелки, вечером степь напоминала гладко примятый ток с кое-где торчащими былинками. Замыкающим войско полковым обозникам приходилось глотать пыль, сухую, едкую.

Огромная рать двигалась медленно. По ночам, теплым и безоблачным, дым от многочисленных костров затмевал небо.

За дорогу сдружились ратники Большого полка: бывшие скоморохи Нечай и Жук, лучник Лука Сердитый и его простодушный товарищ Василий Дубас.

Когда Дубас пришел в сотню, ему выдали лук со стрелами и кистень. Но стрелял он плохо, а кистень был чересчур легок для его могучей руки.

– Какой же ты воин! – с укором говорил Дубасу олончанин Лука. – Стрелять толком не научился! Али на силу надеешься? Сила хороша, когда врукопашь сойдешься. А сыздали и тура стрелой бьют...

– Да мне и стрелять-то отроду не приходилось. Ты бы, дядя Лука, поучил меня, чем ругаться!

– Поучить могу, только уговор: коли дело делать – от дела не бегать!

Лука с усердием принялся обучать лучному искусству молодых ратников своей сотни. Трудно было проводить учебу в походе, но Лука нашел выход. Двигаясь по выбитой земле за полком, он высылал вперед двух быстроногих ребят. Те втыкали в землю пару кольев, распяливали баранью шкуру – и цель готова.

Лука выстраивал молодых лучников, показывал, как упираться в землю ногой, как натягивать тетиву и накладывать стрелу. Учил определять направление ветра и рассчитывать, куда стрелу отнесет.

Каждый ратник делал по выстрелу. Махальщики условными знаками показывали попадания и промахи, срывались с места и бежали вперед со шкурой и кольями.

Стрелки спешили за ними, подбирали с земли стрелы и метились снова...

К вечеру молодежь валилась от усталости, а охотник Лука, сухой, жилистый, неутомимо шагал вперед, распекая учеников за слабость.

Василий Дубас изломал два лука и порвал несколько тетив, прежде чем научился соразмерять огромную свою силу. Но наконец дело пошло на лад. Каждым удачным попаданием в цель Дубас так гордился, точно ему удалось застрелить врага-татарина.

Другие ученики Луки опережали успехами неповоротливого Василия. Но смеяться над Дубасом было опасно: он хватал двух-трех насмешников в охапку и полушутя так подминал под себя, что у них кости трещали.

Глядя на Луку Сердитого, и другие опытные лучники начали учить молодежь. Уже не один маленький отряд ратников шел вслед за главными силами, а стало таких отрядов много.

Чуть заря начинала белеть на востоке, трубы будили спящий стан. Шум и гомон далеко неслись по степи, курившейся утренним туманом. Ратники, наскоро поев, собирали пожитки, становились в ряды и трогались в путь. Впереди ехали воеводы на раскормленных конях, украшенных дорогой сбруей. За ними везли распущенные знамена.

Долго шли ратники под знойным солнцем. И когда казалось, что силы уже иссякли, перед рядами Большого полка, припрыгивая и раскачиваясь, появлялся Нечай, барабая двумя ложками задорнейшую плясовую.

– И-эх! – гикал он, и взбодренные пехотинцы улыбались.

А Нечай заводил песню:

Ой, старая баба кашу варила, Баба кашу варила, приговаривала!..

Ловкими коленцами Нечай показывал, как старуха варит кашу, как мешает ее. Подвижное лицо его, обращенное к воинам, делалось поразительно похожим на старушечье, губы морщились и пришепetyвали. Хохот катился по рядам.

Ты ложись-ка, ложися зерно к зерну, Чтоб скунее было есть мужичонку мому!..

Старуха разглаживала зерна, а ноги плясуна выделывали дробь, будто приколачивая что-то к земле. Веселье росло, ширилось.

Мой мужик-от богатырь, изо всех ли хват, Он и спереду горбат, он и сзади горбат!..

Смех раскатывался по полку, прогоняя усталость. Слова песни передавались со смехом и прибаутками.

Куплеты рождались по вдохновению, все веселее и забористее.

– Уж этот Нечай! Мертвого из могилы подымет побасенками!

И воины бодрее шли вперед, а степь по-прежнему расстилалась вокруг торжественная и пустынная, и так же маячили вдалеке курганы – могилы древних вождей.

Песни Нечая подхватывались, становились достоянием народа.

По вечерам Лука Сердитый привязывался к какому-нибудь парню:

– Эй ты, певун, кто песню выдумал?

– Нам то неведомо.

– Слышь-ка, Нечай, – жаловался краснолицый, белоглазый Лука, – твою песню играет, а что ты ее сложил, ему и невдомек.

– Мне-ка что, – равнодушно отвечал Нечай, поглаживая жиденскую нечесаную бородавку. – Песня – вольная птица! У меня вырвалась, над ней хозяина нет!

– Да ведь переиначивает!

– Не серчай, сват! Может, она краше да складнее станет.

– Я б за такое башку сорвал! – сердился олончанин.

– Ну и дурак!..

За войском тянулись полковые обозы с продовольствием, одеждой, боевым припасом. Но войско шло по изобильным местам и мало нуждалось в снабжении из обоза. Реки и озера на пути кишели рыбой. Ратники закидывали бредни и вытаскивали линей, карасей, окуней... Из Большого полка отличался в рыбной ловле Василий Дубас. Заплывая вглубь и загребая воду одной рукой, он тянул край невода, на который надо было бы поставить человек пять.

В лесах было много оленей, лань, туров. Устроив облаву, стрельцы пронзали дичь острыми стрелами.

Вокруг рати, предчувствуя богатую поживу, рыскали стаи волков, летали орлы и коршуны. Хищные птицы через день-два возвращались к гнездам, волки преследовали войско неотступно.

Глава VIII

Под Казанью

Двенадцатую ночь после выступления из Мурома первый отряд провел на берегу быстрого, полноводного Алатыря. Темниковский князь заранее навел мосты через реку для переправы русского войска.

Горные люди, совсем недавно по доброй воле вошедшие в состав русского государства, честно выполняли свой долг перед вновь обретенной отчиной.

Чуваши-проводники вели московскую рать, выбирая наилучшие дороги. Во время стоянок чувашские женщины приносили русским воинам молоко, мясо, хлеб и сердились, когда им предлагали плату за угощение. А чувашский хлеб был так хорош, что ратникам, долго питавшимся сухарями, он показался вкуснее московских калачей.

К передовому отряду строителей Голована выходили на помощь чувашские плотники, показывали места, где удобнее всего строить мосты и наводить переправы.

Чувашские дружины, вооруженные по преимуществу луками, приходили к воеводам и просили принять их в русское войско для борьбы с общим врагом. Воеводы соглашались с радостью.

Помощь местного населения в далеком, тяжелом походе была очень ценна для московской рати. Ведь будь чуваша врагами, они – умелые воины и искусные стрелки из лука, знавшие массу тайных убежищ в своей полудикой стране, – могли бы нанести русским значительный урон и надолго задержать их продвижение вперед.

3 августа первый отряд дошел до реки Суры. И здесь во время трапезы в царский шатер ввели гонца с радостной вестью:

– Полки Щенятева и других воевод тоже подошли к Суре и ждут царских приказаний.

Царь послал полкам второго отряда распоряжение переправляться через Суру. Встречу назначили на обширном поле за Сурой-рекой.

4 августа, когда полки первого отряда расположились на отдых после переправы, вдали показались облака пыли.

– Наши идут!

Радостные возгласы подняли на ноги лагерь. Приложив щитком руку ко лбу, люди жадно глядели вдаль, стараясь увидеть подходившее войско. Наиболее пылкие побежали навстречу, размахивая руками и крича:

– Берегись, татарин! Наши пришли!

Царю оседлали коня, и он выехал в сопровождении воевод Ромодановского, Плещеева и пышной свиты из рынд, боярских детей и нарядно одетых стрельцов личной стражи. Посреди отряда развевалось распущенное царское знамя.

Несколько гонцов понеслись во весь опор к подходившему войску – оповестить о приближении царя Ивана Васильевича.

Воевода Щенятев и другие начальники, сменив усталых коней на свежих, поспешили навстречу предводителю русского войска.

Два маленьких отряда съехались. Вновь прибывшие, приветствуя царя, спешили и отдали поклоны такие низкие, что пальцами правой руки подняли пыль с иссохшей земли.

На берегу Суры поднялись сотни палаток, запылали костры. В реке стало тесно от тысяч ратников, которые шумно плескались в воде.

11 августа к русскому войску присоединились три полка, вышедшие навстречу из Свияжска. Новое пополнение насчитывало до двадцати тысяч воинов.

Еще день похода – и ратники увидели крутую свияжскую гору и на ней новый город, блиставший на солнце стенами и сторожевыми башнями, еще не побуревшими от зимних вьюг и летнего зноя.

Веселый звон колоколов и пушечная пальба встретили русское воинство у стен русской крепости, возведенной в сердце вражеской страны.

Царь осмотрел стены, склады боевых припасов, прошелся по улицам города, поднимался на башни... Все было сделано добротнo, по-хозяйски.

– Где стала русская нога, тут и стоять ей до веку, – сказал царь, возвращаясь из города в походный шатер на берегу Свияги.

В лагерь прибыли многочисленные купцы с товарами. Гости из Москвы, Ярославля, Нижнего Новгорода и других русских городов, предвидя богатую наживу, прихлынули с обозами в Свияжск. Они знали, что там произойдет сбор русских полков. А пока царь и воеводы будут совещаться, как воевать, что делать ратникам? Одно – пировать! Догадливые купцы навезли огромный запас вина и крепкого меда. На длительный отдых рассчитывали и ратники-дворяне; им слуги доставили из поместий яства и пития.

Но любителям отдыха и пиров пришлось разочароваться. Царь после недолгого совета с приближенными решил выступить под Казань. Дело клонилось к осени, а русские хорошо знали, как неустойчива погода в Среднем Поволжье.

Однако, прежде чем начинать военные действия, царь Иван Васильевич сделал последнюю попытку кончить дело миром.

– Кровь своих воинов проливать понапрасну не хочу, – сказал царь, – за нее мне перед богом ответ держать. Да и татарских людей зря губить не к чему.

В город были посланы мирные грамоты. Шиг-Алей писал новому казанскому хану:

«Славному отпрыску могучего рода Гиреев, астраханскому царевичу Едигеру-Магмету от полновластного хана Казани Шах-Али-хана привет!

Судьба каждого человека от начала мира написана в его книге, но люди, в своей лживой мудрости, склонны нарушать веления рока. Какое безумное ослепление заставляет тебя, гордый Едигер, возомнить себя равным великому московскому падишаху, владения которого не обскать на лихом скакуне за трижды сорок лун, монарху, под знамена которого собираются воины со всех четырех сторон света! Я знаю силы Казани, я знаю, что ей не отразить натиск огромной рати урусов...

Смирись, Едигер! Участь нашего царства, давно предсказанная мудрыми людьми, – стать московским уделом. Без боязни явись в царский стан: государь Иван Васильевич тебя помилует и окажет всяческое благоволение...»

Были отправлены письма к сеиду Кулшерифу, к князьям Исламу и Кебяку и ко многим другим казанским вельможам. Их уверяли, что московский царь желает не гибели их, а раскаяния. И если они изъявят покорность, то им сохранят и жизнь и имущество.

16 августа Волга под Свияжском ожила, покрылась сотнями плотов, лодок – реюшек, бударок, косных. Московское войско переправлялось на луговой берег реки.

Глава IX

Первые дни

Русское войско закончило переправу через Волгу 19 августа. Путь по левому берегу реки до Казани был не длинен, но труден. Татары сожгли мосты через реки, разрушили гати на болотистых местах – дороги приходилось строить снова.

Точно с намерением помешать русским, полили дожди – и продолжались несколько дней подряд. Дороги раскисли, покрылись невылазной грязью, и теперь не отдельные их участки, а все сплошь приходилось мостить бревнами. Русских эта задача не испугала: при множестве рабочих рук, помогавших отряду строителей, ее выполнили быстро.

20 августа Иван Васильевич наконец получил ответ Едигера на предложение сдаться; этот ответ исключал надежду на мирный исход дела.

«У нас все готово! Ждем вас на ратный пир!» – писали казанцы.

Русское войско раскинуло лагерь на широком лугу от Волги до Казани и Булака.

Основатели Казани выбрали хорошее место для города: его поставили на горе, между двух топких, илистых рек – Казанки и Булака. Сливаясь под городской стеной, к западу от Казани, эти две реки да возведенные за ними стены трехсаженной толщины надежно защищали город с трех сторон. Только с четвертой стороны, восточной, с Арского поля, был открытый доступ к городу. Зато здесь стояли семь стен из толстых дубовых бревен, отступя одна от другой на сажень. Промежутки заполнял песок и щебень. Получилась одна стена огромной толщины и прочности. А у ее подножия проходил глубокий ров.

При взгляде на могучие укрепления Казани становилось ясно, что здесь лихим наскоком не возьмешь, что потребуется продолжительная осада.

– Дело предстоит трудное, бояре! – сказал царь Иван воеводам.

Вечером того же дня у стен Казани поднялся сильный шум, слышны были выстрелы. Крики сражающихся разносились далеко в вечернем воздухе. Из свалки вырвалось несколько верховых; дико настегивая коней, они скакали к нашим передовым постам.

– Али на нас скачут татары? – спросил Василий Дубас, обращаясь к старшему в дозоре Луке Сердитому, и на всякий случай приготовил дубину.

– Не трожь! – унял парня Лука. – Разве не видишь – перебежчики!

Подскакав к русским, передний татарин, низенький, с морщинистым лицом, на котором горели живые черные глаза, закричал по-русски:

– Эй, казак, не стреляй! Мы к вашему царю бежим!

Главарем перебежчиков оказался Камай-мурза.

Его отвели в царский шатер. Распластавшись на полу, татарин повел рассказ. Он хотел вывести из Казани сотни две сторонников. Камаю удалось пробиться за стену, но тут пришлось выдержать схватку с отрядом, охранявшим ворота снаружи.

– Вот и прибежал к тебе сам-восьмой, государь! – закончил Камай-мурза, снял тубетейку и вытер с бритой головы крупные капли пота.

– Повезло тебе, нехристь! – проворчал князь Воротынский, не любивший татар, даже сторонников Москвы.

– За службу я тебя, Камай, не оставлю, – молвил царь, и перебежчик радостно встрепенулся. – Рассказывай, как у вас, в Казани?

– В Казани черному народу неохота воевать, да сказать о том страшно. Кто слово молвит супротив войны, тому кинжал в бок! Вот и притворяются люди, что злы на Русь. Русь за стенами, а гиреевцы рядом... Ну, и муллы тоже – райские сады сулят, кто за веру сгинет...

– Запасов в Казани много?

– Много, много, государь! Пороху наготовили в достатке, есть и пушки и пищали... И еще одно тайное дело открою, как верный слуга твой, государь: оберегай свое войско, на него засада спрятана...

Камай рассказал, что знаток военного дела хан Едигер не запер все войско в городских стенах. В окрестных лесах укрылась сильная рать – тридцать тысяч отборных воинов под предводительством храброго батыра князя Япанчи. Эта рать будет нападать на русских с тыла, беспокоить налетами и, не принимая решительного боя, наносить короткие, но сильные удары.

Царь отпустил Камая и тотчас собрал воевод.

С общего приговора установили расположение войск вокруг осажденной Казани.

Дружина царя осталась на Царевом лугу, близ Булака, вытекающего из озера Кабан. Севернее стал Сторожевой полк воеводы Василия Серебряного, а еще дальше, при слиянии Булака с Казанкой, – полклевой Руки с воеводой Плещеевым. Князь Ромодановский с Запасным полком расположился за тинистым Булаком, на левом его берегу. Хан Шиг-Алей с касимовскими и темниковскими татарами занял берег озера Кабан. Все эти силы преграждали казанцам путь к Волге, на запад.

С востока стал на обширном Арском поле Большой полк Воротынского и Ертоульный полк Троекурова.

С севера сторожил город полк Правой Руки Андрея Курбского и Петра Щенятева.

Город обложили надежно – трудно было в него и одиночке пробраться; а о приходе подкреплений нечего и думать.

За долгие дни похода царь Иван Васильевич основательно обдумал план осады. Вести дело по старинке молодой полководец не хотел. Он твердо решил, что не уйдет из-под Казани без победы.

Ворота: 1 – Муралеевы; 2 – Елабугины; 3 – Збойлевы; 4 – Кайбацкие; 5 – Арские; 6 – Царевы; 7 – Ногайские; 8 – Крымские; 9 – Аталыковы; 10 – Тюменские.

Воеводы получили приказ: каждый воин должен приготовить бревно для тына – защищаться от вражеских стрел и пуль. Каждый десяток обязан сплести туру – передвижное укрепление из хвороста, наполненное землей.

Воеводы поживались, выслушивая распоряжения, сулившие много хлопот. Но царь удивил их еще больше. Он ввел новый порядок боя: ни один воин не должен бросаться на врага без воеводского приказа и ни один воевода не смеет поднимать полк без царского повеления. Таким приказом Иван Васильевич положил конец беспорядку прежних войн, когда каждый воевода делал в битве что хотел.

* * *

В одну из ночей разразился ураган. Царский, крытый серебряной парчой шатер сорвало и унесло невесть куда. На Волге свирепые валы затопляли берега, крушили лодки с хлебными и огнестрельными припасами и многие из них потопили.

Робкие потеряли голову и подумывали об отступлении. Нашлись злопыхатели, предвещавшие еще более страшные бедствия.

– Погубят нас казанцы злым чарованьем! Уж и стихии ополчились на воинство русское! Сие еще милостиво, что только ветер, и гроза, и молонья! А скоро низведут на нас бесовские силы глад, и мор, и трус, и останутся кости русские в незнаемой басурманской глуши...

В числе воевод, советовавших царю уйти из-под Казани, хотя осада продолжалась всего три дня, оказался и Курбский.

Потомок ярославских князей, богатейший вельможа древнего рода, Андрей Курбский люто ненавидел царя Ивана. Московские князья представлялись ему похитителями той власти над государством, которая, по мнению Курбского, должна была принадлежать ярославским князьям. Но свою ненависть Курбский глубоко

прятал под личиной дружбы, и все те злобные и желчные слова, которые хотел бы князь Андрей бросить в лицо царю, до поры до времени таились на страницах его дневника. Они стали известны много лет спустя, когда Курбский изменил родине и сбежал к врагам, в Литву.

Пока Курбский довольствовался тем, что давал Ивану советы, исполнение которых повредило бы планам и намерениям Ивана Васильевича.

Явившись к царю утром после бури, Курбский нарисовал ему такую ужасную картину бедствий, которые якобы ожидают русское войско под Казанью, что Иван Васильевич, сначала слушавший воеводу со вниманием, невольно рассмеялся:

– Эх, бедняга, как тебя ночная буря перепугала! Что ж, ежели так страшно тебе оставаться под Казанью, езжай на Русь, в свои поместья, я тебя здесь держать не буду. И чтоб тебя, сохрани боже, дорогой кто не обидел, крепкую охрану дам, – ядовито добавил царь.

Лицо князя Андрея побагровело от стыда и сдержанной ярости.

– Я это не к тому говорю, государь, – дрожащим голосом сказал Курбский, – что за себя боюсь: я твою драгоценную особу хочу предохранить от несчастья.

– Ты о моей драгоценной особе не беспокойся, – насмешливо возразил Иван Васильевич, – я о ней сам пекусь сколько подобает.

Курбский всегда вспоминал об этом разговоре с чувством унижения и бессильного гнева. Не забыл о нем и Иван, и когда он впоследствии отвечал Курбскому на его широковещательные эпистолии, присылаемые из Литвы, он гневно напоминал князю о его малодушии под Казанью.

Отвергнув советы прекратить осаду, царь Иван решил действовать твердо. Послал в Свияжск и в Москву за новым припасом, а сам находился при войске неотлучно и теснил татар все крепче.

* * *

Первые дни осады прошли в пробе сил. 23 августа татары устроили вылазку большими силами – до пятнадцати тысяч воинов выбежали из Крымских, Аталыковых, Тюменских ворот. Они напали на семитысячный отряд русских стрельцов и казаков, которые огибали город, направляясь на Арское поле.

Завязалась упорная сеча. Двойное превосходство татар не помогло им. Стрельцы и казаки многих татар побили, несколько сот взяли в плен. Остальные бежали.

С этого времени дня не проходило без жестоких боев.

Татары выходили из города крупными силами и старались отеснить русских подальше от стен Казани. Воины Япанчи беспокоили царскую рать частыми набегами с тыла, как и предупреждал Камай-мурза. Внезапно вылетев из леса, татары нападали на русские заставы, рубили людей, старались наделать переполоху. Всадники Япанчи истребляли отряды, посылаемые в окрестность за продовольствием и сеном. Но, как только против них выступал целый полк, они поворачивали маленьких быстрых лошадок и скрывались в непролазных чащах за Арским полем, где им ведомы были тайные тропы и поляны.

Осаждающие, несмотря на татарские вылазки, продвигались ближе и ближе к городу, ставили высокие тыны, перекачивали туры и тарасы. Но с отрядом Япанчи надо было покончить: слишком вредил он русскому войску.

Глава X

Битва на Арском поле

Арское поле, окаймленное лесами и рощами, расстилалось на восток от Казани.

Близ Казанки-реки, в обширной роще, затаился отряд воеводы Юрия Ивановича Шемякина – конница, пешие стрельцы, мордва.

На совете воевод решили устроить Японче ловушку. На воеводу Горбатого-Шуйского возложили задачу вступить в бой и, притворно отступая, заманить татар, чтобы спрятанный в лесу отряд Шемякина мог отрезать им отступление.

Пехота расположилась на опушке. Всадники прятались дальше; стоя около коней, они готовы были по сигналу вскочить в седла.

На дубу устроился дозорный: он смотрел то на обширное поле, то в сторону города.

Ветер налетел порывом, зашелестел листвой. Воины испуганно привскочили – им показалось, что подана тревога. Но все было спокойно.

Стрельцы говорили о страшном утомлении, о бессонных ночах, о плохой пище... Они не жаловались на тяготы осады, но всем хотелось, чтобы она кончилась поскорее.

Вдруг донесся крик дозорного:

– Вышли татары! Вышли!.. С нашими бьются!..

Все пришло в движение. Пешие стали в ряды, конница готовилась вылететь из леса. Нетерпеливое ожидание овладело всеми. Иной без нужды сгибал и разгибал лук, другой зачем-то пересчитывал стрелы, третьему занудилось чистить саблю, и он втыкал ее в землю у своих ног.

– Ну, что там? Как? Да говори же! – неслись к дозорному взволнованные голоса.

А он время от времени кричал:

– Бьются!.. Отступают наши!.. Остановились... Снова отходят!..

И вдруг раздался дикий, отчаянный рев его:

– Побежали! Наши побежали!

Отступление русских было притворное, и это знали сидевшие в засаде. И тем не менее им казалось, что на Арском поле происходит непоправимое, что наши гибнут под натиском татарского войска.

Все рвались в бой: и начальные люди и простые ратники. Но воевода Шемякин, опытный воин, сдерживал общее нетерпение.

– Спешить невозможно, надобно выждать! – говорил он. – В тыл ударить нехристям, чтоб ни один не ушел!

И время настало.

В лесу запели боевые трубы. Таким неожиданным и непонятным был этот звук, что в первые мгновения конники Япончи ничего не поняли. Но недолго им пришлось теряться в догадках.

Сотня за сотней вылетали русские всадники из леса; на поднятых саблях искрилось солнце, грозно колыхались копыта. Лошади неслись бешено, из-под копыт вылетали комки грязи и ударяли в разгоряченные, красные лица воинов...

За конницей скорым шагом двигались пешие колонны; плотными рядами, плечом к плечу, спешили они на поле боя.

Крик огласил поле: русские полки вызывали врага на бой. Им ответил дикий рев татарского войска. Равнина была наполнена конниками Япончи, которые в неудержимом порыве еще продолжали преследовать полк Горбатого.

Появление русских из засады изменило картину боя. Задние ряды татар сделали поворот и бросились навстречу шемякинской коннице.

Воевода Шемякин скакал впереди своих рядов; стальная броня и высокий шлем со спущенным забралом защищали его от неприятельских стрел. Рядом с ним держался богатырь-телохранитель, готовый защитить воеводу в опасную минуту.

– Как куроптей, накроем сетью! – громовым голосом прокричал телохранитель.

Из-под спущенного забрала скорее уловил, чем услышал ответ:

– Их голыми руками не возьмешь!

Ряды противников сближались быстро. Ветер свистел в ушах скакавших всадников. Ободряя своих, перед татарскими полками неслись сотники и пятидесятники. До русских доносился гортанный боевой клич на самых высоких нотах, какие доступны человеческому голосу.

Поднимая коней на дыбы, сшиблись с треском и грохотом. Стук мечей, бердышей, удары щитов о щиты, храп лошадей, крики и стоны...

Воины, сбитые с коней, поражали стрелами неприятельских всадников и лошадей.

Полки Горбатого-Шуйского прекратили притворное бегство и повернулись лицом к противнику. Татары оказались в кольце. Теперь только не дать врагу прорваться и спастись в лесах!

Воины Япанчи поняли опасность, однако не растерялись. Яростно набрасывались они на русских. Но кому удавалось пробиться сквозь цепь конников, тот наталкивался на пехоту, встречавшую татар ливнем стрел. Всадники валились с седел, кони с диким ржаньем носились по полю, увеличивая сумятицу боя.

Силач Филимон и казак Ничипор Пройдисвит рубились рядом, плечо к плечу, стремя в стремя. Филимон рубил татар тяжелым бердышом. Кто увертывался, того настигала сабля Ничипора. Они вдвоем рассекали татарские ряды, расчищая дорогу русским ратникам.

Великан – хранитель Шемякина – в сумятице боя потерял воеводу. С победным кличем: «Жива Русь, жива душа моя!» – он рассыпал удары направо и налево.

Япанча метался по полю сражения, пытаясь навести порядок среди своих смятенных полков.

Телохранитель воеводы налетел на Япанчу с огромным мечом, поднятым над головой.

– Алла, алла! – Япанча с гортанным визгом нанес противнику страшный удар ятаганом.

Татарский ятаган налетел на русскую закаленную сталь и со звоном разлетелся...

Гибель Япанчи довершила расстройство татар. Их охватил страх. Они не держали уже боевого строя и только старались прорваться сквозь русские полки. Не многим удалось достигнуть лесной чащи – почти все погибли под ударами мечей, от стрел и пуль.

Истомленные, перепуганные татары бросали оружие и сдавались. Среди порубленных татар мало было крашенных бород. Пытать боевое счастье с Япанчой вышла в поле молодежь. Эта молодежь лежала на широком поле с разрубленными головами, со стрелами в груди, в боку...

Набегам Япанчи пришел конец. Из многих тысяч татарского войска, погнавшихся за полком Горбатого, осталось триста сорок человек, сдавшихся в плен.

Не дешево и русским обошлась победа. Память об Арской битве сохранила песня:

Казань-град на горе стоит, Казаночка-речка кровава течет. Мелки ключики – горючи слезы, По лугам-лугам – всё волосы, По крутым горам – всё головы Молодецкие, всё стрелецкие...

Глава XI

Никита Булат в тюрьме

После разгрома Япанчи положение осажденной Казани сильно ухудшилось. Конники Япанчи уже не налетали на русских с тыла. Зато усилился отпор татарского войска, засевшего в городе.

Татары делали ожесточенные вылазки большими силами, вступали с московскими стрельцами и казаками в рукопашный бой. Отбитые, они скрывались ненадолго и появлялись, подкрепленные новыми бойцами.

Русские пушки беспрестанно били по городским стенам и воротам; огонь стрелецких пищалей не давал татарам сосредоточиться на стенах.

Голоса человеческого не слышно было от грома пушек, от треска пищалей. Ратники передавали приказания воевод знаками или кричали, приложив губы к уху товарища.

Наконец татарское сопротивление ослабело. Боярские дети, казаки и стрельцы заняли рвы и продолжали усиленную стрельбу по стенам из луков и пищалей.

Михайло Воротынский утвердил туры на расстоянии всего пятидесяти саженей от городских стен.

За турами и во рвах – повсюду прятались от обстрела русские воины. На стенах лежали татарские лучники и стрелки из пищалей. Противники зорко следили друг за другом, и только ночь давала московским ратникам возможность сменять посты.

* * *

Разорив посады и укрепившись под самыми стенами, русские продолжали бить по городу из тяжелых пушек.

Стены терпели малый ущерб; зато ядра, перебрасываемые через стены, разрушали и поджигали дома. Дым от пожаров носился тучами, застилая солнце, не давая защитникам города свободно дышать.

От русского обстрела больше всего страдали укрывшиеся в городе жители посадов и ближайших сел. Перед приходом русского войска хан Едигер разослал по окрестностям Казани землю и воду. Это означало, что отказавшиеся воевать с русскими будут лишены и земли и воды. Не осмеливаясь противиться приказу, на зов Едигера явились тысячи татар, марийцев, арских чувашей. Они раскинули войлочные кибитки на каждом свободном клочке земли. Около кибиток задымилась, запахла едким кизяком костры, закопошились полуголые бронзовые ребятишки. В тесном городе стало еще теснее. Меднобородые домовладельцы приходили к кадиям и муллам жаловаться на пришельцев:

– Лазают по садам, яблоки обобрали, деревья на дрова рубят!

– Терпите, – отвечали кадии. – Это защитники города.

Теперь этим защитникам приходилось тяжело. Каленые русские ядра зажигали их легкие жилища. Лишенные крова пытались ворваться в дома богачей, но привратники их прогоняли. Погибающая от голода и холода беднота с радостью покинула бы город, если бы это было возможно.

* * *

Хатыча явилась в каморку Булата посланной от Джафара-мирзы. Старый зодчий стоял перед ней маленький, истощавший. Но синие глаза по-прежнему смотрели решительно.

Хатыча уговаривала старика:

– Образумься! Али тебе жизнь не мила? Сгинешь за упорство!

– Сгину, а своих не выдам!

– Эх, Никита, досупротивничаешь до беды! Царю Ивану Казань не взять, уйдет восвосяси...

– Того не будет! – гневно вскричал Булат. – Поди прочь, змея!

Никиту вызвал управитель. Маленький горбун набросился на старика:

– Проклятый раб! Осмеливаешься противиться приказу самого Музафара-муллы!

Джафар ударил Никиту по лицу. Старик покачнулся:

– Смерти не боюсь!

– Врешь, хитрый старик! Убивать не стану, нам знающий строитель нужен. Мы тебя заставим работать!

– Несбыточное дело! – твердо возразил Булат – Противу своих не пойду!

– В зиндан его!

Никиту, избитого, бросили в подземную тюрьму. Сторожить поставили кривого чуваша Ахвана.

Вечером к зиндану пробралась Дуня. Худощавый, обтрепанный Ахван зашептал сердито:

– Эй, девка, зачем пришла? Мне из-за тебя голову долой!

Дуня протянула Ахвану монетку. Чуваш отрицательно покачал головой:

– Ай-ай, щедрая девка, знаешь, чем бедного невольника убогатить? Только я у тебя деньги не возьму. Говори скорее: что надо?

Девушка быстро заговорила:

– Я знаю, тебе приказано дедыньку бить и голодом морить. А ты не бей... и вот... отдашь ему! – Она сунула Ахвану узелок с едой.

– Ой-ой! – сморщился сторож. – Узнает Джафар-мирза...

– А как он узнает? Ты скажешь, или я скажу, или дедушка скажет?

– Хо-хо! Хитрая девка!.. Наверно, догадалась, что я татарам подневольный слуга...

На гнилую солому к ногам Никиты упал узелок с хлебом и сушеными фруктами. Удивленный пленник посмотрел вверх. Оттуда сверкал единственный глаз Ахвана.

– Ешь, внучка принесла! Платок спрячь...

Управитель часто навещался в темницу.

– Поддается урус? – спрашивал он Ахвана.

– Нет, мирза. Старик, как камень, крепкий. Я его бил-бил, руки отколотил!

– Голодом моришь?

– Морю, мирза! Даю хлеба, сколько ты приказал: одну крошку. Может, совсем не давать?

– Тогда сдохнет! Я его переупрямлю: пойдет к нам стены крепить!

Иногда управитель сам спускался в подвал, хлестал Никиту плетью; тот молчал, стиснув зубы. Разозленный Джафар убежал, а чуваш, ухмыляясь, мазал раны старика бараньим салом.

Когда Дуня, улучив время, прибежала к Булату, он говорил скорбно:

– Ох, дочка, наживешь со мной беды! Лих, все наши дела откроются – плохо тебе придется.

– Ничего, дедынька! Я проворная, я тут все уголки знаю. Спрячусь!

– Уходи, уходи, девка! – вмешивался кривой Ахван. – Оно хоть и все в руках аллаха, но и божьему терпению бывает конец.

Дни проходили за днями, а тюрьма не могла сломить упорства Булата. Он был крепок, как сталь, имя которой носил Никита.

Глава XII

Тайник

Русские отрезали татарам доступ к речке Казанке, но те не терпели недостатка в воде.

Осаждающим удалось узнать от перебежчиков, что в левом берегу Казанки выкопан тайник: каменный свод над родником, вытекающим из ската горы и впадающим в речку. К роднику вел под городской стеной подземный ход из Муралеевой башни.

Царь, обрадованный важным известием, приказал подрываться под тайник и взорвать его.

Выродков призвал начальника строителей Голована и приказал:

– Будешь подкапываться под водяной тайник. Нам каждый день и час дорог. Наказ тебе, Андрей, один: людей бери сколько хочешь, а работу сделать быстро!

Осматривать местность пошли трое: Голован, Аким Груздь и казак Филимон, накануне лишившийся коня в битве с Япончой.

Андрей шел и смотрел на волосатое разбойничье лицо Филимона: в нем чудилось что-то знакомое. У Голована была необыкновенная память художника на лица: кого он хоть раз видел, никогда не забывал.

Перебирая воспоминания, Голован радостно вздрогнул: перед его глазами встал жаркий день, тополевыи пух, как снег летящий в воздухе, черное воронье над облезлыми луковками церковей Спасо-Мирожского монастыря и два монаха, поносящие друг друга скверными словами...

– Отец Ферапонт! – крикнул он внезапно.

– Ась? – испуганно отозвался казак, потом опомнился: – Это ты мне? Меня Филимоном кличут.

Голован насмешливо улыбнулся:

– Забыл отца Паисия, кружку, из коей серебро пропало?

Беглый монах зашептал умоляюще:

– Молчи! Меня в монастырь упрячут! А мне охота с неверными подраться...

– Не выдам. Как в войско попал?

– Долгая песня, – пробурчал мужик. – Как сбег я из чернецов, пришлось разное испытать... Дивлюсь, как признал меня?

– Я с каменщиками был, когда тебя собирались на чепь посадить.

– Ну и память! Ты, сделай милость, кличь, как все, Филимоном. Меня так до монашества звали... А ты, добрый человек, – поклонился он Акиму, – тоже попридержи язык.

– Мне болтать не к чему, – отозвался Груздь.

За разговорами подошли к месту, где находился под землей водяной тайник. Голован убедился, что удобнее начинать подкоп из каменного здания, занятого казаками. Это была торговая баня.

– Из мыльни начнем подкоп, – доложил строитель Выродкову. – Земля окрест размокла от непрерывного тока воды из мыльни. Изнутри станем копать, а землю выносить через задние двери. Со стен не видно будет.

Иван Григорьевич Выродков одобрил предложение Голована, и работа началась. Десятки полуголых людей работали и днем и ночью, сменяя друг друга по четыре раза в сутки. Землю раскидывали по ночам, и татарские дозорные ничего не подозревали. Доски и бревна для крепления подкопа подносили тоже по ночам и прятали в здании бани.

3 сентября Голован доложил Выродкову, что работа окончена. По царскому приказу, князь Василий Серебряный отправился проверить донесение.

Тучный князь, пыхтя от усилий, спустился в подкоп. Дорогую шубу испачкал о грязные подпорки.

– Оставил бы шубу наверху, князь, – посоветовал Голован.

– Мне без шубы ходить по моему сану не пристало, – отвечал с досадой князь. – И ты об моих шубах не тужи – у меня их привезено достаточно!

– Воля твоя, боярин!

Филимон и Аким, светившие князю факелами, насмешливо переглянулись.

Над головой послышались шум и тарактенье.

– Что это? – громко спросил Серебряный.

– Тише, князь! Это татары везут воду на таратайках.

Все прислушались. Сверху доносились неясные звуки голосов, Боярин и его спутники повернули обратно. В подкоп было заложено одиннадцать бочек пороха.

* * *

В ночь на 4 сентября за мыльней и в самом здании спрятались отряды стрельцов и казаков. На рассвете осмотрели оружие, подготовились к бою.

Князь Василий Серебряный принял из рук Голована огонь, поджег бечевку, натертую порохом, и синяя змейка, извиваясь, побежала внутрь подкопа.

– Выбегайте из мыльни! – закричал Голован/

Тесня друг друга, бросились к выходу.

Едва успели укрыться в безопасном месте, как взрыв потряс воздух. На месте, где кончался подкоп, взвился огромный столб из земли, камней, бревен... Глазам изумленных русских представилась лошадь, вместе с водовозкой выброшенная силой взрыва и бившая по воздуху ногами.

От Муралеевой башни отвалился громадный кусок и с шумом ударился о землю. Из города донесся вой: множество татар погибли от камней и бревен, валившихся на них с высоты.

Еще пыль не улеглась, еще не опомнились казанцы от внезапного страха, как русские пошли на приступ. Стреляя из луков, они ворвались в пролом, смяли защитников стены и пошли по улицам, вглубь города. Навстречу им спешили толпы воинов Едигера. Их вел суровый Кебяк. Закипела битва...

Русские отошли: решительный штурм города не входил в их намерения.

Казань лишилась питьевой воды. Только в ханском дворце, в саду у Кулшерифа-муллы и в усадьбах немногих вельмож имелись колодцы с доброкачественной водой, но они были не для бедноты. Жажда и заразные болезни валили простой народ сотнями.

Кулшериф-мулла от немногих оставшихся ему верными слуг узнавал о страданиях и лишениях казанцев. Сеид давно уже считал сопротивление бесполезным; он понимал, что Казань обречена, а сотни и тысячи человеческих жертв напрасны.

Кулшериф-мулла отправился к хану Едигеру и долго говорил с ним наедине. Содержание разговора осталось втайне, но любопытные придворные заметили, что первосвященник вышел от Едигера необычайно мрачный, с судорожно подергивающимся лицом. И сейчас же вслед за этим хан вызвал Музафара-муллу.

Совещание Едигера с сыном сеида было продолжительным, и когда Музафар покидал дворец, его глаза горели скрытым торжеством.

Предсказатели, в которых нет недостатка при любом дворе, шушукались втихомолку:

– Произойдут важные перемены!

И перемены действительно произошли.

Возвратившись во дворец, Музафар-мулла вызвал управителя. Достав из тайника флакон с ядом, Музафар показал его Джафару-мирзе:

– Знаешь ли, что это такое?

– Знаю, эфенди!

Безобразное лицо горбуна искривилось наглой усмешкой, и он достал из складок одежды точно такой же флакон, а на его пальце появился дорогой перстень с таинственными знаками – печать, дающая право писать тайные послания турецкому султану.

– Так это ты должен был стать моим палачом, если бы я не выполнил повелений Солимана? – с невольной дрожью в голосе воскликнул Музафар-мулла.

– Я, эфенди!.. Но, как видишь, до этого дело не дошло, и я понимаю, что мы должны выполнить иной приговор...

– Ты не ошибся... – Музафар низко опустил голову.

Через неделю народу было объявлено, что волею всемогущего аллаха Кулшериф-мулла скончался и на первосвященнический престол вступил его сын Музафар-мулла. Осада города помешала отметить это важное событие торжественными праздниками и пирами, как это было в обычае.

Глава XIII

Ночной поиск

Непогожая осень выдалась в год похода на Казань.

Сентябрь подходил к концу, сея проливными дождями, одевая землю туманами, пронзительно дыша холодными ветрами, прилетавшими из северных пустынь. Русским ратникам негде было обогреться, обсушиться, по неделям ходили они в мокрой одежде...

Спускался вечер. Серые клочья тумана бродили над болотами. Под стенами города не было такого многолюдства, как днем. Царь Иван ввел в войске новшество: чтобы уменьшить потери от неприятельского огня, он оставлял у города самое необходимое число ратников, а остальных отводили в безопасные места.

Головы и начальники расставили ночную стражу, отдали строгий приказ:

– Стоять смирнехонько, песен не орать, на кулачки не биться, зерню не играть!

У костра сидели Нечай, Демид Жук и их товарищи. Все они уцелели в боях, только Луке Сердитому стрела поцарапала руку, когда он увлекся перебранкой с татарами и вылез из-за прикрытия. К их кружку примкнул еще украинец Ничипор Пройдисвит: в коннице не было надобности, и сотни временно слили с пешими ратниками.

Чубатый Ничипор расположился у маленького костра. Его высокая барашковая шапка валялась в стороне; казак зашивал разодранные шаровары.

Нечай с Жуком начали устраиваться на ночлег.

– Эх, и соскучился я по избяному теплу! – бормотал Нечай. – Еще ладно, что сплю на рядне, покрываюсь рядном, под головой рядно...

Дубас простодушно спросил:

– Где ты столько набрал? Дай хоть одно!

Нечай рассмеялся:

– Да у нас и всего-то одно!.. Ладно, парень, лезь к нам, теплее будет.

Из темноты вынырнул Лука Сердитый, ходивший проверять дозоры.

– У нас еще не повалились? – спросил он.

– Укладываемся, – отвечал за всех Нечай.

Подошел стрелецкий голова:

– Ложитесь? Добро: сосните до полуночи. Вам отдохнуть надобно – сею ночью пойдете татаришек пошарить.

– Оце гарно! – восхитился Ничипор, накладывая последние стежки на свои широкие штаны.

Через час после полуночи стрельцы закопошились: шли сборы. Голова давал Луке Сердитому последние наказы:

– Гляди, чтоб у тебя ходили круче! Языка как хотите, а должны приволочь!

– Достанем! – отвечал олончанин, польщенный, что его назначили старшим. – Нельзя только на небо влезть... А где у меня Нечай?

– Стою перед тобой, как лист перед травой! – откликнулся из темноты Нечай.

– Кто из вас пойдет со мной: ты али Жук?

– Обоё пойдём!

– Не возьму обоих: шум подымете. Забыл, как позапрошлую ночь, на дозоре стоючи, до того раскричались, что весь стан взбудили и за то отодраны были нещадно?

– Так то ж не я!

– А кто?

– Да всё Демид! Ему слово, а он два! Ему два, а он десять!

– Хо-о-хо! Это Демид-то десять?

Нечай понял, что хватил через край.

– Лука! Возьми обоих: мы друг без дружки никуда!

Белоглазый Лука смягчился:

– Ладно... Только чтобы ни гу-гу! Мне за вас ответ держать... Дубаса взбудили?

– Здесь Дубас! – отозвался парень.

– Все готовы? – спросил голова.

– У нас сборы короткие, – ответил Лука.

– В путь! Держитесь опасно, а мы, ежели что, грянем на подмогу! – Голова шепнул Луке тайное слово для обратного прохода.

Ратники разобрали вооружение: топоры, рогатины, кистени. Василий Дубас, считая обычное оружие пустяком, раздобыл толстый дубовый кол.

Лука вел отряд по узким деревянным мосткам, остальные ступали за ним след в след: кто срывался – увязал выше колен в липкую грязь. Мостки для пешеходов пролегали по русскому стану во всех направлениях.

Миновали последнюю цепь дозорных; дальше шла полоса, простреливаемая днем со стен. Мостки кончились, идти стало труднее, грязь захватывала ноги и чавкала, когда их вытаскивали. Звук казался разведчикам настолько громким, что они удивлялись, как его не слышат татары.

Русские знали: у внешнего края крепостных стен казанцы установили тарасы – огромные ящики, наполненные землей. За тарасами скрывались от русских пуль и стрел татарские передовые посты. Пощупать такой пост и направлялись разведчики. Впереди шел остроглазый паренек, зорко присматриваясь к кочкам и буграм. Враг скрывался поблизости.

Шли десять или пятнадцать минут, но воинам казалось, что время остановилось, что бредут они без конца, с усилием освобождая ноги из липкой грязи и смутно различая идущих рядом.

– Алла, алла! – раздались неистовые крики.

Татарский караул!

– Бей без жалости! – свирепо рявкнул голосистый Лука.

Закипел ожесточенный бой. Темнота не долго скрывала сражающихся. Казанцы, не охотники до боя во мраке, повсюду расставили бочонки со смолой; около них держались караульные с горящими фитилями.

Ослепительно яркий после тьмы вспыхнул желтый огонь. Враги увидели друг друга. Численность отрядов была почти равной, но из приотворенных ворот бежали татары, ободряя своих дикими воплями.

Самый молодой ратник лежал на земле с разрубленным плечом. Шапка свалилась с парня, русые кудри разметались по грязной земле. Один из воинов душил руками коренастого татарина с побагровевшим лицом. Ничипор Пройдисвит прыгал туда и сюда; в его руках играла сабля, и после каждого взмаха валился татарин.

Василий Дубас крушил неприятелей огромным колом. Лука Сердитый, Демид Жук и Нечай перли с рогатинами, как на медведя...

Бой был недолог, и победа клонилась на сторону наших, но к татарам приближалась подмога. Где-то и русские трубы играли, но ждать своих скоро не приходилось. Краснолицый Лука, приклонясь к земле, подкрался к Дубасу, дернул за полу.

– Назад побежим – татарина ухвати!

– Живого?

– Живого!

Дубас свистнул дубиной над головой ближайшего противника – татарин присел от ужаса. Василий схватил его за руку, вырвал клынок, перевалил пленника через плечо, как куль. Тот взвыл, но Ничипор кольнул его саблей:

– Замолчь, бисов сын!

Русские отступали. Седой ратник с усилием волок раненого сына; к нему подоспели на помощь другие. Демид Жук, олончанин Лука, казак Ничипор, Нечай и еще несколько ратников, пятась, сдерживали напирających татар. Свистели татарские стрелы, но огонь догорал, тьма снова крыла землю... Жука стрела ударила в грудь, но в его шубе была вшита железная пластина, и стрела отскочила. Еще двое были ранены, прежде чем стрелы перестали достигать отходящих.

Погоня отстала.

Двое стрельцов остались лежать под стенами крепости, несколько раненых тащились с помощью товарищей. Татары потеряли втрое больше.

– Кто там? – раздался голос из тьмы.

– Эвоя! – язвительно отозвался Лука. – Своих не спознал?

– Тайное слово говори!

– Дай поближе подойти! Что я, заору тебе на весь белый свет? – Сердитый подошел к дозорному, молвил тихо: – «Меч государев!»

– Проходи!

Шли к лагерю, гордые успехом.

– Васька, спусти татарина!

– Зачем?

– Да ведь тяжело тащить!

– Еще одного давай, и то снесу!

Голова и оставшиеся товарищи встретили своих радостно. Пожалели погибших, но на войне горевать некогда. Всеобщее внимание обратилось на пленника. Хорошо одетому татарину в чужом стане было не по себе, он оглядывался со страхом и ждал смерти.

– Молодцы, молодцы! – радостно говорил голова. – Скоро обернули дело – и часу не промешкали. А ты, – обратился он к пленнику по-татарски, – думаешь, тебе башку снимем?

– На все воля аллаха...

– Так вот, друг: коли полезен будешь, башка твоя на плечах останется. Утром отведем тебя к воеводе. Спи, коли можешь.

Скоро в русском стане водворилась тишина.

Так проходили боевые ночи под Казанью.

Глава XIV

Никита Булат у Едигера

Ветры с севера приволакивали снежные тучи. По ночам морозило, лужи покрывались коркой льда. Утром белый иней устилал землю, деревья, палатки, землянки и шалаши воинов, богатый царский шатер, крытый дорогой парчой.

Предводители мятежных казанцев ждали прихода зимы с надеждой, понимая, что Казань не выдержит долгой осады. Народ роптал: люди погибали от голода и дурной воды во множестве.

Муллы призывали народ к терпению и напоминали верующим:

– В рамазан не едят же по целым дням!

– Зато ночью едят! – возражали раздраженные слушатели.

– Ночью спать надо, а не есть! – вывертывались хитрые муллы. – А кто терпеть не хочет, ступайте к урусам: там с вас с живых кожу сдерут – боярские седла обтягивать!

Но в народе шел слух, что урусы обращаются с перебежчиками совсем не так сурово, как твердят муллы и беки. Русские старались доказать это осажденным. Пленников выпускали под самые стены, и они бодро орали:

– Эй, люди! Сдавайтесь московскому царю! Он справедливый, он щедрый, пленных не бьет, хорошо кормит!

Со стен отвечали:

- Уходите, собаки, изменники! Стрелять будем!
- Урусы не побили, а вы бить собираетесь?
- Голова предателя не должна оставаться на его плечах!
- Снимите, если можете!..

Камай-мурза часто появлялся под стенами и тоже уговаривал сложить оружие, обещая милость русского царя.

– Этот Камай, должно быть, заговорен, – завистливо твердили голодные казанцы: – его и стрелы не берут. Молодец, вовремя к урусам убежал!

- Краснобородым хорошо, – летал шепюк: – они запасли еду.
- И запасасть нечего: у них во дворах живой махан ржет...
- Махан!.. У-уй... – Собеседники облизывали пересохшие губы.

* * *

Нишану Джафару-мирзе пришла хитрая, как ему показалось, мысль. Никита Булат не соглашался работать на татар – значит, надо использовать его по-другому.

Джафар-мирза приказал привести Никиту из тюрьмы. Булат явился в сопровождении Ахвана, изнеможенный, страшно похудевший, но по-прежнему крепкий духом.

– Держишься, старик? – удивился управитель и неожиданно добавил: – На волю хочешь?

- Кто же отказывается от воли!
- Мы тебя отпустим.
- Из тюрьмы освободите? – спросил Булат.
- Из Казани выпустим, к своим пойдешь!
- Наверно, неспроста такая милость?

Джафар-мирза понял не сразу:

– Что ты сказал, старик?.. А, ты хочешь знать, что должен за это сделать? Немного. Ты хоть и в зиндане, а знаешь, что ваши город взять не могут. И никогда не возьмут: только новые тысячи и тысячи трупов уложат под нашими стенами. А зачем? Жизнь человека – дар аллаха, и бесцельно отдавать ее – грех...

– Сладко поешь, – не удержался Никита. – Не верится мне, что тебе русских жалко стало!

Джафар-мирза продолжал, не слушая старика:

– Мы тебя выпустим во время вылазки. Скажешь, что удалось убежать. Пойдешь к царю Ивану и посоветуешь бросить осаду...

- Царь Иван только и ждет моего совета! – усмехнулся Булат.
- Ладно, не советуй, – согласился Джафар. – Просто скажи: «Сильна Казань!

Много в Казани храбрых воинов, бесчисленны запасы оружия, на два года хватит пищи. Источник воды подорвали порохом, а у них другие есть...»

- И ты веришь, что я это скажу царю?
- Слово дашь – поверю! – серьезно ответил управитель.

– Жаль, я не обманщик, – молвил Никита. – Если б я обещания рушил так легко, как вы, казанцы, я б десять клятв дал, а царю Ивану Васильевичу сказал бы: «Не уходи от города, государь! Изнемогает Казань, и близок ее конец. Со славой заканчивай великое дело, государь!»

Лицо управителя побагровело от гнева, но он сдержался и долго уговаривал Никиту, обещая за услугу золото, драгоценные камни. Старик остался тверд.

Через два дня, думая решительно воздействовать на Никиту, его повели к самому хану Едигеру.

Булат с тревожным любопытством осматривался, идя по улице под конвоем кривого Ахвана и силача-привратника Керима. Дорогу перегородило шествие: сотни татар с диким воем, качаясь вправо и влево, двигались вперед в сумасшедшей пляске. Рослый дервиш со страшными глазами, возглавлявший процессию, был

обвешан амулетами, ножами и кинжалами, дребезжавшими и стучавшими друг о друга при каждом его движении.

– Святой... – прошептали спутники Никиты, кланяясь дервишу до земли.

Дервиш потрясал зеленым значком на длинном древке; его ученики колотили в бубны.

– Аллах великий, милосердный! – кричал дервиш. – Пошли нам победу над гяурами! – И он снова терзал длинными ногтями израненную грудь.

Следуя примеру дервиша, и другие царапали лицо, кололи себя ножами... Сумасшедшие глаза, иступленно машущие руки...

– Хорошо, старик, что ты по-татарски одет! – прошептал кривой Ахван. – Если бы узнали, что ты – урус, разорвали бы на клочки.

Вздохнули свободно, когда дервиш и его спутники скрылись за углом.

– Вот из-за таких святых людей башка пропадает! – с неожиданной злостью сказал привратник Керим. – Слушай, друг: когда ваши город возьмут, заступишься за меня? – Татарин улыбался подобострастно. – Я урусов не обижал, я их люблю, они хорошие люди...

– Стало быть, думаешь – наша берет?

– Судьба! – пожал плечами Керим. – Я тебе смешное дело расскажу, урус! У нас в Казани много пленных армян, хороших пушкарей. Как ваши пришли, их всех к пушкам поставили – урусов бить.

– И метко стреляют?

– Где там метко! – ухмыльнулся Керим. – Знаешь, чего сделали? Все от пушек побегали.

– Молодцы! – невольно вырвалось у Булата.

– Их наши мурзы переловили, нагайками отдули и к пушкам цепями приковали.

– И что же теперь? – спросил Никита.

– Сидят, лежат, отдыхают! – захохотал Керим. – Им есть не дают, а они говорят: «С голоду помрем, а в братьев-урусов стрелять не будем!» Упрямые, черти! Скоро им, наверно, башку рубить будем: пользы нет, зачем держать!.. Так заступишься за Керима, урус?

– Да уж обещал...

Перед угрюмой громадой ханского дворца сновало множество воинов. Хусаин и Керим провели Никиту между двумя четырехугольными башнями, схваченными сверху стрельчатой аркой.

Миновали несколько огромных залов, слабо освещенных зарешеченными окнами, расположенными под потолком. В залах гудел и волновался народ: беки со свитами, мурзы, нукеры – телохранители хана, муллы в белых чалмах. Многие ожесточенно спорили, размахивая кулаками; их унимали другие:

– С ума сошли – заводите драку в покоях грозного хана!

По растревоженным лицам толпы, по неровному и суматошливому гулу Булат догадался: «Плохо у них дело... Недаром они так меня уговаривают царя Ивана Васильевича обмануть!»

Перед Никитой открылся величественный тронный зал казанских ханов.

Едигер, молодой, черноусый, с красивыми, тонкими чертами лица, сидел на подушках, устилавших возвышение. За ним виднелся сеид Музафар в великолепном халате из раззолоченной материи. Сзади стояли придворные с красными бородами, с ладонями и ногтями, натертыми хной.

У дверей Никиту перехватил Джафар-мирза. Хусаин с Керимом остались у порога. Управитель шепнул Булату с кривой улыбкой:

– Видишь, уста-баши, какой удостоился чести: тебя принимает сам хан! Выполняй мои приказания!

Булат шел вперед, маленький, щуплый, но в нем чувствовалась непреодолимая сила убеждения. Подведя старика к подножию трона, Джафар-мирза сказал негромко:

– Становись на колени!

– Не стану! – ответил Никита по-татарски.

– Раб! – разразился гневом Музафар мулла.

– Полоняник – не раб! – возразил Никита.

Толпа краснобородых придворных испуганно зашелестела; Джафар злобно толкал Булата в затылок, пытаясь силой заставить его выполнить приказ.

Едигер рассмеялся и сказал:

– Оставь, мне его смелость нравится... Здравствуй, отважный урус!

– Коли по-доброму, так здравствуй, хан! – Никита поклонился чин чин, перешел на родной язык: – Что твоей ханской милости угодно?

– Угодно, чтобы ты принял наше поручение и донес царю Ивану, насколько крепка и могуча Казань!

– Али я выродок, что супротив своих пойду? – воскликнул Булат, покачав головой. – Лучше кончите меня сразу!

Слова Булата были переведены.

– Мы требуем немного: передашь, что приказано, а ваш царь сам решит – кончить осаду или продолжать.

– Я не двуязычный: что на сердце, то и буду говорить! – ответил Булат.

– Смелый урус! – сказал хан Едигер. – Если бы наши все таковы были, никакая земная сила не одолела бы поклонников Мухамеда. Отпустите старика, не принуждайте к тому, что запрещает ему душа.

– Прощай, хан! – низко поклонился Булат. – Желаю тебе добра.

Управитель уловил злобный блеск в глазах Музафара и едва заметный кивок головы.

– Рано обрадовался, урус, – насмешливо заговорил Джафар-мирза, когда оставили приемный зал. – Думаешь, выйдет по-твоему?

– Это что же: жалует царь, да не жалует псарь?..

Опять Никиту пытали, истязали тело, но душу сломить не могли.

Вечером к старику прибежала Дуня.

– Эх, некстати ты, дочка, пришла! – вздохнул Булат, не в силах приподняться с соломы.

– Дедынька, замучают тебя! – зарыдала Дуня, прижимая к груди седую голову старика.

– А хотя бы и так... Один раз смерть принимать. Страшна не смерть – страшна измена.

Девушка тихо плакала. А Никита продолжал:

– Как придут наши, Дунюшка, – скажи: жил-де честно и умер честно. Пускай похоронят по отцовскому обычаю.

– Не умрешь ты, дедынька!

Девушка вспрыгнула, глаза ее высохли. Она сорвала ожерелье из серебряных монет – единственную свою ценность, сунула сторожу:

– Ахван, милый! Подкупи палачей, лекарства возьми у костоправов... Ходи за дедынькой, как за родным отцом.

– Все сделаю по-твоему! – обещал сторож. – Бедному чувашу какая корысть в стариковой смерти! Ведь я родом с Горной стороны, а наши теперь с русскими заодно...

Глава XV

Гуляй-города

С печальными трубными звуками неслись на юг журавли и гуси, предвещая ранние холода. Придет сердитая пурга, заметет сугробами поля, занесет палатки и шалаши ратников...

Затяжные дожди превратили сухие места в болота. Реки вздулись и вышли из берегов. Не только Казанка и Булак, но даже крошечные Ички, Верхняя и Нижняя, так разбушевались, что пришлось перекидывать через них мосты.

Окрестность казанская была завоевана; после разгрома Япанчи русские рассыпались по татарскому царству, захватили все крепостцы, в том числе самую сильную – Арскую.

Оставалось взять город; но он по-прежнему держался твердо. Меткий огонь казанских пищальников к лучников приносил большой вред осаждающим. Правда, русские находились вблизи стен Казани, но им целый день приходилось прятаться за тынами и тарасами; высунет кто голову – и в воздухе жужжат стрелы.

Надо было прогнать казанцев со стен, чтобы осадные работы пошли успешнее.

Царь отдал приказ начальнику розмыслов Ивану Выродкову, а тот призвал Голована. Передав ему разговор с царем, Выродков спросил:

– Ты про гуляй-города слышал?

– Слыхивал, – ответил Андрей. – Это высокие башни на колесах.

– Ну, а видать-то их, конечно, не приходилось? – улыбнулся дьяк.

– Где мне было их видеть! Я на осаде в первый раз.

– Так вот, слушай, Ильин: чтоб были готовы два гуляй-города на две сажени выше городских стен. Срок даю трое суток.

– Ого! – Андрей почесал затылок.

Впрочем, он понимал необходимость такого жесткого срока: каждый день уносил из среды осаждающих десятки жертв.

Голован собрал мастеров, рассказал, какая трудная задача им предстоит. Среди строителей оказался Фома Сухой. Старику перевалило за шестьдесят, в молодости он участвовал в знаменитой осаде Смоленска, который был взят войсками Василия III в 1514 году. Там Фома видел гуляй-города и даже помогал строить их.

Расспросив Сухого, Голован со свойственной ему силой творческого воображения углубился в составление чертежа. Тем временем подручные поставили большую часть отряда на заготовку бревен, брусьев и громадных балок. Запас гвоздей и железных скоб подходил к концу, и часть плотников принялась разбирать ненужные тыны и настилы, оставшиеся в тылу. Они вытаскивали гвозди и скобы, а кузнецы в походных кузнях выправляли их и заостряли. Работа кипела: ни одной пары праздных рук не осталось в строительном отряде.

Голован показал чертеж башни Ивану Выродкову; тот одобрил.

Постройка гуляй-городов велась в укромном месте, вне досягаемости казанских пушек. Нижняя клетка из толстых бревен была водружена на четыре пары сплошных деревянных колес, обтянутых железными шинами. На нижнюю клетку поставили следующую – поуже и полегче, и так продолжали до самого верха.

Башня имела вид усеченной ступенчатой пирамиды с верхней площадкой, обнесенной крепкими стенами с бойницами для пушек и пищалей. Внутри башни шла лестница наверх. Сооружение оказалось своеобразно красивым и напоминало деревянные шатры церквей, воздвигаемых на севере.

Пока с лихорадочной поспешностью строились башни, стрельцы и казаки, отряженные в помощь плотникам, соорудили прочный настил от места стройки к городским стенам.

На третью ночь строительство было закончено. В каждую башню впрягли десятки лошадей, и громадины, смутно освещенные колеблющимся светом факелов, тронулись вперед, скрипя колесами.

Хмурым осенним утром казанцы увидели против Царевых и Арских ворот грозные гуляй-города, с их верхних платформ нацелились жерла пушек на городские площади и улицы. Теперь казанцам нельзя было прятаться на стенах, да и по улицам приходилось ходить с осторожностью.

Имя строителя башен Голована стало известно царю Ивану Васильевичу.

Москвич Кондратий выпросился наверх со своей пушкой. С высоты он зорко следил, что делается в городе, и, если появлялась группа неприятелей под прицелом, пускал ядро. Подручным при нем стоял бывший монах Филимон, которого Кондратий полюбил за приверженность к осадному делу, за то, что без усталости подтаскивал ядра, отмерял порох лубяной меркой и подносил фитиль, когда надо было сделать выстрел.

С верхней платформы гуляй-города Кондратию довелось видеть казнь его бывшему товарища по неволе у Курбана – пушкаря Самсона. Отважный армянин первый отказался воевать против русских и своим примером увлек других товарищей – пушкарей. Казню Самсона Музафар хотел навести ужас на его соотечественников и принудить их стать к орудиям.

В самый полдень на стену поднялась группа людей, и Кондратий уже собирался пустить в них ядро, как вдруг замер в удивлении. В толпе, появившейся на городской стене, было всего несколько татар; они окружали закованных в цепи смуглых горбоносых людей. В этих узниках Кондратий узнал армян, с которыми не раз сталкивался во время своего длительного рабства в Казани.

Одного из них вытолкнули вперед, заставили стать на колени и наклонить голову.

– Самсонушко! – ахнул Кондратий. – Родной!

Свистнул ятаган, и голова Самсона покатила на камни стены. Кондратий увидел, как размахивали скованными руками и кричали на татар армянские пушкари, а татары лупили армян нагайками.

После ожесточенного спора татары прогнали пленников со стены.

Кондратий так и не решился пустить ядро, боясь попасть в армян.

Позже русские узнали, что казнь Самсона не достигла цели: армяне так и не стали к пушкам, и всех их посадили в зиндан.

Иногда наверху гуляй-города появлялся Голован. Если он выходил на открытую часть платформы, Кондратий прогонял его в безопасное место.

– С ума сошел! – сердито кричал он. – Как раз стрелой сымут!

– Ты ходишь!

– Меня убьют, по мне плакальчиков нет. А ты свою голову должен беречь: за ней еще много-много долгов!

Кондратий был прав, советуя Головану быть осторожным: самому ему оплошность стоила жизни.

После одного особенно удачного выстрела Кондратий выбежал из-под укрытия. Длинная татарская стрела вонзилась ему в бок.

Кондратий умер на руках Филимона. Последними его словами были:

– Кланяйся родной Москве... Не довелось... вернуться...

С появлением осадных башен русские вплотную придвинули укрепления к Царевым и Арским воротам: между русскими турами и городской стеной оставался только ров в три сажени шириной и семь глубиной. Но перейти такой ров было нелегким делом.

Царь торопил воевод и розмыслов: осада слишком затянулась.

Помимо подкопа, который лишил казанцев воды, розмыслы вели еще три подкопа к городу: один поменьше – под татарские тарасы, что не давали подступа к стенам; два других, на которые осаждающие возлагали все надежды, – под городские стены на двух удаленных друг от друга участках.

На подкопах, часто сменяясь, работали тысячи людей. Выродков и другие розмыслы по несколько раз в сутки спускались в подземные ходы, проверяли направление при помощи «маток». Дело подвигалось успешно; плотники Голована крепили стенки и кровлю подкопов.

29 сентября закончились работы по подведению меньшего подкопа.

На следующий день войска приготовились к штурму. Против Царевых и Арских ворот стояли воеводы Горбатый-Шуйский, князь Михаила Воротынский и другие. На Аталыковы ворота вели войска Шереметев и Серебряный. С западной стороны отвлекать татарские силы поручено было полку Лево́й Руки – воеводы Плещеева.

Грохот взрыва раздался, едва рассвело. Все вздрогнули, когда взлетели огромной темной массой татарские тарасы и туры. Бревна, падая с высоты, убивали на стенах людей; сваливаясь во рвы, заполняли их, образовывали мосты для осаждающих. Татары с криками бежали со стен.

Заиграли русские боевые трубы, оглушительно заколотили колотушки по громадным набатам, взвились знамена. Полки пошли на приступ. Стрельцы и казаки почти без сопротивления заняли Царевы, Арские и Аталыковы ворота. Этим достигли немногого. За стеной оказался второй глубокий ров с кое-где перекинутыми через него мостами; к мостам спешили сильные вражеские отряды.

Началась сеча. Несколько часов бились на мостах. Воины падали в ров, заваливая его трупами. Татары стали подаваться. Ободренные успехом, русские теснили их дальше. С Арской башни, занятой стрельцами, летели пули и стрелы, поражая татарских воинов.

Царь Иван смотрел на битву с высокого холма. Хмуря густые черные брови, он выслушивал гонцов, прибывавших с известиями о трудностях и неудачах; веселел, когда узнавал об успехах, посылал одобрение наступающим войскам.

Ближайшие к стенам городские кварталы пылали; пепел тучами носился в воздухе; бойцы в дыму плохо различали своих от врагов. И все же московская рать продвигалась, дошла до Тезицкого рва, за которым был ханский дворец.

Но короткий осенний день клонился к вечеру. Татары сопротивлялись отчаянно. Ночью невозможно было драться с ними в запутанных, кривых закоулках незнакомого города.

Михаила Воротынский, в помятых от ударов латах, чуть не валясь с коня от усталости, вырвался из свалки, прилетел к царю с мольбой:

– Прикажи, государь, отвести войска! Завтра сумеем довершить приступ!

– Не с ума ли ты сошел, Михаила! – напустился на воеводу князь Андрей Курбский, состоявший в тот день в царской свите. – Не слушай, государь, срамца и труса, вели драться до окончания: подаются мухамеданы!

Воротынский, стесненный броней, дышал тяжело; по багровому лицу, с которого воевода откинул забрало, струями катился пот. Он с мольбой смотрел в глаза царю.

– Крепки еще татары, государь! – не сдавался князь Михаила. – Раздробим силы, втянемся в неведомые градские пределы, сгубим рать...

За годы власти Курбский привык, чтобы ему все уступали, но Воротынский был упорен. Воеводы сцепились в споре, поносили друг друга – казалось, вот-вот вцепятся в бороды.

– Довольно! – хмуро молвил царь, покончивший со своими сомнениями. – Лжива твоя надменная храбрость, князь Андрей! Никогда не соглашаешься ждать

удобного часа, воинство мое понапрасну сгубить хочешь! Приказываю: отводить полки! Осторожность – не последняя из воинских добродетелей...

Воротынский торжествующе взглянул на опешившего князя Андрея и поскакал объявлять царский приказ.

А царь Иван сурово обратился к опустившему голову Курбскому:

– Хотел бы я, чтоб на пользу тебе пошло это крепкое мое поучение, но не верю в то: велика твоя гордыня, мнишь себя превыше всех, а заслуг твоих мало нахожу...

Впервые Иван решил так открыто поднять голос против одного из первейших членов Избранной Рады, близкого друга Сильвестра и Адашева: царя воодушевила на это близость победы над мощным врагом.

Грозный ничего не забывал и ничего не прощал: много лет спустя в переписке с Курбским он гневно упрекал князя Андрея за малодушие, проявленное им при осаде Казани, за то, что тот советовал обратиться вспять после трех дней осады, когда буря истребила запасы русского воинства, за то, что Курбский толкал его на битву при неблагоприятных обстоятельствах.

Воротынский привез полкам царский приказ прекратить битву. Разгоряченные боем стрельцы и казаки отошли неохотно.

В руках русских осталась Арская башня и прилегающая к ней часть стены. Татары сами жгли окружающие укрепления, постройки, мосты, чтобы отделиться от нападающих. Целую ночь они строили завалы, возводили новые деревянные стены, засыпая их землей.

* * *

1 октября обе стороны деятельно готовились к последней, решительной битве.

Татары возводили новые стены. Согнанные со всего города рабы, подростки, женщины таскали камни, кирпичи и бревна из разрушенных домов. Стены вырастали быстро, так как над ними старались тысячи людей, подгоняемые бичами надсмотрщиков.

Вот когда пригодился бы татарам секрет несокрушимого замеса, известный Никите Булату!

Но русские втащили на Арскую башню пушки и громили стены ядрами. Строители укреплений падали – на их место становились другие. Камни, вырывааемые снарядами, катились по земле, их подхватывали чуть не на лету и снова укладывали на место...

Перед решающим приступом Иван Васильевич сделал последнюю попытку сберечь русскую и татарскую кровь. По его приказу в город отправился Камай-мурза с предложением сдаться, обещая жизнь и свободу осажденным.

Камай привели в тронный зал, где собрались царь Едигер, имам Музафар, князя Ислам и Кебяк, беки, уланы, мурзы.

Камай, бледный от волнения, повторил предложение царя Ивана.

«Мне не дожить до поры, когда волосы мои побелеют, – думал он. – Молю об одном: пусть моя смерть будет скорой и легкой».

Слова Камай-мурзы были выслушаны в гробовом молчании. Потом гневно заговорил первосвященник Музафар:

– Изменник! Предатель! Ты заслуживаешь казни! Но голова посланника священна для нас.

Камай-мурза вздохнул облегченно.

Сеид продолжал:

– Послание царя мы обсудили всем курултаем. Поди и скажи царю Ивану: не бьем ему челом! На стенах стоит Русь, на башне – Русь. Ничего! Мы другую, третью стену поставим. Либо отсидимся, либо все помрем.

Едигер и советники согласно кивнули головой.

Камая вывели из города и отпустили.

Ночь прошла в мрачной, настороженной тишине. Для многих и многих тысяч бойцов эта ночь была последней в жизни.

Глава XVII

Решительный день

Настало воскресенье, 2 октября 1552 года.

У последних двух подкопов шли окончательные приготовления. Бочки с порохом закатили вглубь накануне, свечи были воткнуты в рассыпанный порох. Царь приказал произвести взрывы на рассвете и, когда будут взорваны стены, начинать приступ.

Между Арскими и Кайбацкими воротами, у гуляй-городины, стоял коренастый и тучный Иван Выродков, несмотря на туман и холод отирающий пот с лица, и взволнованный Андрей Голован. Аким Груздь стоял тут же с топором за поясом. Филимон, поблескивая черными разбойничьими глазами, опирался на бердыш с длинной рукояткой: на осадной башне нечего было делать, и Филимон хотел сражаться в городе.

Тысячи воинов Большого полка ждали в боевой готовности.

Князь Михаила Воротынский рвался в битву: он хотел доказать гордецу Курбскому, что только теперь увенчается битва победой и в этой победе немалая доля будет принадлежать ему, Воротынскому, умному и дальновидному полководцу, старшему воеводе в войске.

Ударил страшный взрыв у Булака-реки: русские розмыслы подорвали подкоп между Аталыковыми и Тюменскими воротами. Еще не умолк грохот, как оттуда донесся гул множества голосов: полклевой Руки ринулся в бой.

Михаила Воротынский подскочил на храпящем коне:

– Скоро ли у вас?

– Свеча зажжена давно, – ответил Выродков. – По моему расчету, вот-вот должен быть взрыв.

Услышав слова розмысла, люди поспешно отступили подальше: ожидали взрыва страшной силы; пятьдесят полномерных бочек зелья могли взорваться с минуты на минуту.

Люди прислушивались с остановившимся дыханием.

Но мгновения текли, невозвратимые мгновения, а земля молчала.

Там шел бой. Татары, без сомнения, бросили туда большие силы, они могут смять рать Плещеева и Серебряного. А здесь полки стоят недвижно, не в силах подать помощь гибнущим братьям...

– Ты что же, безумный! – налетел на Выродкова белый от гнева Воротынский. – Со смертью играть вздумал?..

Смущенный розмысл отстранился от напирającego коня.

– Рассчитывал хорошо, а может, ошибся. На ветру свеча быстрее горит, а в затишке медленнее...

Воротынский схватился за голову.

– Братцы! Воины! – тоскливо вскричал он. – Гибнет наше дело!..

Он не договорил, как Голован с зажженным факелом бросился к устью подкопа. Но его догнал Аким Груздь и вырвал из его руки факел:

– Не забывай меня! – И Груздь, освещенный пылающим факелом, вскочил в темный прямоугольник входа.

– На погибель кинулся!.. – пронесся смутный вздох в потрясенной толпе, а у Голована покатались слезы.

В страшном ожидании прошло минуты две. И вдруг земля вздрогнула, все покачнулись, иные не устояли на ногах. Мгновение спустя из-под стены вырвался

пламенный сноп чудовищной толщины, неся на себе огромные глыбы камня, земли, разорванные трупы людей, разметывая толстые бревна, как щепки...

В первые минуты после взрыва никто ничего не слышал. Люди видели круглые, разинутые рты товарищей, сами кричали, но все было немое для них, и лишь глаза видели страшную картину гибели сотен татар под обрушенной стеной.

Немало и московских людей нашли смерть под обломками камней и бревнами.

Через ров, заваленный землей, щебнем, деревом, устремились в город русские воины. Пролом был слишком узок, чтобы пропустить наступающих, и в горле его теснились и бурлили людские толпы.

Отчаянно лезли вперед ратники, толкая друг друга. А перед ними выросла стена татар с остервенелыми лицами, с глазами, налитыми кровью...

Многие стрельцы пали здесь, сраженные копьями, изрубленные саблями...

Нечай и Демид Жук, как всегда рядом, пыряли в ряды врагов острыми, окованными железом рогатинами.

Ничипор Пройдисвит, в белой рубахе, подпоясанный широким алым поясом, в барашковой, лихо сдвинутой набекрень шапке, помахивал кривой саблей, точно играючи, но от ее небрежных взмахов валились люди, отлетали руки и головы... Густо забитое людьми пространство расчищалось перед темноусым украинцем. Татары бежали от страшного бойца.

Василию Дубасу негде было размахивать длинным ослопом. Парень догадался: он переломил его, засунув под камень, и начал действовать обломком. Он с размаху опускал его на голову врагов.

Филимон крушил татар тяжелым бердышом, но не спускал глаз с шедшего рядом Голована и не давал ему зарываться вперед.

– Ты мой теперь, Ильин! Ежели я тебя не уберегу, Акимкина душа с того свету ко мне за ответом придет. Знаешь ведь, как он тебя любил!

На мостках через рвы, на обваленные стены, на каждом свободном клочке земли кипела сеча...

Хан Едигер пытался броситься к Арским воротам с последним запасным полком, под сенью священной зеленого знамени, но сеид и знатные не пустили его.

Руководить обороной у места прорыва отправились три неразлучных друга: князя Ислам и Кебяк и маленький кривоногий Аликей-мурза.

Трем зачинщикам казанского восстания не суждено было пережить гибель родного города. Первым пал Аликей. Голову маленького мурзы разнес своей страшной дубиной Васька Дубас. Погиб изрубленный казачьим мечом князь Ислам. Угрюмый богатырь Кебяк схватился с Ничипором Пройдисвитом. Недолго выбивали сабли сверкающие искры: Кебяк упал, сраженный насмерть.

Другие предводители стали на место погибших.

Повсюду шел жаркий бой. С разных сторон наседали московские полки, чтобы не дать татарам сосредоточить силы в одном месте.

Через пролом стены меж Аталыковыми и Тюменскими ворогами ворвались в Казань ратники воевод Василия Серебряного и Митрия Плещеева. Полк Правой Руки, ведомый Курбским и Щенятевым, подставил осадные лестницы у Муралеевых и Елабугиных ворот и штурмовал город с севера, от Казанки-реки, в непосредственной близости к ханскому дворцу. Ертоульный полк наступал на Збойлевы и Кайбацкие ворота.

Царь Иван подъехал к стенам Казани и зорко следил за ходом боя, бросая, куда нужно, подкрепления. А силы русские и татарские все еще ломали друг друга в отчаянной борьбе.

Наконец враги начали отступать перед неодолимым натиском русской рати.

Трудно пришлось наступающим, когда они попали в узкие улочки и тупики татарского города. Здесь нельзя было ввести в бой большие силы, а казанцы подняли всех, кто мог сражаться.

Жертвы с обеих сторон были огромны. Но одолевала московская рать. Русские воины помнили разоренный Киев, Владимир, Рязань, помнили о бесчисленных тысячах замученных отцов и братьев, о долгих страданиях родной земли.

Мечи тупились о вражескую броню, руки устали наносить и отражать удары. Уже несколько часов длилось сражение, и время склонилось за полдень. Битва растеклась по всему городу. В закоулках, на дворах, на плоских кровлях вспыхивали короткие, стремительные схватки. Звон оружия, боевые клики, хриплые стоны...

Погиб удалой боец на саблях Ничипор Пройдисвит, сраженный янычаром огромного роста. Чубатая казацкая голова покатилась с широких плеч, в последний раз страшно сверкнув глазами. Недолго торжествовал победитель: Василий Дубас, вывернувшись из-за угла, взметнул тяжелой дубиной, и турок упал с раздробленным черепом.

Пало в бою немало начальных людей и рядовых стрельцов. Олончанин Лука Сердитый отполз в тупик со стрелой в плече; кровь лилась струей, и не было возможности ее остановить, пока стрела торчала в ране. Всегда красное лицо олончанина начинало бледнеть от потери крови. Озлясь, Лука дернул стрелу, и она вылетела с ключьями мяса. Отрезав ножом подол рубахи, раненый кое-как перевязал плечо...

Стало ясно, что Москва победила. Тысячи перебитых татарских воинов валялись на улицах, остальные скрылись.

Русская рать начала располагаться на отдых. Иные воины, истомленные продолжительным боем, ложились прямо на землю и засыпали мертвым сном. Другие доставали из походных сумок хлеб и утоляли голод.

Глава XVIII

Спасение Никиты Булата

Голован с неизменным спутником Филимоном разыскивал дворец первосвященника. Спросить было не у кого, и они долго блуждали по пустынным улицам. Наконец, услышав плач в сакле с настежь раскрытой дверью, Андрей бросился туда, вывел татарчонка лет двенадцати.

– Паренек, не бойся, мы тебя не тронем! Покажи, где ваш главный мулла живет!

Мальчишка глядел, ничего не понимая. Его заплаканные черные глазенки блестели, как у звереныша, он тер кулаком замурзанные щеки.

– Ты не так! – вмешался Филимон. – Я умею с ихним братом разговаривать... Эй, знаком! Мулла, большой мулла бар? Э? Сеид бар, айда!

– Сеид? – Мальчик понял. – Сеид айда!

И он повел русских в ту часть города, где, мало затронутые пушечным обстрелом, стояли дома казанских богачей. Тут было тихо и безлюдно. Лишь изредка показывались вдали вражеские воины и тотчас скрывались: очевидно, татары думали, что двое русских – разведчики большого отряда.

– Эх, Ильин, – с тревогой говорил Филимон, – попадем мы в беду! Налетят недруги – что мы двое сделаем?..

Филимон чрезвычайно обрадовался, когда, выглянув из-за угла, увидел русских. Он бросился навстречу:

– Братцы, сюда, сюда давай! Здесь свои!

К Андрею подошли Нечай, Демид Жук и Василий Дубас. Возбужденные боем, они тяжело дышали, лица их были покрыты грязью и кровью.

– Андруша, – весело вскричал Нечай, – какая надобность тебе тут ходить?

Голован быстро объяснил, и маленький отряд двинулся по узкой улице.

До дворца Музафара-муллы добрались благополучно и отпустили татарчонка. Русские перебежали через пустой двор мужской половины и остановились перед закрытой калиткой. Прочная дверь выдержала первые удары.

– А ну, берись дружней! – скомандовал Филимон.

Из земли вырвали скамейку, подтащили, размахнулись:

– Р-раз!.. Р-раз!..

– Дружиной возьмемся – сразу сделаем, – пыхтели мужики.

– Дружиной, робятушки, ловко и батьку бить! – подсмеивался веселый Нечай.

Дверь разлетелась вдребезги, и люди, толкая один другого, хлынули в калитку.

Голован бежал впереди, и ноги у него подкашивались.

И вдруг у низенькой сакли он увидел согбенного старика с обнаженной головой, с венчиком седых волос вокруг большой лысины. Его поддерживала высокая девушка с русыми косами и голубыми глазами. Старик бессильно переступал навстречу русским, размахивал руками и слабо кричал...

– Никита!..

Голован бросился к учителю. Старик был так поражен, что не мог сделать и шагу: Андрей, которого он много лет считал мертвым, появился выросший, возмужавший...

– Андрюшенька, родной!.. Живой?.. А я-то по тебе горевал...

– Отец... наставник... – взволнованно бормотал Голован. – Уж как же я рад!..

Никита, Голован, Дуня и ратники вышли из дворца сеида через потайную калитку. Булат брел, поддерживаемый Андреем и Филимоном. Забывая о недугах, старик рассказывал неожиданно обретенному любимому ученику историю своего плена, говорил, что не чаял на этом свете свидеться с Андрюшей, когда оставил ее на лесной полянке с разрубленной головой...

– Теперь мы с тобой никогда-никогда не расстанемся! – твердил Голован.

– Мы с тобой, Андрюша, еще строить будем: соскучилась душа по работе!

Дуня шла, пугливо озираясь: это был ее первый выход за стены дворца, где прожила она с пленок. Чтобы не обращать на себя внимания, Дуня накинула сверху широкий армяк Филимона, голову прикрыла колпаком, подобранным на улице.

Филимон и Нечай, шедшие впереди, бросали во все стороны острые взгляды, боясь недобрых встреч. Андрей и Филимон почти несли на руках Булата, ослабевшего от нежданной радости.

– Алла! Алла! – вдруг раздались грозные боевые клики.

Из соседней улицы выбежал отряд татарской пехоты.

– Беда! – вскричал Филимон.

Не дожидаясь, пока татары сомнут их, маленькая группа юркнула в ближайшую калитку, дверь которой, к несчастью, была сорвана.

Только двое могли поместиться в узкой раме двери. Дуню и Никиту спрятали позади. Впереди встали Филимон с тяжелым бердышом и Василий с дубиной. За ними Нечай с рогатиной, Голован с мечом и Демид Жук с ятаганом, подобранным на улице.

– Урусы, урусы! – раздались злобные крики татар, и они обрушились на защитников калитки.

Случилось вот что. Русское войско, считая битву окончательно выигранной и не видя врагов, расположилось на отдых. Иные ратники покинули город. Воеводы, стрелецкие головы и казацкие сотники напрасно старались водворить порядок.

А татары тем временем стеклись к ханскому дворцу и большой мечети, разделились на отряды под руководством опытных начальников, отослали в

безопасные убежища раненых и с новыми силами, с воспрянувшей надеждой грянули на русских.

Но уже спешили в город свежие полки, которые держал в запасе Иван Васильевич.

Теснимые превосходящими силами, враги, отчаянно отбиваясь, отступали к укрепленному ханскому дворцу. Остервенелые бойцы бросались на русские мечи и копья и, умирая, старались поразить как можно больше противников. Опять оцетинились кровли домов защитниками, метавшими в русских камни, стрелявшими из луков.

Бой по ожесточению превзошел утренний, но теперь события развертывались быстрее. Стрельцы и казаки внутри города собрались вокруг начальников и ударили татарам в тыл.

Поражаемые со всех сторон, вытесняемые из ханского дворца, казанцы отходили на север, к Муралеевым и Елабугиным воротам, надеясь прорваться из города. Они захватили с собой Едигера и вельмож, которых пощадила смерть.

В жарком бою у главной мечети погиб сеид Музафар – недолго просидел он на запятнанном отцеубийством престоле...

Еще несколько тысяч татар держали оружие; они взобрались на Муралееву башню и окружающие ее стены. Позиция была грозной, но если русские не пойдут на приступ, им тут погибнуть от голода.

И русские увидели, как татары на башне отчаянно машут руками.

Михаила Воротынский приказал прекратить стрельбу. С башни донесся голос:

– Урусы! Вы одержали победу. Мы храбро дрались за свой юрт и ханский престол! Теперь нет у нас ни юрта, ни престола... Мы отдаем вам хана, ведите его к вашему царю, и пусть свершится судьба Едигера. А мы переведаемся с вами в широком поле и изопьем смертную чашу...

Осторожно спустив с полуразрушенной башни хана Едигера, татары бросались со стен на берег Казанки-реки, надеясь перейти ее и укрыться в лесах. Но с другого берега грянули пушки Щенятева. Беглецы повернули к западу, вниз по реке, перебрали Казанку. Их все еще было около шести тысяч. Здесь встретил их воевода Плещеев. С другой стороны напирал полк Правой Руки...

Немногим защитникам татарской столицы удалось спастись с поля битвы.

Глава XIX

Возвращение

Голован и его спутники отбились от врагов. Им недолго пришлось отражать натиск остервенелой толпы: из соседней улицы прихлынули русские стрельцы, и татары бежали.

Царь Иван въехал в покоренный город через Муралеевы ворота. Он медленно проезжал по улицам Казани на белом коне.

На улицах толпились тысячи русских пленников. Откуда взялись они в еще недавно пустынном городе? Казалось, сама земля извергла людей из своих недр. Избитые, израненные, хромые, с изможденными лицами, они простирали к царю слабые, худые руки и хриплым голосом выкрикивали приветствия.

Царь приказал накормить пленников, одеть, отвести в стан, позаботиться отправкой на родину.

Андрей Голован узнал о доблестном поведении старого наставника во время осады города. Рассказала об этом поборовшая смущение Дуня. Никита не любил хвалиться и отмалчивался, когда Голован расспрашивал его о тяжелых днях плена.

Андрей доложил о мужестве зодчего Ивану Выродкову, дьяк рассказал царю. Через несколько дней Голован и Никита Булат получили приказ явиться в царский шатер.

Иван сошел с высокого кресла, заменявшего в походе трон, и обнял старого Булата:

– Зело рад тебя видеть, Никита! Дорог ты мне своей верностью!

– Не по заслугам изволишь хвалить, государь!

– Ну, я знаю, кого и за что хвалить! – раздраженно возразил царь, не терпевший противоречий. – Расскажи, как ты в плену прожил? Как удалось уцелеть?

– Что говорить, государь! Прожито – и ладно.

– Дозволь, государь, слово молвить, – вмешался Голован. – Наставник скромн, а я все расскажу.

– Говори!

Андрей рассказал историю Никиты Булата и его приемной внучки. Особенно упирал он на доблесть старого зодчего, которого ни посулы, ни угрозы, ни муки не заставили изменить родине и служить врагам.

Выслушав Голована, царь приказал приблизиться Алексею Адашеву:

– Видишь сего верного моего слугу, Алексеи? Надобно о нем позаботиться. Обноски татарские с него снять, выдать новую ферязь, да сапоги, да шапку...

Булат поклонился до земли.

– Не кланяйся, старик! Заслужил ты сие нелицемерно. Такими, как ты, крепка русская земля! Проси от меня чего хочешь!

– Ничего мне не надобно, государь, я и так премного взыскан твоей царской милостью!

– Вижу простоту твою, и по сердцу она мне! Ладно, просьба твоя за мной останется, и что в будущее время попросишь – исполню. А в знак сего вот с руки моей перстень!

Царь снял с пальца драгоценный перстень и надел на палец изумленного и обрадованного зодчего.

По просьбе Голована Выродков разрешил ему вернуться в Москву: Андрею нечего было делать после окончания осады. Головану разрешили взять для охраны ратников из числа тех, что добровольно пришли под Казань. Андрей выбрал старых знакомцев – Филимона, Нечая и Демида Жука.

Маленький отряд Голована продвигался медленно: Булат был стар и ослабел в тюрьме, а Дуня впервые села верхом на лошадь.

Весть о покорении Казанского царства быстро облетела страну. В новую русскую область шли многочисленные купеческие обозы. Московские, тульские, рязанские и иных городов гости спешили начать торговлю с восточными странами.

Прежде купцы пробирались по этим краям с великой осторожностью, рискуя товарами и жизнью. Теперь они двигались смело, с малой охраной: дороги оберегались русскими заставами и сторожевыми постами.

Узнав, что отряд Голована идет из-под Казани, купцы жадно расспрашивали, как протекала осада. Их любопытство удовлетворял словоохотливый Нечай. Слушая его рассказы, купцы ахали и ужасались.

– А как вы насмелились ехать в этот еще не мирный край? – лукаво спрашивал Нечай. – Не боитесь, что голову снесут?

– Волков бояться – в лес не ходить! – степенно отвечали купцы. – Теперь самая пора торговлю зачинать, покупателей приваживать. Опозднишься – всё другие за себя заберут!

Велико было удивление Голована, когда, проезжая мимо купеческой стоянки, он увидел Тишку Верхового, копавшегося в телеге, нагруженной товарами.

– Тишка! – невольно вскрикнул Андрей. – Ты как сюда попал?

– Кому Тишка, а кому и Тихон Аникеевич, божьей милостью московский купчина! – важно ответил Верховой.

Голован не утерпел и слез с коня, а за ним спрыгнул наземь любопытный Нечай. Остальные неторопливо поехали дальше.

– Так, стало, ты теперь вольный? – спросил Нечай, знавший прошлое Тихона.

– Откупимшись мы у боярина, – спесиво подтвердил Тишка, – потому как нас за труды господь богачеством наделил...

Нечай, не сдержавшись, смешливо фыркнул, а новоявленный купчина, злобно покосившись на него, продолжал:

– Вот и надумали мы по купечеству заняться, торговать значит...

– Ну, это дело у тебя пойдет! – уверил Тихона Нечай.

– Право слово? – наивно обрадовался Верховой.

– Уж будь спокоен! Это я говорю, Нечай, а я в людях толк знаю. Расторгуешься, как бог свят...

– Коли выйдет по твоему предсказанью, я тебе, даст бог вернемся, чару на Москве поднесу! – воскликнул довольный Тихон.

А Нечай, не слушая его, продолжал:

– Потому ведь у тебя ни стыда, ни совести, а у таких купеческое дело на лад идет...

– Эй ты, смерд! – угрожающе зарычал Тихон, замахиваясь кнутом.

Нечай ловко сбил его с ног и, прежде чем Верховой опомнился, ускакал. За ним последовал Андрей, качая головой и шепча:

– А еще говорят, ворованное добро впрок нейдет... Вот тебе и Тишка!..

В пограничной полосе, где раньше жить не давали набегу казанских разбойников, уже появились новоселы из старых русских областей. Они искали освобождения от тяжелого боярского гнета, хотели пожить свободно на новых землях хоть несколько лет, пока и тут не появятся устанавливая господскую власть безжалостные тиуны.

Часть четвертая Смелые замыслы

Глава I Встреча

Москва волновалась: со дня на день ждали возвращения из казанского похода русского войска. Уже долетела до москвичей весть, что грозная Казань пала. Не станут казанцы нападать на русскую землю, разорять города и села, уводить русских в полон.

Но неизмеримо важней было сознание огромного усиления Руси, роста ее государственного могущества.

«Сильна наша держава! – с гордостью думали москвичи. – Такого врага одолела!..»

Победоносному войску готовилась торжественная встреча.

28 октября 1552 года по городу разнеслась молва: царь под Москвой, в Тайнинке; к нему выехали брат Юрий Васильевич и ближние бояре.

Толпы народа устремились к деревне Ростокино. Лица москвичей были светлы и веселы. Только дряхлые деды и бабки, не слезавшие с печи, да тяжко больные оставались в тишине покинутых жилищ.

Все дома на пути царского шествия народ заполонил еще ночью. Ни просьбы, ни угрозы хозяев не помогали. Зрители теснились в горницах у маленьких окон, сидели на крышах, воротах и заборах. Деревья ломались под громоздившимися на них людьми...

Коротая часы ожидания, народ слушал рассказы о подвигах русского воинства. Передаваясь из уст в уста, рассказы обрастали вымышленными подробностями и больше походили на сказку.

– Едут! – раздался крик в толпе.

Глашатаи расчищали проход царскому шествию. Народ прижимался к заборам и стенам домов, сбиваясь плотными массами. С великим трудом освобождался коридор, по которому могли пройти в ряд три-четыре лошади. За передовым отрядом войска ехали полководцы: князь Михаила Воротынский, князь Ромодановский, окольный Алексей Адашев и другие.

Но вот показался и сам двадцатидвухлетний царь Иван. Царь кланялся народу направо и налево. Улица гремела приветственными возгласами.

Иван ехал на белом коне, облаченный в парадные доспехи. Голову царя украшал шлем-ерихонка превосходной работы, стан облекала золоченая кольчуга. К седлу был привешен саадак, расшитый жемчугом.

За царем и воеводами шло войско. Провести всех вернувшихся из похода ратников по тесным улицам Москвы было невозможно. Устроители шествия отобрали несколько тысяч стрельцов и казаков, поприметнее одетых и вооруженных.

У ворот Сретенского монастыря шествие остановилось. Здесь царя поджидал митрополит Макарий, знатнейшие князья и бояре. Царь скинул воинские доспехи: наглядное свидетельство перехода от войны к мирным делам.

Думные бояре надели на Ивана Васильевича порфиру, вместо шлема возложили на голову шапку Мономаха. Царь во главе огромной толпы бояр, дворян и духовенства пешком отправился в Кремль.

И лишь когда окончились обряды, унаследованные от дедов, царь мог отправиться проведать царицу Анастасию Романовну и новорожденного младенца – сына Дмитрия.

Москвичи веселыми толпами растекались по городу.

Глава II

Пир

Андрей Голован шел на царский пир. Булат также получил приглашение. В сенях Грановитой палаты слуги в нарядных кафтанах заботливо следили, чтобы гости вытирали ноги о войлок.

Голован с любопытством оглядывался вокруг: все было для него ново, он впервые станет пировать с царем. На Головане была ферязь темно-малинового цвета с меховой опушкой, с золотыми пуговицами – царское жалованье за казанский поход. Голову украшала соболья шапка.

Не забыли во дворце и Булата: ему прислали ферязь червчатую с огромными пуговицами, выточенными из малахита. Старик глядел на свое одеяние с веселым удивлением.

Андрей и Никита вошли в величественный зал. В центре палаты поднимался опорный столб, и от него на четыре стороны шли четыре свода, пересекавшиеся на высоте. Своды расписаны были изображениями событий из священной истории.

Голован замер, но от толчка наставника опомнился и пошел озираясь.

На возвышениях выстроились столы.

Голован поместился возле старичка с седыми волосами, подстриженными скобкой. Старик назвался подъячим Посольского приказа Никодимом Семеновым. С другой стороны Андрея сел Булат.

Гости собирались. Дружелюбно кивнул Головану Иван Григорьевич Выродков. За ним прошел стольник Ордынцев. Проследовал тучный князь Воротынский. Промелькнули знакомые лица Плещеева, Микулинского, Щенятева. С великим почетом провели под руки митрополита Макария и усадили по левую

руку от царского места; место с правой стороны предназначалось царскому брату Юрию Васильевичу.

Гул разговоров, наполнявший палату, вдруг смолк: появился царь Иван об руку с братом Юрием. Гости встали, ожидая, пока царь сядет на свое кресло, помещенное на возвышении; между царем и застольниками оставался промежуток. Царь поклонился гостям; гости ответили низким поклоном, сели, и палата загудела тихими разговорами.

Сотни палатных слуг в цветных кафтанах начали разносить кушанья. Чем больше подавалось перемен на пиру, чем изобильнее и редкостнее были яства, тем больше славил гости хозяина. Бояре, учинявшие роспись и порядок кушаньям, постарались на славу.

Одетые в вишневые кафтаны кухонные мужики тащили в палату огромные кастрюли, оловянки и рассольники, закрытые крышками. Другие слуги, стоявшие у столов, в отдалении от гостей, разливали корчиками жидкие кушанья по мискам.

Слуга подбежал к Никите и Андрею, поставил перед ними серебряную мису.

– Шти кислые со свежей рыбой! – объявил он.

Голован не ел с утра. На скатерти стояло блюдо с кусками пшеничного калача. Голован достал хлеба, с молодым аппетитом накинулся на щи.

Сосед слева рассмеялся:

– А ты, парень, не больно налегай! Перемен много будет.

Впрочем, совет не понадобился: едва гости отхлебнули по нескольку ложек, как миску утащили и подали другую:

– Шти кислые с соленой рыбой!

Дальше пошли щи белые со сметаной, щи богатые, калья тетеревиная с огурцами, калья куричья с лимоном, калья утичья со сливами. Потом подавали ухи горячие: уху щучью с перцем, уху куричью, уху лещевую с сорочинским пшеном, уху стерляжью, уху плотичью, уху карасевую черную сладкую, уху с лосиными ушами, уху щучью шафранную...

Вперемежку с жидкими блюдами разносили пирожки в ореховом масле, пироги подовые кислые с маком, пироги с сигаами, с вязигой, разварную стерлядь и осетрину, блины.

Голован дивился изобилию, а сосед похохатывал:

– Береги, парень, брюхо! Еще всего много будет!

Царские чашники и кравчие не скупилась на напитки. В братинах, кувшинах, четвертинах и сулеях слуги разносили квасы медвяные и ягодные, меды вареные, ставленые, пиво, вина добрые – боярские, двойные...

Голован выпил кубок вареного ягодного меду, который не показался ему хмельным. Подъячий Никодим ухмыльнулся и сказал пьяненьким голосом:

– Ты, парень, толк знаешь!

– А что? – удивился Андрей. – По мне, это питье вроде квасу.

– Вставать будешь – познаешь, каковский это квас!

Голован повернулся к Никите – тот спал, положив лысую голову на стол: непривычного к питью старика сморила чаша меда. Андрей взглянул на свой кубок: слуга успел наполнить опустелую посудину.

– Ой! – удивился Голован. – То и со мной будет, что с наставником.

А за его спиной появился важный чашник и уговаривал выпить. Андрей заметил, что зал гремел выкриками, смехом, шумными разговорами.

– Как разбуянились! – сказал он соседу.

– Это что! – ухмыльнулся тот. – Пир еще в половине. Как владыка уйдет, тогда начнется настоящий пир...

Шум стих. Удивленный Андрей поднял голову. Встал князь Михаила Воротынский, высоко поднял золотой кубок. Глядя на него, и гости подняли ковши,

чары, корцы... У иных вино лилось на бархатные, алтабасовые и камчатные скатерти, на дорогие ковры, устилавшие лавки, на боярские шубы. Никто этого не замечал.

Поклонившись царю, Воротынский громко заговорил:

– Великий государь! Преосвященный владыко! Мужи и братие, соратники казанские! Жаждет сердце растечься похвальными словесами необычному событию, для празднования коего собрались мы под кровом нашего царственного хозяина!..

Долго и красно говорил Воротынский и кончил так:

– Провозглашаю сей кубок за здравие великого царя и государя Ивана Васильевича, всея Руси самодержца, Владимирского, Московского, Новгородского, царя Казанского, государя Псковского и великого князя Смоленского...

Долог был царский титул, но князь Михаила проговорил его весь, не пропуская ни единого слова.

Воротынский осушил кубок и оборотил его вверх дном над головой, показывая, что вина не осталось ни капли. Его примеру последовали гости: не выпить за царя у него же на пиру считалось преступлением, которое прощалось только бесчувственно пьяным.

Волей-неволей выпил и Голован. Никодим хохотнул:

– Пей, парнюга, мед вареный, не пей ставленный – тот одной чарой с ног сшибает!

Царь благодарил Воротынского за поздравление. Никогда он не позабудет верных слуг, что вместе с ним страдали за землю русскую и воротились с победой. Не забудет и тех, что остались лежать в сырой земле, в безвестных могилах...

Митрополит наклонился к царю:

– Слышал я, государь, ходит в народе упорная молва, что надобно ознаменовать великое дело памятью вещественной. Как о сем мыслишь?

– А какой же памятью, владыко?

– О том надо помыслить...

Этот короткий разговор не остался без важных последствий.

А тем временем встал князь Троекуров; сказав похвальное слово покорителю Казани, провозгласил здравицу царскому наследнику – новорожденному Дмитрию Ивановичу.

Потом воевода Микулинский провозгласил тост за благоверную царицу Анастасию Романовну...

Здравицы следовали одна за другой. Тем временем слуги разносили всё новые и новые блюда. Пошли мясные, дичина, рыба.

На столы ставились зайцы в рассоле, говяжьи языки, щучьи головы с хреном и чесноком, поросята рассольные, тетерева...

Важным гостям подавались изысканные кушанья, которых невозможно было наготовить на всех: лосиные губы и мозги, осетровые пупки, язычки белужьи, свежая белорыбица и осетрина (живую рыбу привозили к царскому столу в бочках с водой за сотни верст).

Заздравные тосты продолжались. Голован заметил, что митрополита нет возле царя.

– Вот теперя самый пир начнется! – пробормотал Никодим.

А осенний день подошел к концу, слуги принялись зажигать свет. Загорелись сотни сальных свеч в стенных шандалах, в стоячих светильниках, расставленных посреди столов.

Над головой пирующих висели фигурные серебряные паникадила. К каждой свече тянулась нить, натертая серой и порохом. По ниткам побежали огоньки, свечи запылали. В огромном зале стало светло.

Блюда всё несли и несли: зайцы в репе, караси жареные, колбасы, желудки, начиненные гречневой кашей, лососина с чесноком, гусиные потроха, вязига в уксусе, журавли и цапли под взваром с шафраном, окорока, студни, зайцы в лапше с пирожками, зайцы черные горячие...

К винам подавали закуски: грибы, икру стерляжью, икру паюсную, соленые арбузы и огурцы, рыжики в масле, блины с икрой, горох тертый с маслом...

Голован давно ничего не ел, а когда объявляли здравицу, незаметно выливал кубок под стол: так научил его опытный Никодим Семенов.

А гости, что называется, распоясались. Крик и шум переполняли палату, слышалась громкая похвальба, споры.

Мясные и рыбные перемены кончились. Стали носить сладкое.

Четверо слуг пронесли на огромном блюде к царскому месту сахарный город, изображавший, по замыслу поваров, покоренную Казань. Сахарные хоромы и сахарная мечеть были обнесены сахарными стенами с башенками.

Выдумка изобретательных поваров встретила всеобщее одобрение и понравилась Ивану Васильевичу; он подарил художникам кондитерского дела по полтине.

Наконец обнесли последнее блюдо, завершавшее, по обычаю, пир: оладьи с сахаром и медом.

Появление оладий означало: пора собираться домой. Кто в силах был встать, те кланялись царю, благодарили за угощение и выбирались из палаты.

Воздух в Грановитой палате сделался душен, свечи едва горели среди испарений от питий и кушаний. В тумане мелькали раскрасневшиеся бородатые лица, расстегнутые шубы; под ноги попадали потерянные владельцами шапки. Ноги скользили по лужам от пролитого вина и меда...

Голован разбудил своего старого учителя. Они вышли на свежий воздух, вздохнули с наслаждением и, пошатываясь, добрались до кремлевских ворот; там ждал их с лошадьми Филимон.

– Вот так пир!.. – бормотал Голован.

Глава III

Поездка в Выбутино

Казанский поход принес многочисленные награды отличившимся ратникам и воеводам; не забыл царь и тех, кто, оставаясь в тылу, неустанным трудом готовил победу.

Федор Григорьевич Ордынцев «за доброе смотрение над Пушечным двором» и за то, что отлитые им пушки оказались хороши, был пожалован саном окольничего.

«Эх, отец не дожил, вот бы порадовался!» – подумал Ордынцев, когда ему сообщили о царской награде.

Голован за усердное и умелое руководство строительными работами при осаде Казани получил звание государева розмысла. Теперь путь на родину был ему открыт. Он уже не беглый монастырский крестьянин, а строитель, заслуги которого отмечены царем. И Голован немедленно после получения царского указа собрался в путь.

По возвращении из Казани Андрей поселил наставника и его приемную внучку в своей избе, а сам ютился в людской. Но насмешки дворни так надоели зодчим, что они решили на время увезти Дуню в Выбутино, к родителям Андрея.

Ясным январским днем 1553 года выехали из Москвы Андрей, Никита и Дуня.

Дуня ехала на маленькой косматой лошадедке. Девушка тепло укуталась в беличью шубку; из-под меховой шапки весело глядело разруганное морозом лицо. Все нравилось ей на Руси: и огромный город, который она только что

оставила, и сосновый бор с ветвями, осыпанными снегом, и новая теплая шубка, и лошадка Рыжуха, спокойно трусившая по гладкой дороге... Дуня не знала, что ее беспричинная радость навеяна чувством юной любви. Но когда на нее с улыбкой взглядывал Андрей, девушка смущенно опускала глаза.

После семнадцати дней утомительного пути подъезжали к Выбутину вечерней порой. Сердце Андрея билось неровно; его сжимала сладкая боль: вот она, родина, милая, покинутая... Двенадцать лет не был он дома!

Показалась длинная улица, растянувшаяся вдоль Великой, теперь скованной льдом, занесенной глубоким снегом.

Голован искал глазами родную избу. Вот и она... Какой маленькой она показалась!

Андрей вошел в избу, навстречу поднялись сумерничавшие старики.

– Кого бог нанес? – спросил Илья.

Но материнское сердце уже признало вошедшего.

– Андрюшенька! Кровинушка! – Афимья с плачем бросилась к сыну.

– Батя! Мамынька!..

Голован поклонился в ноги отцу с матерью. Они обнимали его, целовали. Афимья начала причитать по обряду, но в этом причитании слышалась великая радость матери, снова увидевшей сына.

Отец сильно изменился за протекшие годы. Он стал ниже Голована, волосы его совсем побелели.

– Андрюшенька! Маленький мой!.. – разливалась около сына Афимья.

Илья спохватился первый:

– А на дворе, Андрюша, что за люди?

– Ох я безрассудный! Там Булат, наставник мой!

– Булат? Жив?! А мы его по твоим грамоткам за упокой записали, поминанье подавали...

Илья выбежал на улицу, пригласил спутников сына.

Зажгли лучину. Изба наполнилась шумом, движеньем. Булат покрестился перед иконой, облобызался с хозяевами. Смущенная Дуня стояла возле двери.

– А это кто же с вами, девка-то? – тихонько спросила Голована мать.

Булат расслышал вопрос:

– Это? Это мне дочку бог послал в чужой земле.

Дуня заплакала. Афимья женским чутьем поняла, как тяжело и неловко девушке у чужих, незнакомых людей. Старушка обняла ее, ласково повернула к себе:

– Славная моя, бастенькая! Годков-то сколько тебе?

Дуня смущенно молчала.

– Чего ж робеешь, касаточка? Пойдем-ка, я тебя обряжу по-нашему, по-христиански!

Через несколько минут все ахнули: за Афимьей вошла в избу стройная высокая девушка с толстой русой косой, в нарядном сарафане, с ожерельем на груди. С миловидного лица смотрели заплаканные, но уже улыбающиеся глаза.

– Вот! – привскочил с лавки Илья Большой. – Ай да сынок! Гадал поймать сокола – словил серу утицу!

Андрей смутился и бросился доставать привезенные родителям подарки. Матери с поклоном подал персидскую шаль, а отцу – теплый кафтан.

Старики обрадовались, как дети.

– Теперь я этот плат в праздники стану надевать, – говорила Афимья, пряча подарок в укладку.

А Илья нарядился в кафтан и повертывался, стараясь казаться молодцом.

– Справский кафтан, хошь бы и не мне носить, а самому тиуну! Ну, спаси тебя бог, сынок!

Голован с грустью смотрел на когда-то могучего отца, сильнее которого, казалось, не было никого на свете...

Стали укладываться спать. Дуня со старухой забрались на печку, а мужчины легли на полу.

– Ну, теперя, сынок, все порядку сказывай! – молвил Илья, обнимая шею сына здоровой рукой. – Шутка ли: двенадцать годов прошло, как тебя не видали! А все денно-нощно о тебе думали...

– Поличье, что ты с меня списал, я доселе храню, – улыбнувшись сквозь слезы, отозвалась старая Афимья.

Разговор продолжался всю ночь. Усталая Дуня заснула, доверчиво прижавшись к Афимье, а остальные не сомкнули глаз.

Голован объявил отцу, что прогостит в Выбутине недолго. Старики не спорили: они понимали, что такой сын, как Голован, – отрезанный ломоть. Зато как обрадовались они, когда Булат попросил разрешения оставить у них Дуню.

– Есть у меня заветная думка побродить по Руси с Андрюшей, покуда ноги несут, – объяснил он Илье. – А коли нас не будет, где девке приют найти? Разве можно на Москве жить одной! Много лихих людей – избидят сироту.

– Да господи, – заторопилась Афимья. – мы уж так рады!

– Как ты, ласковая, мыслишь? – спросил Дуню Илья.

– Я останусь, – потупилась девушка.

– Ну вот и хорошо! Будешь у меня отецкая дочь!

– А мне сестрица! – добавил Андрей.

Никита бросил на него испытующий взгляд, но парень был спокоен, и ничего, кроме братской нежности, не увидел старик на его лице.

Игумен Паисий, сильно постаревший, но еще бодрый, приехал поздравить Голована с приездом. До хитрого монаха дошли вести, кем стал Андрей, и он понимал, что царского розмысла ему не притеснить. Он даже обещал дать всяческие послабления его семье.

Отъезжая, Голован оставил родителям тридцать рублей из денег, что скопил на выкуп наставника. Отец обнял сына:

– Нам этого вовек не прожить!

Прощаясь, Булат обнял внучку:

– Прощай, Дунюшка! Не горюй, слушайся новых батьку с маткой, а мы, как можно станет, за тобой пришьем.

Голован тоже подошел к Дуне:

– Прощай, сестричка!

Он обнял и поцеловал Дуню. Девушка покраснела так, что, казалось, вот-вот брызнет кровь сквозь румяные щеки.

Глава IV

Царь и митрополит

Прошел год со времени покорения Казани.

В ноябре 1553 года царь посетил митрополита. Когда его крытый возок остановился у красного крыльца, на митрополичьем дворе поднялась суматоха. Забегали митрополичьи бояре, стольники и спальники. Показался в дверях и сам Макарий, тонкий, согбенный; он спешил приветствовать дорогого гостя.

Царь отпустил приближенных митрополита и сказал:

– Хочу с тобой, владыко, в благодатной тишине побеседовать.

– Доброе дело! Пойдем в моленную.

Прошли в полумрак комнаты, освещенной лампадами.

На потолке колебались отражения огней. Было тепло, пахло ладаном. Дюжий служка ворошил дрова в печи, из-под кочерги брызгали искры.

– Выйди!

Служка бесшумно удалился.

Владыка посадил царя в глубокое кожаное кресло, сам скромно сел на низенькую деревянную скамейку.

Царь долго молчал, наслаждаясь покоем; заговорил тихо, доверчиво:

– Раздумался я, отче, о судьбе человеческой, о своей жизни, о том, что свершил я и что свершить осталось... и потянуло к тебе!

– Челом, государь, за сие бью! – Макарий привстал, поклонился. – Что держишь на мыслях, сыне?

– Много раз вспоминал я, владыко, о словах твоих, что были сказаны в прошлом году на пире. Память вещественную, сказал ты, надо оставить о славном походе и о воинах русских, сгибших под Казанью. Держал совет я с людьми, и надумали мы поставить храм – памятник в честь казанского взятия... Али, может, всеу думы мои, владыко пречестной, гордыня обуяла?..

Царь нетерпеливо всматривался в спокойное лицо митрополита, слабо освещенное мерцающим огнем лампад. Макарий ответил на вопрос задумчиво, потихоньку перебирая янтарные зерна лежавшей на его коленях лестовки:

– Жития нашего время яко вода, дни наши, яко дым, в воздухе развеваются. Но коли мыслишь оставить о наших днях память вещественную, греха в том, сыне, не вижу!

Иван Васильевич просиял:

– Воздвигнуть бы нам храм, какого спокон веку на Руси не бывало! Долго нас по тому храму вспоминать будут, а, владыко?

– Замыслил доброе, – ответил Макарий, а про себя подумал: «Святой церкви то польза будет, возвеличение».

– Утешны мне сии мудрые речи, владыко! Побеседуешь с тобой – и душа очищается от житейских тревог. Как твои «Четьи-Минеи»?

Просвещение на Руси сильно пострадало в мрачную эпоху татарщины. В сожженных городах и монастырях погибло много ценнейших древних рукописей, но немало еще ходило по Руси списков различных книг: жития святых, послания русских князей, описания путешествий, сборники под названием «Пчелы», куда трудолюбивый составитель включал все, о чем слышал и узнавал от разных людей, подобно тому как пчела тащит в улей мед с многих цветов...

Митрополит Макарий взялся за огромную задачу: сберечь от забвения, собрать воедино памятники русской письменности, по преимуществу церковной, распределить по двенадцати объемистым книгам, озаглавив каждую названием месяца.

Вопрос о «Четьях-Минеях», заданный царем, был чрезвычайно приятен митрополиту. Морщинистое лицо Макария с седым клинышком бороды как-то помолодело, впалые глаза оживились. Он заговорил с воодушевлением:

– С божьей помощью приведено к концу собрание двенадцати великих книг. Сколько затрачено трудов! Двенадцать лет переписывали писцы, и не щадил я серебра... А сколько подвига, государь, потрачено для исправления иноземных и древних речений, чтобы перевести оные на русскую речь! Сколько я мог, столько и исправил. Что не доделал, пускай иные доканчивают и исправляют...

Царь от души поздравил митрополита:

– Радуюсь твоей радостью, пресвятой владыко! Великое свершил дело для просвещения Руси. Теперь только побольше бы списывали от твоих «Миней». Ох, списывание, списывание! Мыслью я, владыко, печатню завести...

– Книги печатать? Доброе зачинание, благословляю...

– Дьякон Никольской церкви Иван Федоров да Петр Мстиславец приходили ко мне – повелел им быть печатниками...

– Начинает Русь выходить из тьмы невежества!

- О построении храма не устану думать...
- Думай, государь!
- Снова и снова будем о нем беседовать...

Глава V

Важное решение

Царь и митрополит сходились чуть не каждый день потолковать о великом замысле – построить храм на удивление Руси и другим странам.

Иногда при разговорах присутствовал Иван Тимофеевич Клобуков. Рыжебородый, низенький дьяк знал латинский и немецкий языки и служил царю толмачом при тайных встречах с иностранцами, устраиваемых помимо Посольского приказа.

Клобукову, человеку большого ума и образованности, замысел пришелся по душе.

– Храм таковой, без сомнения, воздвигнуть можем, – говорил дьяк. – Только не растянуть бы дело на десятки, а то и на сотни лет, как в иных странах водится. Слышал я, в Паризии собор богоматери три века поднимали...

– Быстро будем строить, – отвечал Иван Васильевич.

Сойдясь, разговаривали о замечательных стройках прошлого.

Макарию в юности пришлось встречаться с зодчим великого князя Ивана III – Ермолиным.

– В нашем кремлевском Вознесенском монастыре церковь полуобваленная стояла, – рассказывал митрополит. – Димитрия Ивановича Донского супруга Овдотья строила – не достроила. Сына его Василия Димитриевича супруга Софья Витовтовна строила – не достроила. Зодчие не могли свод вывести... Прабабка твоя, великая княгиня Марья Ярославна, порешила докончить дело. А уж церковь вовсе обветшала, обгорела даже пожарами многими. И взялся за восстановление Ермолин. Думали, разломает все и сызнава примется ставить. А он, великий искусник, что сотворил? Он ветхое обновил, как живой водой sprysнул, камнем да кирпичом обложил, своды довел – и таковое из праха поднял пречудесное строение, что люди дивились... Вот какие живали в старину зодчие!

– Найдутся и теперь такие! – уверял Клобуков.

Рассказывал митрополит и о перестройке кремлевских стен, затеянной дедом царя, тоже Иваном Васильевичем. Макарий был тогда юношей и хорошо помнил эту грандиозную стройку.

– В старину Кремль являл собою прехитрый лабиринфус тупиков, улиц, улочек и переулочков. Ни пройти, ни проехать... Создался сей лабиринфус без намерения людского, делом случая: кто где хотел, там и строился... Тот же Ермолин взялся за перестройку. Ломка была!.. Зодчему твой дед дал полную волю распоряжаться. По Кремлю только щепки полетели! Строители не щадили ни бояр, ни гостей, ни попов-дьяконов. Епископы и те возроптали. Ермолин церквушки сносил! Но ни мольбы, ни челобитные великому князю не помогали. «Ермолин приказал? Пусть вершится по его велению!» Тогда и воздвиглись благолепные каменные стены и хоромы, что ныне зрим...

– Перескажу я, государь, слова иноземных рыцарей, – заговорил Клобуков. – «Ваш аркос Кремлин – это они его так зовут – столь сильная крепость, каковых и в Европии мало. Знаем, – говорят, – только Медиолан да Метц, что могут с вашим Кремлином равняться. Да и то крепости сии слабее...»

– Великое, великое дело совершил твой дед, государь! – молвил митрополит.

После каждой встречи с Макарием в царе все сильнее зрело желание помериться славой с предками.

Смущал Ивана Васильевича вопрос, кому поручить строительство.

– Может, из чужой страны мастеров добудем? – заикнулся он раз.

– Ни боже мой! – вставил Клобуков. – Своих найдем, русских. Русской славы памятник воздвигаем, чуждый дух нельзя вносить! Да и то скажу: в воинском деле превзошли мы иноземцев – надо и в строительстве показать свое самобытное. Великое это дело – явить миру, на что русский народ способен!

Макарий согласно кивнул головой.

Царь поднялся:

– Воля твоя мне закон, владыко святой!

Наконец царь приказал Клобукову:

– Довольно слов, Тимофеевич! Работу пора начинать. Ищи умелых строителей.

* * *

Для Клобукова наступило хлопотливое время. Много на Руси хороших строителей, но надо выбрать самых лучших, надо найти таких, которые сумели бы понять величие царского замысла и этот замысел осуществить.

Иван Тимофеевич встречался с бывалыми людьми, расспрашивал о знаменитых зодчих и о строениях, ими возведенных. Многие называли Клобукову имя славного строителя Бармы.

Но, как часто случается, говоря о Барме и о его громкой известности, люди не могли припомнить, что он построил. А добросовестный Клобуков не хотел указывать царю и митрополиту зодчего, образец искусства которого нельзя посмотреть.

Расспросы о Барме продолжались. Наконец Клобукову посчастливилось. От престарелого игумена Андроньевского монастыря Палладия Клобуков узнал, что прекрасный храм, поставленный в селе Дьякове и законченный в 1529 году, построен был зодчим Бармой.

Иван Тимофеевич съездил в недалекое Дьяково, и церковь ему чрезвычайно понравилась.

После разговора с Палладием прошло несколько дней. Клобуков сидел в гостях у окольничего Ордынцева и делился с ним заботой – как разыскать лучшего зодчего на Руси.

– Погоди, Иван Тимофеевич, – оживился Ордынцев, – посоветуемся с Голованом.

На недоумевающий взгляд Клобукова хозяин пояснил:

– Это зодчий, что мне хоромы строил. Молод, а дело знает. Он со своим наставником Булатом по Руси ходил, да недавно вернулись: ослабел старик, на покой запросился. А живут они на моей усадьбе.

Голован оказался дома. Через несколько минут он появился в горнице. Ордынцев усадил его, приказал слуге поднести Андрею чару меду.

– Вот что, Ильин! – заговорил Ордынцев. – Призвали мы тебя порасспросить об одном деле. Ты про зодчего Барму слышал?

– Кто же про него не слыхал, боярин! – удивленно воскликнул Голован. – Барма да Постник всей Руси ведомы... Я, когда строил, во многих краях побывал, а чтоб были мастера лучше Бармы да Постника, о том не слыхивал...

– Видишь, Григорьевич, и этот со всеми в одно слово говорит! – обратился к Ордынцеву радостный Клобуков. – Ну-ну, человек, поведай нам про их строения.

Голован с увлечением рассказал о поставленных знаменитыми зодчими палатах и храмах, которые ему довелось видеть во время странствий по Руси. И так как Андрей был знаток своего дела, он сумел раскрыть Клобукову и Ордынцеву своеобразие работ Постника и Бармы.

– Так, так, парень! Видать по всему, это те самые, которые нам надобны! – молвил Клобуков.

– А позволь спросить, господин, для какого строительства? – несмело задал вопрос Голован.

– Сие – тайна государева и рано об этом говорить, ну да тебе поведаю, только до времени молчи, – ответил дьяк. – Задумал государь Иван Васильевич поставить дивный храм – памятник в честь казанского взятия...

– Лучше Бармы с Постником никому такой храм не построить! – с убеждением воскликнул Голован.

Розмысла отпустили, и он пошел к себе, думая, что хорошо бы поработать на новом строительстве помощником Бармы и Постника.

Глава VI

Барма и Постник

Клобуков доложил царю, к чему привели розыски. Макарий вспомнил имя Бармы, похвалил дьяковский храм; хотя митрополит не видел его много лет, но воспоминание о величавом строении сохранилось у него прочно.

– Да, такой зодчий сможет выполнить великое дело... – задумчиво сказал Макарий.

Царь указал: разыскать Барму и Постника. Осмотр дьяковского храма решили произвести позднее, в присутствии самого строителя.

Перед Клобуковым встала новая задача, спешно разыскать зодчих. А где их искать? Русь обширна, и никто не знает, в каком краю строят Барма и Постник.

Но царь торопил, и ко всем наместникам поскакали гонцы с наказами:

«Буде в той области, коей ты, боярин, правишь, сыщутся знаменитые зодчие Барма и Постник, не мешкая ни единого дня, отправить оных в Москву под строгим смотрением, и если в том государевом деле покажешь ты, боярин, небрежение, то ответ с тебя будет спрошен по всей строгости...»

На местах царский наказ наделал немало переполоха. Иные наместники вообразили, что Постник и Барма сбегут, если узнают, что их ищут, а потому и розыск велся тайно. Другие рассудили более здраво: если зодчие названы знаменитыми, значит их ждет царская милость, и надо искать их всенародно. По городам и селам пошли бирючи, громогласно обещая награду тому, кто доведет до сведения властей о местопребывании Постника и Бармы.

След зодчих отыскался под Ярославлем, в Толгском монастыре; там исправляли они монастырские стены.

Обрадованный наместник отправил за зодчими целый отряд во главе с приставом. Приказ был такой: немедленно забрать Постника и Барму и везти в Москву под строгим присмотром.

Наместник так долго внушал приставу важность порученного ему царского дела, что тот хотел сковать зодчих по рукам и ногам, опасаясь злоумышленного их побега. Постник долго убеждал его, что они бежать не собираются, и сунул щедрое подношение; тогда пристав обошелся со строителями более мягко: усадил каждого в отдельную телегу и окружил плотным кольцом стрельцов.

Так Постник с Бармой и были доставлены в Москву и водворены в избе Посольского приказа. Иван Тимофеевич Клобуков навестил зодчих в тот день, как они приехали, и долго беседовал с ними.

О жизни своей зодчие рассказывали скупно.

– О чем много говорить! – удивлялся Барма, коренастый старик с кудрявой седой головой. – Ходили по Руси, строили. Там годик проработал, там другой, с места на место, из города в город, из села в село – глянул на себя, а уж и старость подошла, и голова в серебре... Так и прожил я век бобылем, за работой жениться не поспел. Вот говорю Постнику: «Эй, парень, пока не поздно, обзаводись семьей, а то останешься одиночкой, как я!» Так и ему все некогда да недосуг...

Постник, русоголовый, мощного сложения мужчина, уже доживавший четвертый десяток лет, добродушно улыбался:

– Нейдут за меня невесты: кочую я с молодых лет с наставником, гнезда доселе не свил. Вот уж надо съездить на родину, в Псков, там домишко поставить – может, тогда и семьянином сделаюсь...

Зато о своих стройках Барма и Постник говорили много и охотно. Барма подробно рассказал, как строил он для великого князя Василия Ивановича храм в Дьякове. Василий Иванович, хоть и был обременен государственными делами, все же очень интересовался строительством, частенько наезжал в Дьяково. А когда построен был храм, щедро наградил Барму и хотел подарить каменные палаты в Москве.

– Мне воля дорога, государь, – ответил тогда Барма, – и эти палаты будут мне, как железная клетка птице...

И зодчий снова пошел странствовать по Руси. Привлеченный его славой псковитянин Иван Яковлев, по прозвищу Постник, пришел к нему учеником, и с тех пор в продолжение многих лет они неразлучны. Постник не оставлял старого наставника, хоть давно сравнялся с ним мастерством.

Клобуков не скрыл от зодчих, с какой целью привезли их в Москву и какие надежды на них возлагаются, но просил никому не говорить о царских замыслах.

Разговором с зодчими Клобуков остался доволен и доложил о их прибытии царю. Через два дня состоялся прием.

Сбоку царя сидел митрополит в простой, не пышной рясе; позади стоял Клобуков, поглаживая окладистую рыжую бороду и делая Постнику успокоительные знаки.

– Вот мы, твои слуги, государь! – сказал Барма. – Требовал нас перед свои светлые очи?

– Жалую вас на прибытии, – ответил царь. – Как тебя земля, старче, носит?

– Как твоему батюшке, великому князю Василию Ивановичу, служил, так и твоему царскому величеству могу еще послужить! – Голос Бармы был спокоен и радостен.

– Я чаю, рассказывал вам Тимофеевич, зачем призвали мы вас. По долгом рассуждении приговорили мы построить на Москве пречудесный храм в память великого казанского похода...

– Слыхали, государь!

– Такой надо памятник поставить, чтоб века стоял, напоминал о воинах безвестных, положивших голову за дело русское, хрестьянское! – Голос царя гремел, щеки пылали.

– Великое дело, государь!.. – согласился Барма.

– Не все еще сказано! – прервал его царь. – Надо такой храм поставить, какого на Руси не бывало с начала времен и чтоб иноземцы, на оный посмотрев, диву бы дались и сказали бы: «Умеют русские строить!» Вот что мы держим с преподобным владыкой на мысли! Понятно вам сие, зодчие?

Митрополит кивком выразил полное согласие с царем. Клобуков из-за царской спины поощрительно улыбался.

– Рад слышать такие речи, государь! – сказал Барма.

– А ты что молчишь, Постник?

– В чину учимых я, государь, – скромно ответил Постник. – Решать подобает наставнику, а я из его воли не уклонюсь...

– Мнится, государь, это те мастера, какие нам надобны, – молвил Макарий.

– Возьмешься, Барма? Ответствуй! – обратился к зодчему царь.

Барма низко поклонился:

– Коли не в труд будет, великий государь, повремени до завтра. Тяжек ответ. Возьмемся – пятиться некуда!

– Дело большое, подумайте, – согласился Иван Васильевич.

На другой день разговор возобновился.

– Беремся строить, государь, – заявил Барма, поприветствовав царя. – Как от счастья отказываться!

– Супротивничать не смеем, – сказал и свое слово Постник.

– Шубейками со своих плеч вас жалую! – воскликнул довольный царь. – Будете у меня в приближении.

Барма смело возразил:

– За тем не гонимся, государь! Но и не отнекиваемся от милости, ибо коли не будем у тебя в чести, то бояре твои помехи нам станут строить.

Лицо царя потемнело, глаза взглянули сердито:

– Уж эти мне бояре! Сидят у себя во дворах, как сомы в омутах, думают – я их не достигну. Да нет, шалят, у Ивана Московского руки длинные!.. И вы бояр не опасайтесь. Но... работать у меня!

– С делом не справимся – ответ будем держать! – твердо сказал Барма. – Только и ты нам препон не чини: чтоб мы были делу хозяева. А то ежели сей день так, а завтра иначе, то и зачинать не станем...

Речь Бармы понравилась царю:

– Владыко, слышь, как поговаривает? Это ермолинский дух в нем! Помнишь, ты мне про Ермолина рассказывал и мы гадали, есть ныне таковые мастера али нет?

Макарий смотрел одобрительно:

– Прав он, государь. Кому много дано, с того много и спрашивается. Но чтобы спрашивать, надо дать.

– Смел, смел ты, Барма! – оживленно продолжал Иван Васильевич. – За такие дерзостные речи голову отрубить али помиловать? Помилую: не убоился ты моего гнева и молвил прямое слово!

Барма сказал:

– Дозволь, государь, сказать: строить будем из камня?

– А вы как полагаете?

– Дерево – бренно, камень – вечен.

– Строить будем из камня, – решил царь.

– По отчей старине, – добавил митрополит. – Зачинайте же, чада, делать оклады.

– На такой храм оклады сделать и всю видимость изобразить – дело долгое, государь, – сказал Барма. – И хоть Постник на это великий искусник, а все же много месяцев понадобится. И упреждаю, государь: ты нас не торопи – излишним поспешением делу повредим.

– Будь по-вашему, – согласился царь. – Все благо-потребное получите. Знаю, многие найдутся у вас ко мне дела, посему определяю: доступ вам в мой дворец во всякое время открыт.

– И ко мне тоже, – добавил Макарий.

* * *

Через несколько дней царь в сопровождении митрополита, ближних бояр и зодчих Постника и Бармы совершил поездку в село Дьяково осмотреть тамошний храм.

Барма водил царя Ивана по приделам, объяснял, как строил храм, почему расположил его именно так.

Больше двух десятков лет прошло с тех пор, как Барма в последний раз оглядывал прекрасное создание своего гения. Ему тогда казалось, что он уже старик. Но теперь Барма понял, как был в то время молод и как умудрила его жизнь за прожитые с тех пор годы.

– Расположение этого храма, государь, – говорил Барма, – взято из древних образцов деревянных наших церквей. Мы, русские зодчие, не хотели следовать образцам византийским, с их четырехугольным видом, более пригодным для

палат. Древним русским церквям с прирубями, с шатровым покрытием подобен сей храм; он сложен из камня, но, по желанию строителей, мог быть и деревян...

Пятиглавый дьяковский храм очень понравился царю и сопровождавшим его лицам. Храм не был увенчан пятью шатрами, но намечался переход к ним. Центральная, самая высокая глава опиралась на восемь коротких колонн, которые скрадывали переход от восьмигранника центральной башни к световому круглому барабану.

– Зело благолепен вид сего храма, – говорил митрополит. – Знаю его давно, но после твоих разъяснений, Барма, новыми глазами на него взираю.

– В таком роде думаете строить? – спросил Иван у зодчих.

– Намного и больше и лучше постараемся, государь, сделать! – заверили зодчие. – Все силы положим в новый собор, чтобы дивен он был и красовался на удивление и хвалу...

Глава VII

Выбор места

Прежде чем взяться за разработку чертежей, зодчие попросили указать место для храма.

– Место, где воздвигается строение, великую важность имеет, – говорил Барма митрополиту. – Ино дело, когда храм на возвышенности и виден издалека, ино дело, когда окружен домами и хоромами. Стоит ли одиноко – один вид, строения ли вокруг – другой...

Посоветовавшись с царем, Макарий предоставил выбор места зодчим:

– Найдите, а мы посмотрим!

Постник предложил строить новый храм в Кремле. Барма не согласился.

– От народа отходишь, Иван, – укоризненно покачал кудрявой седой головой старик. – Хочешь строить нетленное, а не проникся духом, какой надобен! Что мы строим? Памятник ратной славы! Чьей славы? – Он огляделся и, хотя в избе никого не было, придвинулся к Постнику и понизил голос: – Кто Казань брал? Брали стрельцы, казаки, добровольные ратники... Кто сложил голову под вражьем городом? Всё они же – безвестные люди русские! Им, этим подвижникам и страстотерпцам за родную землю, – им воздвигнем вечный памятник! Где ему стоять? Там ли, среди боярских палат и царских дворцов – в Кремле, где люди без шапки ходят, али там, где простой народ шумит, бурлит, как волна морская?

Постник опустил голову:

– Прости, наставник, неправо я судил!

Решили ставить храм в самом многолюдстве, на виду у народных масс.

Учитель с учеником пошли по Москве, хоть и знали ее хорошо.

Замоскворечье откинули сразу. В Занеглименье тоже не представлялось подходящего места. Шумная Лубянка казалась пригодной. Однако зодчие прошли и ее и отправились на Пожар. Людское море поглотило их...

Барма и Постник, еле выбравшись из многотысячного людского сборища, переглянулись.

– Тут и строить! – воскликнул ученик.

– Самое сердце города! – отозвался наставник.

– А церкви? – спохватился Постник. – Здесь же церкви стоят...

– Какие это церкви! Убожество одно... Мы их сломаем и на том месте воздвигнем наш храм. Чего лучше! Место открытое, издалека видать: и от Москвы-реки, и от Неглинки, и даже из Кремля, – улыбнулся Барма. – Самое ему тут место! И всю окрестность он скрасит.

Постник помялся:

– Наставник, больно много тут непотребства творится: сквернословят, дерутся...

– Не смущайся, Ваня! Может, иной ругатель али драчун, взглянув на памятник и вспомнив, что он знаменует, постыдится и воздержится от зла. Вот и заслуга наша будет...

– У тебя, учитель, на все готов ответ! – прошептал Постник.

– Многому я жизнью научен; доживешь до моих лет, и ты наберешься опыта...

Барма доложил митрополиту о выборе места. Зодчих призвали к царю, где Барма изложил свои соображения.

– Местом я доволен, зодчие, – сказал царь. – Надобно, не мешкая, сыскивать ломцов и приступить к сносу церквушек, место расчищать...

Глава VIII

Новые заботы Ордынцева

Барма просил митрополита указать число престолов в храме. От этого зависела величина храма и расположение частей. Храм – не дворец, не жилые палаты: его план имеет символическое значение, объясняемое церковными обычаями.

Для обсуждения важного вопроса о престолах опять собрались у царя ближайшие зачинатели строительства: митрополит, дьяк Клобуков, зодчие Барма и Постник.

Митрополит заговорил тихо, раздумчиво:

– Храм, бесспорно, надобно ставить многопрестольный. Вельми трудное дело – избрать имена святых, во имя которых воздвигнутся престолы. И я уже их избрал...

Барма сказал:

– Дозволь спросить, владыко пресвятей: какие соизволишь поставить престолы?

Макарий разъяснил слушателям: избранные наименования церковей напоминают о важных событиях и битвах, случившихся при взятии Казани.

1 октября, в праздник покрова богородицы, русская рать готовилась к решительному, последнему приступу. Митрополит считал, что надо воздать честь богородице за покровительство русскому воинству. И он назвал центральный храм Покровским.

30 августа, в день памяти Александра Свирского, было разбито войско Япончи. В память этого Макарий нарёк один из приделов именем Александра Свирского.

Еще один из приделов был назван именем армянского святого Григория – в честь тех безвестных армянских пушкарей, которых даже угроза смерти не могла заставить идти против русских братьев.

Так названия церковей составили краткую летопись казанского похода.

– Великая вам задача, строители! – заканчивая речь, обратился митрополит к Барме и Постнику. – Около главного храма в честь покрова пресвятой богородицы расположите семь храмов вышереченных, и воздвигнется чудное собрание храмов, собор, каковое слово к нам от прадедов перешло...

Барма что-то прикидывал в уме и соображал: это видно было по движениям его рук. Он успел перешепнуться с Постником, который его понял и одобрил.

– Дозвольте слово молвить, государь и преподобный владыко! Семь храмов окрест главного храма поставить невозможно. Зрелище получится не радостное, а беспорядочное. Надобно ставить округ главного восемь храмов: четыре по четырем сторонам света да другие четыре промежду ними. Тогда возымеет полное совершенство и со всех сторон равный и глаз восхищающий вид...

– Так, государь! – подтвердил Постник.

– Ладно, верю вам. Сделаем восемь престолов вокруг большого.

На этом решении остановились.

* * *

Главным смотрителем будущего строения царь назначил Федора Ордынцева. Этому назначению предшествовал разговор Ивана Васильевича с его любимцем.

Когда Ордынцев вошел в палату, царь сидел на лавке в узком темно-синем терлике с золотыми разводами, в простой бархатной скуфейке, прикрывавшей стриженные в кружок волосы. Перед ним лежали шахматы из слоновой кости; Иван Васильевич внимательно их пересматривал.

– А, Григорьевич! – ласково воскликнул царь. – Как жив?

– Твоими благодеяниями, государь! Здрав будь на многие лета!

Ордынцев низко, до земли, поклонился царю.

– Вот, люблюсь шахматами дивной работы. Персидского государя подарок. Умешь, Григорьевич, сей игре? А то бы сыграли!

– Не обучен, государь! – развел руками окольниковый.

– То-то! – самодовольно сказал царь. – Потому люблю искусство шахматного боя, что имеет оно родство с воинским боем... Знаешь, зачем тебя позвал? – круто переменял разговор.

– Не ведаю, государь!

– Хочу тебе отдых дать от пушечных дел!

Ордынцев покраснел:

– Али не угодил, государь? Худо работаю?

– Работаешь хорошо и, знаю, выучил способных помощников. Одного из них, по твоему выбору, и поставим на твое место. А тебе иная забота: станешь у меня ведать строительством собора. Дело вельми большое...

– Неужто другой на это не найдется? – огорченно спросил Федор Григорьевич.

– Охотников много, да руки у них липкие, – зло ответил царь. – А твою честность я знаю. Сам не будешь воровать и другим не дашь.

– Трудная задача, государь...

– Знаю, что трудная, но ты старайся. И помни, Григорьевич: я тебя с Пушечного снимаю на время. Казань мы великими трудами и кровью повоевали. Думаешь, всё? – Иван значительно поднял палец. – Ныне главное зачнется! Западу ли по душе, что Россия возвышается, что становится твердой ногой на доселе отторгнутых у нее землях? Говорю тебе: поднимутся на нас и поляки, и ливонские рыцари, и свей, и немцы – все дорогие соседушки... И надобно их встретить достойно! А посему про пушки забывать не будем!

– Дозволь, государь, слово молвить. Строительство – дело великое, и я за него берусь. Но ты уж разреши мне и на Пушечный заглядывать, чтобы там дело не разладилось...

– Вот это твое прошение мне по душе! Вижу, верный ты слуга и нелицемерно о государственном деле печешься. И быть по сему!

Ордынцеву пришлось взяться за новое дело.

Царская грамота приказывала разыскать по ближним посадам и уездам все сараи и печи, где выделялся кирпич и где обжигалась известь. Приказано было записать их на царское имя, починить и заново покрыть. Повелевалось строить новые печи и сараи, заготавливать лес и дрова, ломать известковый и бутовый камень.

Всеми этими хозяйственными делами должен был ведать окольниковый Федор Григорьевич. Он же отвечал за царскую казну, отпущенную для стройки. Но так как одному человеку невозможно было справиться с таким громадным делом, то в помощь Ордынцеву было выбрано из московских посадских людей десять целовальников.

Эти целовальники должны были ведать денежными расходами по разным статьям, записывать расходы в книги и скреплять собственноручной подписью. Для рассылки по мелким поручениям приставили двадцать детей боярских.

На Ордынцева возлагалась нелегкая задача: смотреть за целовальниками и детьми боярскими, чтобы они не расхищали казенное добро, не брали посулов и приношений.

Тому, кто будет расточать строительные материалы, посулы брать и работать нечестно, царский указ грозил смертной казнью.

Читая и перечитывая указ, Ордынцев вздыхал:

– Трудно! Ах, трудно!

Собрав целовальников, присланных из Дворцового приказа, Ордынцев сурово внушал им:

– Коли вы, презрев страх божий и уставы государственные, заворуетесь злокозненно, за то вам, татям, нещадное будет мучительство!..

Староста целовальников – большеголовый, большебородый Бажен Пуцин – скромно улыбнулся:

– Будь покоен, государь боярин, мы завсегда господа бога помним!

Но по искоркам, мелькавшим в плутоватых глазах Бажена, Ордынцев решил: «Заворуются, негодники!»

Однако делать было нечего, приходилось распределять обязанности между целовальниками. Одного посылал на каменоломни, другого – приводить в порядок кирпичное дело, третьему поручалось наблюдать за валкой леса. Надо было также следить за сплавом запасов по Москве-реке, принимать материалы на месте, строить склады на берегу, возводить бараки для строителей Покровского собора.

По городам были разосланы указы:

«А какие в городах и волостях сидят наместники и волостели, и тем касающиеся стройки приказы окольного Ордынцева исполнять...»

Но дальше опять строго напоминалось:

«Аще кто из строителей либо целовальников учнет воровать, и тех сужу я, царь и великий государь всея Руси...»

Суеты хватало Ордынцеву по горло. Всех надо было проверить, за всеми следить. Целовальники на купленное доставляли счета от купцов. Однако и на купцов полагаться не приходилось. О них недаром сложилось присловье: «Купец, что стрелец, промашки не даст!»

Ордынцев потерял покой, похудел; а впереди еще много трудов, целые годы... Федор Григорьевич с грустью вспоминал Пушечный двор, где хотя и много было работы, да вся под рукой. А теперь и на Пушечный почти не удавалось заглядывать.

Глава IX

Из переписки Ганса Фридмана

«Высокородному господину придворному архитектору

Ганс Фридман

Отто Фогелю.

23 января 1554 года»

Любезный и почтенный друг!

Не больше шести месяцев прошло, как мы виделись в Дрездене, и вот я, небезызвестный тебе саксонский архитектор Ганс Фридман, успел совершить далекое и опасное путешествие в Московию и пишу из столицы этого северного государства.

Я не смог повидаться с тобой перед отъездом, и ты, без сомнения, спросишь, что заставило меня принять неожиданное решение.

Сознаюсь, я принял его после долгих колебаний: не такое простое дело – пуститься на край света, в страну, которую мы так мало знаем. Но я не видел иного выхода.

Мне далеко перевалило за тридцать, а я не имею семейного очага. Как содержать жену и детей на мой скудный заработок? Мы – старые друзья, вместе учились, и ты знаешь, что я искусный и знающий архитектор, но мне так редко доставалась работа! В Германии слишком мало строят, а если выпадет счастливый случай, то найдется удачливый соперник, который выхватит фортуны из-под носа.

Находясь в таком тяжелом положении, я услышал от благонадежных людей, что в Московии можно найти работу и что там хорошо платят иностранцам. Все же я не сразу поверил слухам. Я написал в Лейпциг, в Нюрнберг... Когда пришли подтверждения, я покинул родину – но, конечно, не навсегда.

Барка, из числа тех, что ходят по Эльбе, благополучно доставила меня в Гамбург. Там я сел на судно шведского купца господина Эрика Румбольда.

Во время переезда меня так мучила морская болезнь, что я чуть не умер. Но, благодарение судьбе, сошел на сушу живым в Риге.

Из этого города я двинулся с рижскими купцами, направлявшимися в Москву. Они избрали обычный путь, каким ездят иностранцы: через Дерпт, Ладогу, Новгород.

Слишком долго описывать, любезный друг Отто, дорожные приключения и неприятности в этой дикой, угрюмой стране. Я расскажу о них при личной встрече. Одно тебе важно знать: я добрался до Москвы, этого огромного, беспорядочного города, и живу у соотечественника Эвальда Курца.

Мои природные способности и знание чешского языка помогли мне за время путешествия ознакомиться с наречием московитов. Я могу объясняться на нем свободно, но решил пока скрывать знание языка. Это для меня выгодно: не остерегаясь моего присутствия, московиты будут разговаривать свободно, и я могу оказаться обладателем важной тайны. И будь спокоен, я сумею воспользоваться выгодами положения.

Конечно, я займу высокий пост в этой непросвещенной стране. Кстати, я заметил, что название „Россия“ вытесняет

прежнее распространенное название „Московия“. Оно считается более широким и более соответствующим растущему могуществу государства. А это могущество чрезвычайно усилилось благодаря покорению казанской орды.

Месяц назад я видел московского властителя Иоанна IV. Это случилось при таких обстоятельствах. Я бродил по московским улицам и площадям, присматриваясь, прислушиваясь к разговорам. Вдруг народ заволновался, слышались возгласы:

– Царь! Царь!

Снимая шапки, люди теснились к заборам, чтобы освободить проезд царю и его свите.

Должен сказать, что Иоанн имеет вид настоящего государя. Он ехал на великолепном аргамаке, покрытом дорогой попоной; седло, сбруя, уздечка блистали золотом и драгоценными камнями. На коне царь сидел с ловкостью опытного наездника (все москвиты таковы: огромные расстояния дикой страны отучили их от пешего хождения). Одет был царь в роскошную шубу на собольем меху; драгоценная бобровая шапка украшена перьями цапли, которую русские считают благородной птицей. При бедре Иоанна висел меч.

Русские, встречая повелителя, падали лицом в снег. Пришлось сделать то же и мне. Поднимаясь, я встретился с царем глазами. У него, как мне показалось, необычайно белое лицо с темными усами и небольшой волнистой бородой и строгий, пронизательный взгляд.

За Иоанном ехала блестящая свита – этим все кланялись в пояс; один я стоял в растерянности, не согнув спины; за это по мне прошелся бич (*der Knut*, как они называют).

После этой памятной встречи я долго добивался случая быть представленным московскому царю. Без такой аудиенции иностранцу в Московии нельзя поступить на государственную службу.

Есть у москвитов слово „волокита“. Это означает бесконечное промедление с делами. В такую волокиту попал и я, к великому прискорбию. Когда ни приходил я с просьбой в Посольский приказ, равнодушные чиновники – дьяки – отвечали:

– Завтра!

Наконец на прошлой неделе мне удалось представиться царю Иоанну, и об этом важном событии я расскажу со всеми

подробностями. Я знаю, ты интересуешься образом жизни и нравами неизвестных народов.

Меня ввели в небольшую комнату, отобрав оружие. Комната убрана с невиданной роскошью. Царя окружали князья и бояре, одетые в длиннейшие меховые шубы и огромные шапки. На каждом боярине столько соболей, горностаев, бобров, что в Германии его одежда составила бы богатство.

Министр иностранных дел Висковатый (они именуют его дьяком Посольского приказа) подвел меня к царю, заставил преклонить колена, назвал мое имя и звание. Иоанн протянул руку для поцелуя и уставился мне в лицо.

– Так ты строитель? – спросил Иоанн.

Я чуть не ответил утвердительно, но, по счастью, вспомнил, что скрываю знание русского языка. Когда вопрос перевели, я ответил.

– Строители нам нужны, – сказал царь.

Он расспрашивал меня, где я бывал, что и где строил, выводил приемы нашей профессии. Как ни странно, но этот удивительный властитель гораздо образованнее германских государей, о которых ты мне рассказывал. Наши герцоги и курфюрсты говорят об охоте, турнирах и женщинах; в этой области у них непререкаемый авторитет. Тебе не удалось встретить ни одного германского принца, который прочитал бы какую-нибудь книгу помимо правил псовой охоты или соколиной ловли. А этот повелитель огромной страны упоминал греческих и латинских классиков, говорил о Платоне, Аристотеле, Вергилии.

Когда же я, по его мнению, неправильно осветил какой-то вопрос архитектуры, он стал опровергать меня, ссылаясь на Витрувия. [192] Моя физиономия выразила непритворное удивление.

Царю это понравилось; он сказал:

– Смотрите, немец рот разинул: удивительно ему, что не нашел в нас невежества, которого ожидал. Этого не переводит, – добавил он толмачу.

Я скромно стоял, постаравшись усилить знаки изумления.

Под конец аудиенции Иоанн обходился со мной значительно мягче. На прощанье он сказал:

– Мы тебе службу дадим, и хорошую: будешь участвовать в построении храма, долженствующего напоминать потомкам о подвиге покорения Казанскою царства. – Обращаясь к

министру, он добавил: – Прикажи, Михайлович, выдать немцу денег. Пока наши зодчие строят планы, ему делать нечего, еще с голоду сбежит...

Можешь поверить, почтенный Фогель, я не сбегу! Я долго ждал фортуны и научился терпению.

Если я и не придворный архитектор московского властелина, то лишь потому, что здесь не существует такого звания. Теперь я смотрю на будущее с большой надеждой.

Это письмо я посылаю с попутчиком, нашим соотечественником. Надеюсь, что оно дойдет в сохранности. Жду вестей. И будь уверен, любезный и почтенный Отто, я постараюсь сообщать о моих дальнейших шагах в далекой Москве.

Твой покорный слуга

Глава X

Составление плана

Когда определилось место для Покровского собора и количество церквей, началась разработка проекта.

Зодчим отвели большую, светлую горницу во дворце. Были поставлены огромные гладкие столы. Ордынцев закупил бумагу, краски, тушь. Барма и Постник проводили во дворце целые дни и уходили с темнотой. Стража внимательно их обыскивала. Царь отдал распоряжение: ни один чертеж не выносить из дворца.

Барма и Постник посмеивались: «Разве не можем мы начертить дома, что делаем здесь?» Но обыску подчинялись покорно.

Первый, долгий спор зашел по вопросу о величине собора.

– Знаешь, Постник, – заявил Барма: – поднимем громаду, чтобы за сотню верст видать! Пусть в солнечный день сияют кресты и главы собора жителям Коломны, Серпухова, Дмитрова, Можайска, Волока Ламского! Весь мир поймет силу Руси, коль скоро мы сможем воздвигнуть таковой храм!

– Подожди, учитель, дай посчитать!

Расчет был трудный и мог быть сделан лишь приближенно. Предвидя заранее, что о размерах собора придется спорить, Постник побывал в селе Коломенском, где лет двадцать пять назад поставили большой храм. Зодчий взобрался к кресту, венчающему шпиль, заметил деревушку на горизонте и, спустившись, определил расстояние. Высота Коломенской церкви Постнику была известна.

Вооруженный этими данными, Постник, знаток геометрии, вычислил:

– Дабы глядеть вокруг на сто верст, надобно строение поднять на триста пятьдесят сажень!

Барма схватился за голову.

– Триста пятьдесят сажень! – с ужасом вскричал он. – Мало не верста... Это я через край хватил! Такого храма никому не построить... Да ты, небось, ошибся, Постник!

– Цифирь не врет! Я долго пересчитывал. Крест нашего собора уйдет за облака. Так гласит гиомитрия...

– Уж эта мне гиомитрия! – проворчал Барма. – Придется сбавлять, и много сбавлять... – Потом сказал: – Сделаем, чтобы за полста верст видать было.

Постник усмехнулся и вновь углубился в расчеты. Барма стоял позади, смотрел через его плечо с надеждой и ненавистью на непонятную арабскую цифирь, возникавшую под пером Постника. Его томило нетерпение.

– Девяносто сажений, – объявил Постник.

Барма был страшно разочарован.

– Еще сбавлять?

Он с тоской вглядывался в холодноватые глаза Постника, но сочувствия не нашел. Постнику не по душе была мысль, что если затеять чересчур обширное строительство, то не придется его довершить, не придется полюбоваться делом своих рук.

Для спора с Бармой у Постника имелось достаточно доводов. Чтобы доказать несбыточность задуманного Бармой, Постник рассказывал ему о соборе Парижской богородицы, о Вестминстерском аббатстве, о Парфеноне...

Собор Парижской богородицы, чудо строительного искусства, французский король Филипп Август заложил в начале XIII века. Еще не оконченное здание сильно повредил пожар. Пришлось его перестраивать. Дело тянулось двести лет. И Постник знал, что две огромные колокольни стоят недостроенными, портя вид великолепного храма.

Вестминстерское аббатство в Лондоне, гордость английского зодчества, строилось, достраивалось и перестраивалось в течение столетий.

– Зришь, наставник, к чему приводит погоня за чрезмерной громадностью здания? Али тебе достаточно за наш век заложить основание да стены поднять на сажень от земли?

– Иные dokonчат...

Простая и светлая душа Бармы не знала тревог и волнений. Он не гнался за личной славой. Начать бы доброе дело – и пусть оно пойдет своим чередом. Не узнают люди имени зачинателя? Что ж! Барму эта мысль не тревожила.

– Иные? – многозначительно повторил Постник. – А примут ли они наш замысел? Не переделают чертежи? Из гистории об иноземных строительствах знаю: часто такое случалось. Да и не рассыплется ли прахом дело, когда не станет ни тебя, ни меня, ни замыслившего сие государя Ивана Васильевича?

Барма начал подаваться, а Постник приводил новые доводы:

– К чему огромность? Конечно, на столе не поставишь здания, поражающего взор, но и при невеликих размерах можно сделать величественное... Парфенон Афинский, коего изображение видели мы в государевой книгохранильнице, радуется зрению и дает вид громадности, какой у него и нет... Твой дяковский храм – разве с него можно взирать окрест на десятки верст! – являет чудесный, величавый вид...

После долгих споров и разговоров согласились, что высота главного храма не будет превышать сорока сажений от земли.

Для утешения Бармы Постник высчитал, что и при такой высоте крест храма в ясную погоду будет виден верст за тридцать пять.

Потом пошли споры, должны ли девять церквей стоять под одной кровлей и составлять общее целое или каждую ставить отдельно.

Этот спор быстро решило духовенство. Макарий приказал, чтобы каждый храм был самостоятельным: «У каждой церкви свои священники и клир, свои прихожане – не годится мешаться одним с другими».

– Бойся владыка: перессорятся попы, служа под одной крышей, – насмешливо заметил Постник. – Доходы не поделат.

Задача архитекторов постепенно выяснилась, но и приобрела новую сложность.

Надо было построить девять отдельных церквей, но так, чтобы они являли взору единое целое. Барма и Постник без споров согласились, что церкви должны стоять рядом, на общем основании.

Задачу единства при разнообразии Барма и Постник объясняли митрополиту образно.

– Сошлись несколько человек случайно, – говорил старый зодчий. – Что сие? Толпа, члены коей ничем не связаны... А то – семья: отец и дети. Во всех нечто родственное, некие общие черты: связь родства их объединяет. Так мы должны мыслить о нашем соборе.

Постнику понравилось сравнение учителя, и он его продолжил:

– Из твоих слов заключаю я, что средний храм должен главенствовать над другими, как отец над детьми. И далее: дети одного отца сходятся меж собой, но и разнятся также, ибо нет в семье двух в совершенстве одинаковых братьев или сестер. Посему все храмы, имея общее родственное сходство, должны разниться, чтобы представлять глазу зрящего не скучное единообразие, но пленительное разнообразие!

– Истину говоришь, чадо, – согласился митрополит.

– Сродство же всех храмов, – развивал мысль Постник, – заключается в пропорциональности их размеров...

– Говори по-русски! – попросил Барма.

Митрополит, по работе над «Четьими-Минями» знакомый со многими иностранными словами, пояснил старому зодчему:

– Сие означает: ежели один храм выше другого вдвое, то и основание его должно быть шире тоже вдвое.

А Постник добавил:

– В геометрии таковое называется: принцип подобия фигур...

Постник предложил Барме положить в основу внешнего вида группы храмов равнобедренные треугольники. Эти треугольники, подобные между собою, должны определять внешний вид не только здания в целом, но и отдельных частей и даже архитектурных деталей и создавать впечатление гармонии и единства.

Зодчие остановились на равнобедренном треугольнике, высота которого относилась к основанию приблизительно как два к одному.

Византийское искусство требовало покрытия церквей обширными куполами, над которыми возвышались цилиндрические световые барабаны, завершенные главами в форме луковицы. В таком стиле построена одноглавая церковь Покрова на Нерли, Успенский собор во Владимире и многие другие древние храмы.

Русскому крестьянину византийское искусство было чуждо. Строя скромную деревянную церквушку, часто обыденку, безымянный зодчий предпочитал накрывать ее восьмигранным шатром – высокой восьмигранной пирамидой.

Этот вид был милее сердцу северянина, чем чуждые полушария и цилиндры византийских церквей. Он напоминал русскому мужику пирамидальные ели его родины.

Борьба между куполом и шатром продолжалась долго. Напрасно церковные власти, защищавшие византийские влияния в архитектуре, издавали строгие приказы: «Шатровых церквей отнюдь не строить!»

Барме и Постнику предстояло воздвигнуть храм – памятник русской военной славы, и они выбрали шатер.

Отношение «два к одному» было найдено путем опытов и изысканий. При меньшем соотношении треугольники получались тяжелыми, приплюснутыми к земле; при большем они чрезмерно вытягивались кверху, теряли реальность. Лишь «два к одному» создавало гармонию, радующую глаз.

Дело подвигалось. Ни царь, ни митрополит не торопили зодчих: они понимали, что обдумывается величавый замысел; осуществленный, он будет жить века.

* * *

Работа подошла к такой стадии, когда необходимо стало набросать внешний вид собора. О плане в основных частях строители договорились, но и при заданном плане наружность собора могла иметь бесчисленное количество вариантов.

Гениальность Постника сказалась во всем блеске, когда он приступил к эскизам храмов.

Искусство составления проекта было делом новым, оно еще только рождалось и на Руси и за границей. Раньше заказчик и строитель договаривались на словах; понятно, все подробности постройки предусмотреть было невозможно – они выливались сами собой, в зависимости от опытности и таланта мастера.

За последние десятилетия проекты грандиозных зданий вычерчивались строителями, но становились известными узкому кругу близких к строительству лиц, в печати не появлялись. Постник шел по малоисследованному пути. В книгах он находил лишь слабые намеки, отрывочные указания, недостаточные для решения задачи, которую приняли на себя. Но грандиозность дела воодушевляла Постника, рождала в душе силы, о которых он доселе лишь смутно предполагал.

Постник жил полной жизнью. Прежде часто случалось: его мучила неудовлетворенность, выполняемые дела казались мелкими, ничтожными. Теперь перед ним была огромная работа – работа, от которой при желании можно не отрываться ни днем, ни ночью. Прежняя угрюмость и раздражительность, иногда подолгу не оставлявшие Постника, сменились тихой сосредоточенностью. Постника трудно стало рассердить. Углубленный в себя, он рассеянно смотрел на собеседника глазами с черными расширенными зрачками – верный признак, что зодчий его не слышит.

Закрыв глаза, Постник представлял себе церкви – нарядные, торжественные, собравшиеся веселой семьей. Видения следовало претворить в действительность и прежде всего закрепить на бумаге. Сначала Постник рисовал храмы по отдельности – центральный храм Покрова, меньшие храмы, которые будут его окружать. А затем художник принялся соединять их во всевозможных комбинациях.

Он переставлял одну церковь на место другой, пробовал новые и новые сочетания, добиваясь цельности общего впечатления. Изыскивая наилучшие виды сооружения с разных сторон, он увеличивал и уменьшал высоту отдельных храмов, менял форму и размеры глав. Работал Постник с редкой быстротой: сказывался особенный талант видеть замысел так ярко, точно он осуществленный стоял перед глазами.

Эскизы лежали в рабочей комнате зодчих десятками. Некоторые уже одобрял требовательный Барма, но неутомимый искатель браковал их и продолжал множить наброски.

Глава XI

Помощники

Оставив Дуню в Выбутине, Андрей и Никита в середине марта вернулись в Москву. Солнышко пригревало по-весеннему, снег на дорогах потемнел и проваливался.

Весенний воздух волновал Булата, он нетерпеливо ждал дня, когда они с Андреем снова отправятся в дальний путь.

Этот счастливый день настал. Подпираясь кленовыми посошками, с котомками за спиной, зодчие оставили Москву, и перед ними раскинулась манящая вдаль дорога.

Но не стало прежней выносливости у Никиты Булата. Не мог он так же неутомимо, как прежде, шагать по лесным тропинкам. Во время ночевки в поле старик беспокойно ворочался с боку на бок под легким армяком: ему было холодно...

Только два месяца проходил Булат по стране со своим учеником, а потом Андрею пришлось покупать телегу и лошадь и везти Никиту в Москву.

Булат лежал на телеге и грустно смотрел в высокое небо.

– Отошло мое времечко... – шептал он. – Съела силушку проклятая татарва...

В Москве Никита отдохнул, поправился, но ему стало ясно, что он уж не работник.

– Даром буду есть твой хлеб, Андрюшенька, – вздыхал он. – Хоть бы смерть поскорее пришла...

Такие разговоры до глубины души обижали Голована.

О приезде Бармы и Постника в Москву Андрей узнал от Ордынцева. Молодой розмысл поспешил к знаменитому земляку, с которым так давно мечтал встретиться.

Постник принял Голована приветливо. Оказалось, что и он давно слышал об Андрее и видел многие его постройки. Теперь, при личной встрече, Постник похвалил работу Голована, указал недостатки. Беседа затянулась на многие часы.

Постник первый заговорил, что хотел бы видеть Голована товарищем по работе. Андрей признался, что это его давняя мечта.

– Эх, кабы твой учитель не состарился, много бы он нам помог! – с сожалением сказал Постник.

– Советом он поможет, а по лесам Никите уж не ходить, – отозвался Голован.

Постник просил Андрея не браться за стройку, которая связала бы его надолго.

– Жди своего часа, – сказал он. – Лишь только государь разрешит набирать помощников, ты будешь первый...

Это время настало, и больше всех порадовался счастью Голована его старый учитель Никита Булат.

Но одним помощником, даже таким знающим и деятельным, как Голован, никак нельзя было обойтись. Зодчие понимали, что в грандиозном строительстве, какое им предстояло, они смогут осуществлять лишь общее руководство. Требовалось найти молодых, усердных мастеров, проникнутых тем же русским духом, той же любовью к родине.

Этим молодым архитекторам надлежало доработать в мельчайших подробностях проекты отдельных храмов, когда Постник и Барма набросают черновой проект собора. И позднее каждый будет вести постройку одной или двух церквей, повседневно проверять работу каменщиков, плотников, кузнецов, кровельщиков...

Слух о строительстве распространился широко, и немало мастеров приходили предлагать услуги.

Барма устраивал придирчивый экзамен:

– У какого зодчего учился? Где строил? Нарисуй на память церковь, в сооружении коей участвовал... Как составляется замес?..

Если молодому строителю удавалось ответить на вопросы, если рисунок получался удачный и показывал хорошую зрительную память, Барма становился добрее. Пряча под седыми усами одобрительную улыбку, задавал каверзные вопросы:

– Что выгоднее строителю: тысяча пуд кирпичу крупного, в пуд весом каждый, али тысяча пуд кирпичу мелкого, по шесть фунтов?

Находчивые отвечали:

– Кирпич потребен всякий: и крупный и мелкий!

– Понимаешь дело! А вот размер пространства, над коим надо вывести своды: сколько опорных столпов поставишь?

Если экзаменуемому удавалось благополучно пройти техническую часть, Барма начинал пытаться его на ином.

– Коли надеешься на богатые корма, – говорил он, хмуря брови, – то ошибешься. У государя нужд и забот много, и надобно храм построить подешевле. Жалованье дадим, чтоб прожить, а богатство скопить не думай!

После такого заявления Бармы некоторые обещали зайти в другой раз, но не приходили.

Барма вспоминал о таких с презрением, но и с сожалением, если претендент обнаруживал хорошую техническую подготовку.

После тщательного отбора Барма принял несколько человек.

Пришелся ему по душе веселый, с постоянной улыбкой на румянном лице, светлоглазый, с русыми, мягкими, как шелк, волосами владимирец Сергей Варака. Варака учился у хороших мастеров – Владимир был колыбелью древнего русского искусства.

Сергей без споров согласился с вознаграждением, какое положил Ордынцев.

Совсем другим человеком выглядел помор Ефим Бобыль. Ходил он тяжело, половицы трещали под ним, голос был грубый и громкий. За маленькую кисточку толстые, плохо гнущиеся пальцы Ефима взялись с робостью, сидел он за пробным рисунком несколько часов, не подпуская Барму; старик решил, что у парня ничего не вышло и он скрывает работу от стыда.

Но когда Бобыль решился предъявить рисунок на суд Бармы и Постника, те пришли в восхищение. Ефим изобразил деревянный храм, покрытый тремя шатрами разной величины, заброшенный среди снежных сугробов севера. Простота и огромная сила чувствовались в очертаниях храма – такой он был родной, русский, до последнего бревнышка, изумительно тонко переданного кистью художника.

– Вот так Бобыль! – с веселым удивлением воскликнул Постник. – Чего ж ты мялся?

– Необык я скоро работать, – стыдливо пробасил Ефим. – Да и думал: может, не поглянется...

Барма с опасением приступил ко второму испытанию: заговорил о жалованье. Выслушав старого зодчего, великан вздохнул:

– Чего греха таить, беден я: батька помер, семья большая – братишки, сестренки малые. Но все одно останусь у вас: больно работа по душе. А с семьей... Что ж, сам не доем, а им скоплю.

Он бесхитростно улыбнулся и сразу завоевал дружбу Постника и Бармы.

Никита Щелкун был в годах, жизнь потеряла его достаточно. Побывал он в Польше, Литве, Галиции, видел много храмов и палат самых разнообразных стилей; сам много строил. После скитаний Щелкуну захотелось пожить несколько лет на одном месте, а стройка Покровского собора обещала такую возможность.

Пришел присланный дьяком Висковатым саксонский архитектор Ганс Фридман. Был немец мал ростом, чуть прихрамывал на правую ногу, глаза его прятались, избегали собеседника. Волосы были серые, как у волка.

Фридман пришел с переводчиком – он все еще скрывал знание русского языка.

Увидев на столах рисунки Постника и Голована, немецкий архитектор попросил разрешения посмотреть их. За листы схватился с жадностью, долго перебирал с завистливым изумлением, но похвалил скупое; попутно солгал, что в Германии искусство составления проектов стоит на большей высоте.

Вознаграждение за работу Фридман запросил большое.

– Велик кус ухватывает, не ровен час – подавится! – сердито сказал Барма, которому саксонский архитектор не понравился с первого взгляда.

Постник вступился за Фрийдмана:

– С виду немец неказист: и ростом не вышел, и рожа поганенькая на сторону воротится. Но, может, хорошо станет работать? Возьмем немца, наставник: по царскому указу прислан.

– Ин ладно! – недовольно согласился Барма.

– Русскому языку надо учиться! – сказал саксонцу Постник.

Тот засмеялся, показав мелкие неровные зубы:

– Пробовал: не дается он мне, труден ваш язык...

Глава XII

Из дневника Ганса Фрийдмана

«...Обещание царя Иоанна осуществилось: я принят в штат строителей Покровского собора.

Август 1554 года».

Познакомился я с главными архитекторами будущего строительства, носящими трудно запоминаемые имена: Барма, Голован, Постник.

Особенно замечательна наружность Голована: глаза его широко раздвинуты и смотрят смелым, в душу проникающим взглядом. Голован – недюжинная личность.

Постник кажется попроще, но я его возненавидел после первого знакомства. Возненавидел за то, что он, не подозревая о моем понимании русского языка, осмелился бросать обидно-снисходительные замечания о моей наружности.

Но не в этом одна причина неприязни. В рабочей комнате архитекторов я увидел чудесные рисунки и эскизы, сделанные Постником. При всех моих способностях мне трудно тягаться с этим несомненно талантливым человеком. И в этом большая опасность для моей карьеры.

Но я упорен и настойчив! Я буду биться за первое место, и горе тому, кто станет на моем пути!

Старше всех Барма, помощник Постника, хотя тот из вежливости называет Барму учителем. Это старик скромный, невидный. Он поглаживал седую бороду, говорил мало и непонятно. Кажется, он из породы баранов, готовых служить кому угодно; ознакомившись поближе, я использую его простоту и наивность для своих целей.

Сейчас моя задача: подорвать доверие к руководителям строительства. Как это сделать, мне пока неясно. Но если я этого добьюсь, царю Иоанну некого будет поставить во главе дела, кроме меня. И тогда – почет, деньги...

Все блага жизни раскроются перед саксонским архитектором Гансом Фридманом!

Глава XIII

Утверждение чертежей

Попы с соблюдением надлежащих церемоний вынесли священные предметы из церквей, обреченных на снос, и ломцы принялись за свою веселую работу.

С грохотом летели балки и бревна, сталкиваясь и поднимая тучи пыли.

За ломцами пришли землекопы – выравнивать и сглаживать участок. А по краям с телег уже сбрасывали груды камня. Бойкие целовальники с замусленными тетрадами в руках вели счет телегам; вместо квитанций делали подводчикам зарубки на бирках.

На берегу Москвы-реки было шумно, людно: там разгружались барки, подвозившие лес, камень, кирпич, песок, известь...

По царскому указу из тюрем выпустили колодников, за коими не числилось тяжкой вины; с них взяли крестное целование, что они не своруют и не убегут, и поставили на разгрузку, требовавшую много рук. Довольные неожиданной свободой, бывшие колодники работали рьяно. Впрочем, за вялость и медлительность десятники хлестали кнутом, так что волей-неволей приходилось поворачиваться.

Веселое удивление провожало коренастого рыжего грузчика Петрована Кубаря, таскавшего на спине камни, которые под силу были троим. Парень сидел в темнице за то, что, вернувшись из казанского похода, не смог вынести холопью долю и сбежал от боярина на вольный юг, а будучи настигнут, искалечил двух поимщиков...

По приказу царя Ивана Васильевича по русской земле должны были ходить глашатаи и сзывать на строительство Покровского собора мастеров и искусных работников.

– Трудное затеяно дело, – сказал царь. – Пускай молва о задуманном повсюду пронесется, пускай говор пройдет по боярским хоромам и по избышкам смердов. То нашему великому замыслу на пользу...

Когда глашатаи приходили за охранительными грамотами к Ордынцеву, окольный говорил им:

– Обещайте народу хорошие корма, говорите, что жить будут сытно. Негодных работников не принимайте: нам такие не надобны.

Глашатаев посылали во Владимир и Суздаль, в Смоленск и Псков за каменщиками, в Новгород и северные области за плотниками. Бывалого Никиту Щелкуна отправили в Киев. Он должен был сговаривать работников в литовских пределах.

Пришли к Барме присланные Голованом Нечай и Демид Жук. Бывшие скоморохи тоже вызвались идти бирючами. Веселый Нечай обещал присылать рабочих во множестве:

– Только успевайте переписывать! Я молодцов одними шуточками да прибауточками взманю!

Бирючам давался строгий наказ:

«Едучи городами, и селами, и деревнями, не бесчинствовать, поминков и посулов не брать, мужиков не грабить и паче же всего не упиваться пианственным зелием.

Аще же который начальный человек учнет допытывать, кем и каких ради дел посылаемы, и тем ответ держать с бережением и оглядкой: посылаемы-де великим государем ради его неотложных государских нужд, и вы-де нам, бирючам, препон не чините, государевой опалы опасайтесь...»

* * *

В конце 1554 года работа над проектом Покровского собора была закончена. Настал великий для зодчих день: чертежи должен был утвердить царь.

Иван и сопровождавшие его лица явились в рабочую комнату. С царем вошли ближние бояре, митрополит, Ордынцев, Клобуков. Глаза посетителей разбежались при виде столов и стен горницы, где были разложены и развешаны огромные листы, изображавшие собор с различных сторон.

Чертежи будущего храма очень понравились царю. Он долго ходил от стола к столу и от стены к стене, рассматривая проекты.

Из присутствующих никто не смел заговорить раньше царя; все ждали, что он скажет.

Лицо Ивана Васильевича светлело, на губах появилась улыбка. Чуткая свита заметила хорошее настроение царя.

– Изрядно! – сказал царь. – Изряднехонько... Это кто рисовал?

– Постник, государь! – отвечал Барма. – И немного – Голованово.

– Хорошо изображено, – подал голос Макарий, – но вижу много нарушение церковных правил. Надо крыть куполами, а тут шатры...

– Дозволь, государь, слово молвить! – смело выступил Барма.

Он произнес горячую речь в защиту шатров. Храм ставится в память русского воинского искусства, в память великих жертв, понесенных русскими людьми; его архитектура должна быть самобытной.

Барма высказал мысль, что русским удалось свергнуть татарское иго и начать с Казани присоединение монгольских царств потому, что Русь просвещеннее татарщины, выше стоит по воинскому делу, по памятникам старины, по искусству.

По мнению старого зодчего, замысленный храм должен показать иноземцам, что русское просвещение стоит высоко. Покровский собор – это итог всех строительных знаний, всех видов русского искусства: зодчества, резьбы, иконописи...

Наконец Барма перешел к символическому значению храма.

– Как Москва больше двух веков собирала вокруг себя русские княжества, так у нас вокруг главного храма, главного престола, собраны престолы меньшие, соподчиненные! – говорил старик, смело глядя в глаза царю Ивану Васильевичу. – Москва собрала разнородные области, сплотила воедино, из мелких княжеств создала сильное государство, и всем его частям то пошло на благо. Так и у нас разнovidные и в то же время родственные храмы создают единое, глазу радостное, сердце веселящее зрелище – Покровский собор, знаменующий единое российское государство!

Царь, взволнованный развернутой перед ним широкой картиной, обнял Барму.

– Чудесно говоришь, старче! – согласился царь. – Повелеваю храм строить, как вы предназначили!

Макарий позволил быстро убедить себя в преимуществах русского шатра перед византийским куполом. Московский митрополит был русским человеком, ревнителем русской старины, и все, что шло от предков славян, было мило его сердцу.

Царь решил и бояре приговорили: лишь только стает снег, ставить по чертежам основание для всех девяти храмов, составляющих Покровский собор.

Постнику за великое усердие, за большие знания в строительном деле царь дал звание городских и церковных дел мастера.

Часть пятая

Памятник ратной славы

Глава I

Глашатаи

Нечай и Демид Жук колесили по Руси третий месяц. Умело вели бирючи дело, много сговорили людей на московскую стройку, много объездили городов и сел.

Подъехав к большому селу, бывалый Нечай, завидя идущего навстречу старика, закричал:

– Откудова?

– Тутошный, кормильцы, тутошный!

– А коли тутошный, сказывай: живут у вас искусные ремесленники?

Расспросив, Нечай отправился в село, собрал мужиков на сходку:

– Здорово, мужички! Как живем-можем?

– Здорово, коли не шутишь!

– Э, милые, нам шутить да лгать от царя заказано: солжешь в рубле – не поверят и в игле!

– От царя? Да неш ты его видел? – удивился простоватый парень.

– А то нет?.. Он меня сюда и прислал. Требуются в Москву работные люди...

– А для какой, примерно, надобности?

– Казанское царство государь Иван Васильевич под свою высокую руку привел, слышали? В память сего великого дела задумал царь на Москве поставить храм, какого от веку веков не видано на Руси. И нужны нам, – начал Нечай сыпать искусную скороговорку: – каменщики и плотники – хорошие работники, молотобойцы и кузнецы – удалые молодцы, копачи-бородачи, печники-весельчаки...

Нечай выждал, когда смолк смех мужиков.

Тихо, вполголоса, оставив шутовскую манеру, начал он рассказ о славном походе. Перед изумленными слушателями встали грозные стены Казани и многочисленные защитники, спрятавшиеся за ними; мужики точно видели воочию страшные взрывы, разметывавшие землю, бревна и человеческие тела, слышали крики и стоны воинов, сцепившихся на улицах города в смертном усилии.

Нечай рассказывал хорошо, рисовал живые и яркие картины.

Потрясенные слушатели долго молчали.

– Да, – отозвался один из стариков, – великое дело свершили. И что храм замыслили соорудить – это на благо. Надо, мужички, подмогнуть...

Мужики удивлялись молчанию второго бирюча. Чувствуя это, Жук заговорил скупой и корявой. Но самая нескладность его речи была, пожалуй, ближе и роднее слушателям, чем бойкая скороговорка Нечая.

– Что долго толковать: пиши, бирюч, меня, Кузьку Сбоя! Иду церкву строить!

– Кузька идет – и меня пиши: Миколка Третьяк!

– И меня, Емелю Горюна!

– Тихо, тихо! Чередом! Обсказывайте свои уменя!..

Так ходили глашатаи по русской земле.

Не напрасен был труд: отовсюду поднимались ремесленники. Подряжались на работу артели, привычные к отхожим промыслам. Часто артельщики договаривались прийти, когда окончат подряженную работу.

Являлись хорошие мастера из таких мест, куда бирючи не заходили: много поселений на Руси, в каждое не заглянешь. Но и туда докатывалась молва.

Приходил какой-нибудь бородач с сажеными плечами:

– Не вы ль царские посланцы?

– А у ты какая надобность?

– Слыхал, плотники требуются.

– А ты плотник?
– Исконный. С дедов-прадедов этим ремеслом кормимся. Домов поставлено без счету. Церкви, хоромы строили...

Заподряженный бородач уходил довольный. Радовались и бирючи.

Прилетели журавли, принесли на крыльях весну. Забегали белоголовые ребяташки по лужам. Начали стекаться строители в бараки, построенные на берегу Москвы-реки. Разбитные целовальники опрашивали проходящих: кем завербован, на какую работу, принес ли инструмент. Всё записывали, людей расселяли по профессиям: каменщиков в один барак, землекопов в другой, плотников в третий...

Больше всего приходило работников с записками от Нечая.

* * *

Набирали на стройку и москвичей. Эти больше нанимались на кузнечную и каменную работу. Много шума вызвало появление женщины, которая пришла подряжаться в каменщики. Баба была рослая, ширококостная.

– И где тут каменщиков набирают? – смело спросила она.

Вокруг женщины собралась толпа. Послышался смех. На шум явился целовальник Бажен Пуцин:

– Ну-ну, чего собрались? Проходи, красавица!

– Запиши меня в каменщики!

– Хо-хо-хо!

– Знай, баба, веретено!

– Каменщик, робя, объявился гляди какой хватской!

Женщина презрительно выслушивала насмешки, блестя быстрыми черными глазами.

– Эх ты, баба... – заговорил Бажен, смущенный настойчивостью просительницы. – Как кликать-то тебя?

– Салоникея.

– Вот что, Салоникеюшка: шла бы ты своей дорогой!

– Бабам тут не место! – прорвался кто-то из любопытных.

Салоникея так стремительно и гневно повернулась, что ближайšie зеваки попятились при смехе толпы.

– То-то бы вы всё нас у шестка держали! Опостылел нам шесток-то ваш!

Сквозь толпу пролезла старуха и залебезила перед целовальником:

– Уж ты прости ее, кормилец... не знаю, как звать-величать тебя... за дерзостные речи! Она у меня прискорбна головой, с измальских лет скудоумной живет...

Салоникея отодвинула маленькую, кланявшуюся до земли старушку:

– Что ты, мать, за мной по пятам ходишь, худую славу носишь! Мое дело – в дом добыть, твое дело – ребят обиходить!

Старуха заковыляла прочь:

– Спешу, родимая, спешу! Не обессудь, Солушка! По простоте слово молвила...

Салоникея выпрямилась перед Пуциным:

– Берешь, хозяин, али нет?

Толпа была покорена настойчивостью женщины:

– Настоящий Еруслан Лазаревич!

– Король-баба!

Салоникея бесстрастно слушала одобрения толпы.

Из круга зрителей вышел хорошо одетый старик:

– Прими, Бажен, я за нее заручник. Она у меня печь сложила – мужику впору. И хозяина под Казанью убили, а ребят у нее пятеро: мал мала меньше...

– Что ж ты про мужа молчала? – спросил Бажен.

– Хочу чтобы мне честь не по мужу, а по мне самой была! – отрезала Салоникейя.

– Ладно, возьму. Но смотри у меня!
Салоникейя улыбнулась и промолчала.

Глава II

Царское угощение

В теплый апрельский день, когда отгудели пасхальные колокола, были устроены столы.

Устраивать столы – угощать работников перед началом дела – полагалось, по обычаю, каждому хорошему хозяину. Как же нарушить старину на стройке, где хозяином царь!

Стол, длиной в добрый переулок, растянулся вдоль барачков. С обеих сторон сидели на скамьях строители Покровского собора.

На грубых скатертях были расставлены сытные яства. Варено сготовили повара в огромных котлах, куда закладывали сразу полбыка или двух баранов. Браги наготовили бочками. Вороха ржаного и пшеничного хлеба лежали на блюдах.

Целовальники и десятники суетились вокруг столов, кланялись:

– Кушайте, мужички! Не побрезгуйте!

Трапеза началась истово, чинно. Не торопясь, хлебали наваристые щи из огромных глиняных мис, подставляя под деревянные ложки кусок хлеба, чтобы не закапать скатерть. Поварята следили за обедающими и, где опоражнивалась посуда, тотчас подливали.

Шумно было в артели, где орудовал громадной ложкой коренастый, приземистый богатырь. Там поварята еле-еле управлялись со сменами.

– Петрован, чорт, и где такую ложку сыскал?

– Али мала?

– Да уж куда меньше! Полмисы зачерпывает!

– А вам завидно?

Мало знавшие Петрована Кубаря соседи поглядывали на парня с удивлением:

– Ну, брат, ежели ты работать так же лют, тогда...

Каши подавались гречневая и пшенная с льняным маслом. Хмельные меды делали свое дело: голова кружилась, голос возвышался; кое-кто затянул песню...

Разойдясь из-за столов, народ долго не мог угомониться и все бродил по берегу Москвы-реки с песнями и громкими разговорами.

На другой день началась работа.

Чуть прокричал заревой кочет, сторож заколотил в било; он ударял по большой чугунной доске железным пестиком. Резкие, назойливые звуки далеко разносились среди свежей утренней тишины.

Звон подхватили барачные старосты: в их распоряжении были ясеневые доски; искусные руки могли вызывать из этих незатейливых музыкальных инструментов приятный рокочущий гул...

Работники завозились на постелях, обматывали ноги онучами, надевали лапти. Тех, кого не могли разбудить звуки била, поднимали сердитые десятники:

– Не спите, не лежите, на работу скорей бегите!

Ленивых и неповоротливых наделяли тычками в затылок:

– Получи впервые! А коли промешкаешь еще, плетей попробуешь!

– О-о, робя, энти угощают не по-вчерашнему!

– А ты как думал? Ежедень тебе блины да пироги?..

Обширная строительная площадка закишела народом. Ржали лошади, скрипели телеги, подвозившие камень, песок, бут. Застучали молотки каменотесов.

Землекопы били кирками по твердой земле. Работать приходилось, не разгибая спины. Нерадивых подгонял кулак десятника.

Сотни людей копошились, как муравьи, и на месте хаоса водворялся порядок. Основание начали возводить с центра: так удобнее было подвозить строительные материалы на телегах и тачках, подтаскивать на носилках.

Работами руководили Андрей Голован и Ефим Бобыль. Часа полтора бродил по площадке Ганс Фридман, шаря повсюду маленькими, юркими глазками. Его сопровождал переводчик.

Фридман отправился к берегу реки, где в огромных чанах готовили замес, осмотрел, поморщился.

Переводчик передал его предложение Бобылю:

– Немец бает: густ замес. Воды, бает, больше надо лить.

– Как это – густ? – возмутился Ефим. – Его по приказу Бармы составили.

Бобыль тут же вызвал Голована, и тот вступил в серьезный разговор с саксонцем. Разговор кончился тем, что Фридман побагровел до ушей и, круто повернувшись, скрылся с площадки.

Рабочие разговаривали:

– И зачем, робя, на постройку памятного храма немца сунули?

– Справимся и без немцев!..

После ухода сконфуженного Фридмана на строительной площадке появились Барма и Постник. Им стало известно о совете немца разбавить замес.

Барма с упреком посмотрел на Постника:

– Эх, Ваня, ошибся ты со своим немцем! Хвалил как: сведущ саксонец, работу знает! А он вот каков... Ну-ка, разведи замес – что выйдет?

Постник попробовал оправдать Фридмана:

– Может, не приобьк он к нашей стройке. На словах-то больно боек...

– То-то, на словах! Бывают люди: на словах города берут, а на деле с мухами справиться не могут. По таким его речам, я этого немца к большому делу и на версту не подпущу!

Глава III

Возвращение Дуни

Весной 1554 года Нечай с Жуком приехали в Выбутино: Никита поручил им привезти в Москву Дуню, благо бирючи набирали работный люд на Псковщине.

Путники ввели лошадей в опустелый двор. На покривленное крылечко выбежала Дуня, узнала гостей:

– Золотые вы мои! Не чаяла дожждаться!..

Нечай смотрел на Дуню. Девушка подросла, длинные русые косы, казалось, оттягивали назад голову. На щеках Дуни не стало прежнего румянца, под глазами легли скорбные тени.

Глашатаи сняли шапки, поклонились хозяйке:

– Как живешь-можешь, Дунюшка?

Голубые глаза девушки наполнились слезами:

– Тяжелое житье... Матушка померла, а батюшка в монастырь ушел.

– Вот оно как! – ахнул Нечай. – То-то, гляжу, одна-одинехонька ты в доме. И давно беда приключилась?

– Уж третий месяц пошел.

– Голован знает?

– Послал батюшка грамотку с проезжим купцом.

– Ну что ж, не печалуйся, Дунюшка! Велел тебе дед собираться на Москву.

– Правда ли? – Девушка заплакала от радости.

– По округе еще поездим, работных людей поищем, да и домой!

Распрощаешься с Выбутином...

На следующий день глашатаи посетили в монастыре Илью Большого и поехали по селам. Дуня нетерпеливо ожидала их возвращения: она тосковала по Андрею.

Неудивительно, что ей полюбили названный брат: он спас ее от тяжелой рабской доли, он был и высок и строен, и глаза его проникали в самую душу. А сколько рассказов от родителей Голована слышала о нем Дуня! Афимья без конца говорила о доброте Андрюши, об уме и красоте его...

«Да за моего Андрюшеньку любая да хорошая купецкая дочь пойдет», – говорила старуха, не замечая скорбно потупленных глаз Дуни.

Дуня постеснялась расспросить Нечая, женился или нет Андрей. Она страшилась даже подумать, что он выбрал себе другую.

В ожидании дни тянулись бесконечно. Утром Дуня торопила вечер, вечером ждала, чтобы прошла ночь. Девушка еще больше похудела и побледнела, глаза ввалились.

Но всему бывает конец. Осталась позади и дорога в Москву. Трепеща от страха, надежды и радости, проехала Дуня по московским улицам, не видя их. Вот и домик Голована, но он изменился: к нему сбоку пристроена горенка.

Сердце девушки замерло: неужели там живет злая разлучница?..

Дуня увидела бородатое, полузнакомое лицо с крупными, резкими чертами: это вышел навстречу Филимон. Бывшему монаху надоела бродячая жизнь, и он остался у зодчих.

Бородач почти на руках внес Дуню, сомлевшую не столько от дорожной усталости, сколько от мучительного, напряженного ожидания. Навстречу девушке, подпираясь клюкой, медленно шел Никита.

– Дедынька! Родненький! – Дуня бросилась на шею Булату. – Уж и как же я стосковалась по тебе!..

– Ничего, касаточка, теперь не расстанемся... А ведь ты выросла, Дунюшка! – с веселым изумлением воскликнул Никита, оглядывая внучку. – Прямо невеста стала...

А Дуня ревнивым глазом искала в доме следов женского присутствия.

Филимон, не подозревая мук девушки, сказал:

– Вот и прилетела молодая хозяйюшка! Воздохнем ноне посвободнее, а то совсем захудали без бабьего уходу... Ильин тебе новую горенку позаботился поставить...

Глаза Дуни радостно блеснули:

«Не женился!.. Не женился!..»

И сразу же окрепшим голосом спросила:

– А скоро братец домой придет?

– Рано не обещался. Дел у него по самую маковку...

Дуня огляделась: сор на полу, в углах, под лавками; на стенах и потолке паутина, слюда в окошках грязная.

– И верно, что захудали: грязь-то, пыль-то, словно век не убирались!.. Дядя Филимон, веник, тряпки! И где тут у вас вода?.. Дедынька, ты ложись, отдыхай, мы с дядей Филимоном живо управимся.

В доме поднялась пыль столбом. Дуня скребла, мыла, чистила... От работы лицо ее покраснелось, а усталости как не бывало: ноги легко и быстро носили девушку по дому. Хотелось как можно скорей все сделать.

К вечеру горницу нельзя было узнать. Дуня разыскала полотно, застлала стол. Убираясь, она успела и обед приготовить. Накрытый стол с разложенными на нем ложками, с нарезанным хлебом ждал хозяина.

Вошедший Голован изумленно остановился на пороге: он не узнал обновленного своего дома.

Нарядная, счастливая Дуня робко подошла к названому брату. Андрей с удивлением и радостью взглянул на разгоряченное лицо Дуни с высоким чистым лбом, с сияющими голубыми глазами.

Голован решительно шагнул к Дуне, взял ее похолодевшую руку:

– Здравствуй, Дунюшка!

– Здравствуй, Андрюша... – потупилась девушка.

Глава IV

Казанские дела

Волга от истоков до устья снова стала русской рекой. Астраханское царство после падения Казани недолго могло существовать самостоятельно. Уже весной 1554 года царь Иван отправил вниз по Волге тридцать тысяч войска под начальством князя Юрия Ивановича Пронского-Шемякина; другой воевода, Александр Вяземский, повел на Астрахань вятских служилых людей.

Астраханцы встретили рать Вяземского выше Черного острова; русские разбили татар. Царь Ямгурчей собирался отстаивать крепость. Но когда войско Пронского приблизилось к Астрахани, Ямгурчей сбежал в Крым. Крепость сдалась.

В Москву радостное известие пришло 29 августа, в день царских именин. Царь щедро одарил счастливого гонца.

Из трех татарских орд, утвердившихся после распада когда-то могучей Золотой Орды на востоке и юго-востоке русского государства, теперь осталась одна – Ногайская, в Заволжье. Ногайцы были многочисленны и храбры. Но и эту орду раздирали смуты, междоусобицы вождей, и этим умело пользовалась Москва.

Зимой 1554/55 года приверженцу Москвы князю Измаилу удалось одержать верх над соперниками. Измаил прислал к царю гонца с изъявлением покорности, с просьбой принять Ногайское княжество под свое покровительство...

Предвидение Ивана, что после покорения Казани откроется путь на восток, сбывалось.

По всей Азии разнеслись слухи об успехах Москвы. Хивинский и бухарский ханы прислали послов с подарками, с предложением выгодных торговых договоров. Сибирский царь прислал дань: бесценных соболей, шкуры чернобурых лисиц, резные изделия из моржовой кости. Присягнули на верность Москве черкесские князья. Просили о русском подданстве земли кахетинцев и грузин.

Всё шире раздвигались пределы многонационального русского государства. Добрый десяток народностей присоединился к России за три-четыре года, и многие другие малые народы, соседствовавшие с Россией, стали ясно сознавать, что только в ее составе, под ее могучим покровительством им обеспечено будущее.

И это сознание повело к великим последствиям в грядущие века...

Но в те годы трудно приходилось русским в Среднем Поволжье.

Уже весной 1553 года, всего через шесть месяцев после присоединения Казани, луговые люди, возбуждаемые князьями и муллами, восстали и перебили сборщиков ясака.

В семидесяти верстах от Казани, на реке Меше, луговые люди построили город, обнесли земляным валом и решили отбиваться от русских.

Тревожные вести пришли в Москву и из Свияжска. Многочисленные отряды вотяков вторглись на горную сторону Волги.

В сентябре 1554 года царь Иван отправил в казанский край сильную рать под предводительством воевод князя Семена Микулинского, Петра Морозова и Ивана Шереметева.

Московские воеводы принялись за дело крепко: они взяли приступом городок луговых людей на Меше, захватили много пленных.

Население арской округи покорилось, вновь дало присягу в верности московскому царю.

Но на следующее лето волнения начались снова...

Впоследствии Грозный сердито укорял Курбского за то, что князь Андрей и его единомышленники были виновниками частых восстаний в казанской области, продолжавшихся больше семи лет.

Иван Васильевич стоял за мягкое отношение к татарам, за прощение прежних вин, за привлечение их к военной службе.

Напротив, Избранная Рада действовала жестокими военными мерами, высокомерно считая «басурман» неисправимыми врагами Москвы, неспособными подчиниться русскому влиянию.

История показала, что прав был дальновидный строитель многонационального государства Иван Грозный. Когда пала Избранная Рада, в бывшем Казанском царстве стали набирать воинов в московскую рать, и татары под начальством Шиг-Алея принесли большую пользу в войне с Ливонией.

Первым шагом царя и поддерживавшего его митрополита в деле умиротворения вновь присоединенных татарских областей было учреждение казанского архиепископства.

Макарий посоветовал царю послать в Казань умного, расчетливого архиепископа Гурия.

* * *

Весной 1555 года царь Иван Васильевич вызвал Постника. Зодчий шел во дворец, думая вести разговор о строительстве собора, которое подвигалось еще медленно. Но первые же слова царя наполнили его тревогой.

– Поедешь, Яковлев, в Казань – кремль ставить, – заявил Постнику царь. – Город мы взяли, а теперь его оборонять надобно: не утихает там бранная лютость по вине моих воевод. Стены потребно воздвигнуть вечные, каменные. Надежнее тебя мастера для этого дела не нахожу.

– А как собор, государь? – огорченно спросил зодчий.

– С собором дело не порушится. У Бармы, окромя тебя, помощники верные: Голована работу знаю, – улыбнулся царь. – А ты, коли хочешь поскорее возвратиться, действуй без промедления. Людей дам достаточно. Помощником тебе поедет псковской дьяк Билибин да старост двое... Да псковской же мастер Ивашка Ширяй по моему указу набирает две сотни каменщиков, стенщиков, ломцов...

Лицо Постника просветлело: он понял, что отрыв от любимого дела будет не особенно долгим.

– Ивашка Ширяй мне ведом, государь: в былое время в одной с ним артели работали. Мастер хорош! Со псковскими каменщиками скоро дело управим.

– На земляные и прочие черные работы разрешаю татар набирать сколь понадобится. О том для наместника отписку дам. Иди!

Но Постник не уходил.

– Дозволь, государь, слово сказать!

Царь Иван нахмурился:

– Чего еще? О кормах ежели...

– Не о кормах, государь! Когда там стройку кончим, позволишь псковичей не отпускать, а по твоему царскому повелению на Москву привезти – собор делать?

Иван ласково взглянул на зодчего:

– Додумался? Хвалю! Зело прилежен к государственной заботе. Пусть будет по прошению твоему.

Задача Постника облегчалась тем, что ему поручили не весь завоеванный город обносить стенами, а только часть, где стоял дворец бывших казанских ханов (теперь там жил наместник), архиепископские палаты, склады оружия и пороха. Яковлев рассчитывал справиться с работой года в два.

Барма, узнав, зачем царь вызывал Постника, сказал:

– Поезжай, Ваня, тебе эта работа в большую науку. А у нас дело на хорошей дороге. Покамест без тебя управимся. Голован, Варака да Ефим Бобыль – дельные помощники. А на немца я не надеюсь: то ли жидок в работе, то ли хитрит и не хочет свои тайности открыть...

* * *

В седьмое воскресенье после пасхи 1555 года из Успенского собора в Кремле вышла торжественная процессия: Москва провожала архиепископа Гурия в далекий путь.

Чтобы не нарушался строгий порядок процессии, ее ограждали тысячи стрельцов и детей боярских; за их рядами волновались, вставали на цыпочках и вытягивали шею собравшиеся во множестве любопытные москвичи.

Выход царя и митрополита обставлялся необычайно торжественно.

Впереди шли хоругвеносцы, за ними – пятьдесят священников в парчовых ризах. На длинных древках иподиаконы несли изображения четырех херувимов. За ними – священники с иконами в рунах. Громадный, тяжелый образ богоматери несли четверо. И снова толпа священников, снова хоругви, снова богоносцы с иконами...

Посреди многочисленной свиты мелкими шажками шел митрополит Макарий; два послушника в длинных ярких стихарях поддерживали владыку под руки.

По бокам митрополита и позади его – епископы, архимандриты, священники.

Далее следовал царь Иван Васильевич, высокий, величественный, в сверкающей одежде, с золотым крестом на груди, в шапке Мономаха. Над царем возвышался красный балдахин; его несли четверо рынд.

За царем важно выступали бояре. Постник, отправлявшийся в Казань с караваном Гурия, тоже удостоился чести сопровождать царя.

За Фроловскими воротами шествие сгрудилось в плотную массу. Был отслужен краткий молебен. Архиепископ Гурий облобызался с царем и митрополитом, выслушал прощальные напутствия и пожелания.

Толпа раскололась. Большая часть духовенства и бояр возвратилась в Кремль. Оставшиеся последовали за Гурием. Ряды стражи охраняли порядок шествия Гурию, первому архиепископу казанскому, предоставили честь освятить основание, возведенное для Покровского собора – памятника казанского взятия.

Основание поднималось посреди площади массивное, внушительное – низкое у Лобного места, значительно более возвышенное в противоположную сторону из-за покатости земли к реке.

Барму провели на площадку Голован и Ефим Бобыль, где упрасывая толпу, а где и расталкивая крепкими локтями. Гурий благословил строителей.

Прислужники надели на архиепископа торжественное облачение, и совершилось третье молебствие, после чего Гурий и сопровождающие его отправились к реке. Там они сели в большие ладьи, на которых предстояло совершить далекий путь до Казани.

Постник попрощался с товарищами и вскочил на отходившее судно.

* * *

Быт нового архиепископа обставили пышно, чтобы создать ему большой авторитет. Гурий имел при себе двор: бояр, детей боярских, архимандритов, архидиаконов, диаконов... Ему положили огромное содержание и постановили выдавать все необходимое для содержания двора, продовольствие.

Перед Гурием были поставлены обширные миссионерские задачи: он должен был как можно больше татар обращать в православие.

Архиепископ Гурий и его помощники выполняли царский наказ ревностно: за первые же несколько лет тысячи татар были крещены в христианскую веру.

От перехода в православие выигрывали только мурзы и беки: за ними закреплялись поместья, и татары-крестьяне становились их крепостными.

* * *

Постник уехал, но налаженная работа шла своим чередом. Первым помощником Бармы сделался Андрей Голован. Вернувшийся из дальней поездки в Киев Никита Щелкун привез оттуда нескольких искусных ремесленников. За это царь наградил Никиту деньгами.

Глава V

Из переписки Ганса Фридмана

«Высокородному и достопочтенному господину придворному архитектору и советнику Отто Фогелю.

Ганс Фридман

Любезный друг!

4 августа 1555 года».

С чувством глубокой радости поздравляю тебя с высоким назначением на пост советника нашего владетельного курфюрста. Ты совершаешь путь по размеренной орбите почестей, придворных званий и связанных с этим доходов. Моя же будущность – увы! – темна и неизвестна...

Скажу по чистой совести: я не думал, что русские так искусны в строительном деле.

Они умеют составлять непревзойденные по качеству „клеевитые растворы“ (я выражаюсь языком московских зодчих), у них высока, как нигде, техника каменной кладки... И это разрушило мои честолюбивые мечты.

Я уже писал, что, нанимаясь на строительство Покровского собора, я рассчитывал сделаться если не главным лицом, то одним из первых. А что вышло? На деле я не выше простого десятника, мне поручают только незначительные дела. И я сам в этом виноват.

Я сразу повел неправильную политику. Я хотел дискредитировать русских архитекторов, пытался толкнуть их на путь неправильных действий. Если бы они последовали моим советам, то основание здания расползлось бы под тяжестью верхних масс. И тогда выступил бы я. Я обвинил бы Барму и Постника в невежестве, в неспособности руководить колоссальной стройкой, я показал бы свои знания и опыт... Результат казался ясным.

Увы, мой дорогой Фогель! Как близкому другу, я пишу тебе со всей откровенностью: я просчитался! Московиты не внимали моим советам и всё делали по-своему, а я заслужил у них репутацию бездарного мастера, которому нельзя поручить серьезную работу.

Я доставил на строительство партию слабо обожженного кирпича. Если бы его заложили в нижнюю часть центрального храма, получилось бы очень хорошо: через несколько месяцев кирпич раскрошился бы и вызвал катастрофу. Барма и Постник попали бы в немилость, а судьба, быть может, вознесла бы меня на высоту... Не вышло и тут! Проклятые русские архитекторы осторожны: выстукивают чуть не каждый кирпич! Мой замысел провалился, да с каким позором! Мне удалось отделаться от сурового наказания, лишь свалив вину на десятника.

Что делать? Если б ты был здесь, ты бы помог мне, мой Отто! Я так верю в твою изворотливость, в твой глубокий ум. Но ответное письмо придет, в лучшем случае, через восемь-девять месяцев...

Я начал исправлять ошибку по собственному разумению и, кажется, опять напутал! Когда я приоткрыл свое истинное лицо умелого архитектора, проклятый Барма чуть ли не догадался о моем прежнем притворстве, о том, что я умышленно подавал неверные советы. Кто мог ждать от старика такой проницательности!

Кстати о Барме. Я считал его помощником Постника, человеком, не стоящим внимания. Постника царь Иоанн отправил на постройку укреплений в завоеванной Казани, и могучая фигура архитектора уже не появляется на стройке. Признаюсь, я почувствовал себя гораздо свободнее. Я думал захватить главную роль, полагая, что Барма растеряется и обратится ко мне за помощью.

Оказывается, я недооценил роль этого скромного с виду старика. Он – главный вдохновитель всего дела. Отсутствие Постника ничего не изменило. Работа продолжается под руководством Бармы, а его главным помощником сделался зодчий Голован, добившийся звания царского розмысла во время осады Казани.

Ха! Во главе стоят мальчишки, неизвестно где и у кого учившиеся, а мне, дипломированному архитектору, чуть ли не приходится подтаскивать кирпичи!

Недавно я дал Барме совет, и довольно дельный. Старик покрутил бороду, смерил меня холодным взглядом и проговорил:

– Пусть переведут немцу, Андрюша: эту работу мы сами совершим. А почему он не наготовил лекального кирпичу для цоколя? [203] Коли будет небрежен в работе, отведаст батогов!

Я чуть не разразился гневным ответом, забыв, что я „не знаю“ русского языка! Видали? Мне – батоги! Я, забыв обо всем на свете, бросился на заготовку проклятых лекальных кирпичей. И когда за три недели сумасшедшей работы я доставил на стройку горы кирпича, молокосос Варака снисходительно сказал:

– Наставник тобой доволен.

Я готов землю грызть от злости!

Но... терпение и осторожность! Буду проявлять побольше усердия и подарю москвитам кое-какие технические новинки. Надо восстанавливать репутацию, которую я испортил по собственной оплошности.

Жду от тебя, любезный Фогель, письма с благоразумными советами. Только старайся, чтобы твои послания шли через верные руки и доходили до меня в неприкосновенности.

Всегда преданный

Глава VI

Работный люд

Летом Ордынцев отправил старшину целовальников, угодника и краснбая Бажена Пуцина, осматривать обширное хозяйство строительства: кирпичные заводы, каменоломни, лесные рубки, пожоги угля...

На честность Бажена Федор Григорьевич вовсе не надеялся. «Борода длинна, да совесть коротка», – думал окольный о старшине целовальников. Ордынцев решил послать с ним своего старшего сына, Семена.

Запершись наедине с Сеней, отец внушал ему:

– Слышно, много непорядку там, куда поедете. Расхищают десятники и целовальники государеву казну, несправедные отписки дают. С мужичонков, кои на промыслах, вымогают последнее. Стонет мужичонки, ко мне выборных посылали. Боюсь, до царя с жалобами дойдут... Ты, Сеня, уж не мал...

Мальчик с гордостью выпрямился. Уродился он в отца – высок, силен, но еще по-детски тонок. Большие серые глаза смотрели на мир с радостным любопытством.

– Буду смотреть, тятенька, неотступно!

– Того мало! С народом говори, спрашивай, какво живется, дают ли корма по положению. Где воровство визнаешь, сам ничего не делай, а все записывай: мне доведешь, я справлюсь.

Гордый доверием отца и важной задачей, юный Семен весело отправился в путь с большебородым Баженом. Умный мужик оказывал мальчику превеличенное почтение, советовался с ним по самым мелким вопросам.

– Как прикажешь, боярич: дальше поедем али на ночлег остановимся? – спрашивал он под вечер.

– А ты как полагаешь?

– Мы что же! Конишки пристали. А впрочем, воля твоя, ты хозяин: повелишь – дальше поедем.

– Давайте останавливаться.

– Эй, холопы! – орал во все горло Бажен. – Боярич приказал ночлег строить: раскидывайте шатер. Да живо у меня: понимайте, кому служите!

Сеня краснел от гордости. Но пока он, уложившись спозаранку, спал крепким детским сном, Бажен устраивал дела. И сам успевал сделать за ночь большие концы, и преданные ему слуги ухитрились повидать кого нужно и все подготовить к следующему дню.

Приехали на лесную порубку. Здесь валились сосны-великаны. Такой мачтовый лес шел на стропила для крыш. Из крепких дубов выделялись связи для стен.

Лесорубы, прослышав, что из Москвы едет царский доверенный, собирались пожаловаться на плохое житье в сырых, дымных землянках, на голод, подтачивавший силы.

– Всё как на ладонке выложим, – сговаривались мужики. – Кормов вовсе не дают. Что промыслишь в лесу, то и твое. А когда промышлять, коли с зари до зари лес роним!.. Ни хлеба, ни круп... Соли сколько месяцев не видим... Одежка с плеч сползла, лаптишки побились... Всё, всё обскажем!

Но им не удалось выполнить свое намерение. Подручные Бажена успели побывать тут до приезда Сени. Недовольных работных людей десятники угнали в глушь леса; остались только надежные – приказчицы прихлебатели.

– Как живем, спрашиваешь? – Они стояли перед Сеней Ордынцевым с умильными улыбками, переминались с ноги на ногу. – Живем, не обидеть бы твою боярскую милость глупым словом, хорошо. Приказчики у нас, дай им бог здоровья, печные, старательные... Кормят, хоша бы и дома так ести...

Сеня всмотрелся в здорового детину с багровым шрамом на щеке:

– Кажись, я тебя видел третьеводни на другой порубке?

Уличенный не смутился:

– Точно, побывал я там: брательника ездил проведывать. Брательник у меня тамotka работает – как мы, лес валит.

Сеня хоть и был неопытен, но заметил: лесорубов слишком мало, если судить по грудам леса, наваленным на поляне.

– Где остальные?

– Остальные?.. – Бажен раскинул бороду веером. – А я их по лесу разослал: зайчишек да лисиц загонять, чтоб было чем твоей милости потешиться.

Страстный охотник, Сеня забыл обо всем, глаза загорелись от удовольствия:

– Когда будем охотиться?

– Завтрашний день, полагаю. Сегодня устал ты, и ежели тебя истомлю, мне твой батюшка спасибо не скажет.

На следующий день Сеня стоял под деревом с легкой пицалью, отделанной серебром, и бил набегавшее зверье. В загонщиках, мелькавших в лесу, дико ухавших, колотивших трещотками, он не мог распознать людей, представленных ему накануне. А вдали грохотали и рушились огромные лесины, сваленные теми самыми мужичонками, что собирались жаловаться бояричу...

Не удалось Сене поговорить по-настоящему и с углежогами. Этим тоже жилось не сладко.

Насквозь пропахшие дымом, с воспаленными глазами, с резкими черными морщинами на грязных лицах, углежоги ни днем, ни ночью не знали покоя – вечно настороже около угольных куч. Прорвалось пламя – заваливай землей. Прозеваешь – сгорит вся куча...

За плохо выжженный уголь, за недостаточное его количество надсмотрщики заставляли ложиться под плети. Много горечи накопилось в душе у углежогов, много жалоб готовили они, но и им не дали возможности пожаловаться хитрые уловки Бажена. Он не стеснялся, поколесив по лесу два десятка верст, вернуться обратно и показать мальчугану тот же пожар с другой стороны. А работников, черных как черти, с замазанными сажей лицами, с нахлобученными на лоб мохнатыми шапками, разве узнаешь!

При осмотре каменоломен Бажен поступал проще: всех непокорных и недовольных загоняли поглубже в карьеры, где их стерегли десятники с бичами. Наверху Ордынцева встречали приказчики с верными холуями. По их рассказам, все шло хорошо.

А если Сеня выказывал намерение спуститься в каменоломню, Пуцин решительно восставал против этого.

– Ты высокого порождения человек, – заявлял он, сурово хмуря брови и топорща огромную бороду, – не нам, смердам, чета. Упаси бог, несчастье: как я за тебя перед батюшкой отвечу?

– Выпусти ломщиков, я с ними поговорю.

– Нет, и не проси. Они урок не выполняют – кто будет повинен? Да на что тебе они? Вот ломщики – расспрашивай!

Сеня вернулся в Москву, не разузнав ничего. А безобразий творилось много. Целовальники, сговорившись с боярскими и княжескими тиунами, требовали на работу зажиточных мужиков. Те откупались, предпочитая потерять деньги, чем здоровье. Повинность переключивалась на бедноту, у которой не было и алтына задобрить начальство. Мужики шли в лес или на каменные ломки, а их жалкое хозяйство приходило в упадок.

Поставщики грабили царскую казну, представляли ложные счета. Если нельзя было означить преувеличенную цену, то преувеличивали количество сданного материала, а приемщики подтверждали это, прельщенные поминками. И хоть строгие царские указы грозили рубить руки за воровство, но это не устрашало лихоимцев.

Вернувшись в Москву, Сеня доложил отцу, что все благополучно, работные люди не жалуются, работы идут полным ходом.

Потом с воодушевлением стал рассказывать о замечательных охотах и рыбных ловлях, которые устраивал ему предупредительный Бажен.

Федор Григорьевич покачал головой:

– Где молоденькому петушку перехитрить старую лису!

Из всех целовальников заслужил доверие Ордынцева только Нечай, назначенный на должность по представлению Голована.

Грамотный и честный мужик возбудил недовольство прочих целовальников: в его счетах цены на купленное были ниже, чем у других.

Ордынцев предлагал Нечаю:

– Хочешь, выпрошу у царя позволение поставить тебя старшим целовальником вместо Бажена?

Нечай низко кланялся:

– Где нам лаптем шти хлебать!

– Ты не приbedняйся.

– Спаси бог за ласку, боярин. Мне и теперь опасно ходить. А тогда всё припомнят: и шутовской колпак, и как я на площадях пляс заводил...

– Ну, приневоливать не буду...

Помощником у Нечая работал молчаливый, сосредоточенный Демид. Этот тоже исполнял дело на совесть: вгрызался в неисправных поставщиков так, что те и жизни были не рады.

– Таких бы мне подручных... – вздыхал Ордынцев.

Несмотря на лихоимство приказчиков и притеснения рабочего люда, строительство шло полным ходом.

Срубленный лес вывозили по снегу: летом не под силу было управляться с огромными бревнами на кочковатых болотистых дорогах. Зима углаживала пути, выстилала их белым пухом. Мужики, поеживаясь от холода, бежали за санями. Лесные материалы сваливались на берегах рек. Там пильщики без роздыха махали руками, выгоняя из кряжей брусья, доски, тес...

Весной все это сплавливалось в Москву.

День и ночь скрипели по дорогам обозы с кирпичом, камнем, известняком.

Москвичи, толпясь вокруг забора, окружавшего постройку, заглядывали в щели, глазели в открытые ворота и удивлялись потоку подвод, из месяца в месяц привозивших на Пожар строительные материалы.

Немало требовалось и съестных припасов для массы рабочего люда. Можно бы закупать припасы в Москве, но тут они стоили много дороже. Славилась изобилием продовольствия Вологда: туда и отправлял Ордынцев закупщиков. Из Вологды везли соль, хлеб, соленую рыбу, зимой – замороженные говяжьи туши. На Украину окольниковый посылал за подсолнечным маслом и крупами.

У Федора Григорьевича намерения были благие, да исполнители их плохие. Целовальники ухитрялись разворовывать значительную часть закупленного для работников продовольствия. Хорошая, доброкачественная провизия обменивалась у купцов на гнилую, которую следовало выбросить на свалку. Целовальник получал хорошую приплату, а строители хлебали щи из котлов, зажимая рукой нос от вони.

Тяжкая работа и скверная пища валили с ног работников; на бирючей налагалась обязанность – набирать на Руси новых.

Барма все силы и помыслы отдавал строительству храма. Когда в зимние морозные дни стройка приостанавливалась, старый зодчий все-таки шел на площадку. Какая-то сила тянула его туда. Барма взбирался на леса, осматривал кладку, мерил, высчитывал. Морозный ветер оведал ему лицо; Барма поплотнее нахлобучивал шапку на голову.

За Бармой по пятам ходил Голован, после отъезда Постника принявший на себя заботы о старике.

– Наставник, иди домой – остынешь!

– Это я-то? – храбрился Барма.

Глава VII

Из переписки Ганса Фридмана

«Достопочтенному придворному советнику и главному смотрителю дворцов курфюрста Саксонского господину

Ганс Фридман

Отто Фогелю.

3 мая 1556 года».

Высокоуважаемый друг и покровитель!

Я получил твое радостное для меня послание и от всего сердца поздравляю, любезный Фогель, с новым высоким саном главного смотрителя дворцов.

А я... я теперь жалею, что покинул Саксонию и явился в эту неприветливую страну. Лучше бы я остался дома и шел к благосостоянию медленно, но верно под твоим доброжелательным покровительством. Но сделанного не воротить.

Пишу подробно о всех здешних делах. У меня нет здесь сведущего собеседника, с которым можно было бы отвести душу и поговорить об архитектуре. Я встречаюсь с земляками, но это грубые, необразованные люди: купцы, мореходы...

Бываю я изредка у Голована. Он умный, начитанный собеседник, с ним приятно провести вечер, толкуя об архитектуре. Я не скажу, что он любит меня, но относится ко мне лучше, чем его товарищи. Барма по-прежнему терпеть меня не может, а я его ненавижу всей душой, и мне трудно скрывать это чувство...

Вот я и изливаюсь перед тобой, старый друг. К тому же ты собираешься писать книгу об истории архитектуры, чтобы с пользой употребить досуг, который дает тебе выгодная и покойная должность. Сведения, что я буду сообщать, драгоценны для твоей работы.

Стройка подвигается быстро. В октябре прошлого года закончили подклет. Подклет у московитов обязательная принадлежность всякого строения. Так называется нижний, обычно нежилой этаж здания. Крестьяне содержат в подклете свиней и кур. Состоятельные люди устраивают там кладовые.

Устройство подклета Покровского собора сложно и остроумно. Под каждым из девяти будущих храмов поставлен восьмиугольный каменный столб, пустой внутри. Эти глухие помещения, куда нет доступа дневному свету, представляют собой нижние этажи храмов, как бы высокие фундаменты их. Для прочности они связаны каменными арками, сверху настлана сплошная каменная площадка.

Едва окончилось строительство подклета и на двери его подвалов навесили огромные замки, как бояре и богатые купцы начали привозить на хранение имущество. Священники охотно сдают подклеты храмов в аренду. Богачи боятся пожаров, татарских нашествий и московских воров.

Закончив подклет, Барма начал ставить на площадке девять отдельных церквей, разделенных открытыми коридорами.

План собора таков. Вокруг центрального храма располагаются четыре меньших храма по четырем сторонам света: эти храмы архитекторы называют „большой четверицей“.

В промежутках, по диагоналям, размещаются церковки „малой четверицы“.

Приходится признаться: план задуман с гениальной простотой, с полным пониманием геометрических необходимостей. Я только сильно надеюсь, что строители не сумеют соблюсти пропорции: тогда собор обратится в

безобразную грудку, и этот провал погубит карьеру Бармы и Постника.

Перейду к деталям плана.

В русских церквях помещение разделяется на две неравные части: меньшая – алтарь – для священника; большая – для молящихся. От основного помещения алтарь отделяется перегородкой – иконостасом, ярко расписанным портретами святых, так называемыми „иконами“.

Алтарь центрального храма будет помещаться в нише, имеющей форму равнобокой трапеции; у нас, дипломированных архитекторов, такие ниши называются „абсидами“, и я с удивлением убедился, что этот термин знаком московским зодчим. В остальных храмах абсиды или малы, или отсутствуют.

Любопытно, что размеры церквей очень невелики. Самый большой храм едва ли вместит двести молящихся. Церкви двух четвертей малы до смешного. Я измерил две из них: шесть с четвертью аршин на четыре аршина; девять аршин на четыре с половиной аршина! Вот так церкви! В них по сорока человек не поместится. В наших рыцарских замках кухни больше, не говоря о пиршественных залах... Впрочем, московские архитекторы и этому подыскали основание. Я слышал, как Барма объяснял одному недовольному священнику:

– Храм наш – памятник, он должен иметь величественный и прекрасный вид снаружи. А для моления в Москве много церквей.

Должно сознаться, вопрос поставлен смело и смело решен.

О материале храма. Барма строит собор из красного кирпича, пуская пояски и карнизы из белого известкового камня. Это будет выглядеть нарядно, хотя нарушает строительные традиции „белокаменной Москвы“. Как известно, столица получила это прозвание потому, что в ней масса зданий целиком построены из белого камня.

Как тщательно следят русские архитекторы за прочностью раствора и за правильностью кладки! Пришлось мне увидеть, как „кроткий старик“ Барма расправляется за неаккуратную работу.

Есть на строительстве два неразлучных друга, два силача: Василий Дубас и Петрован Кубарь. Это ученики каменщиков, свою профессию они начали изучать на строительстве собора.

В последнее время Петрован Кубарь обленился и стал класть кирпич как попало. Быть может, он рассчитывал на снисходительное отношение главного архитектора. А получилось вот что.

Барма, обнаружив скверную работу, принялся лохматить бороду. (Теперь я знаю: у него это признак плохого настроения.)

И в самом деле, он коротко распорядился:

– Тридцать плетей. Потом переделаешь.

Петрована с обнаженной спиной уложили на скамейку, отполированную животами наказуемых, хотели привязать. Он отказался:

– Вырваться не буду!

Плеть засвистала так, что меня невольно пробирала дрожь. А Петрован лежал спокойно, хотя на спине его выступили кровавые полосы. Когда палач отсчитал удары сполна, Кубарь встал, встряхнул волосами и, что удивительнее всего, поблагодарил за науку. Затем он пошел переделывать кладку.

Наказание не подействовало на Петрована. Его снова уличили в небрежности, и он получил новую порцию плетей. А при следующей вине Барма распорядился:

– Уволить ленивца!

И эта мера оказалась самой действенной. Богатырь, из которого плети не могли выбить ни слезинки, ходил по пятам за Бармой и буквально проливал ручьи слез:

– Наставник, прости! Наставник, помилуй!.. Богом клянусь исправиться... Сними позор!..

Петрована поставили на кладку, и теперь это самый старательный работник.

Я рассказал о нерадивом каменщике. Большинство же трудится усердно, особенно женщина Салоникея. Она работает быстро и тщательно; швы идут как по нитке, составляя правильный, четкий узор. Барма ставит ее в пример мужчинам. Салоникея – гордая женщина: похвалы выслушивает совершенно спокойно, как нечто должное.

Кончаю длинное послание. Масло в светильнике выгорело до конца, хлопья копоти покрывают бумагу. Не знаю, когда удастся отправить это письмо, но стало легче на душе, когда побеседовал с тобой.

Глубоко преданный

Попы малых храмов Покровского собора были крайне недовольны своими церквушками. Долго они разговаривали между собой, подогревая возмущение, а потом гурьбой отправились к митрополиту.

Излагать жалобу избрали двоих: маленького, щупленького, речистого протопопа Киприановской церкви Елисея и попа Никодима, настоятеля церкви Александра Свирского. Никодим был немногословен, но славился чудным басом, и за голос его любил владыка.

Просителей допустили в митрополичьи покои. Макарий вышел в худенькой ряске, заляпанной красками: он оторвался от рисования иконы. Владыка, похожий на немудрящего деревенского попа, ласково улыбался:

– С чем пришли, отцы?

Попы повалились на колени, застучали головой об пол.

– Не встанем, пока не согласишься выслушать, владыко! Велие нам грозит разорение! Оскудели животишками! – вопили они на разные голоса.

– Встаньте и говорите! Токмо не разом, а кто-либо один.

Протопоп Елисей бойко зачастил:

– Обижены, господине, гладкой и хладной смертью угрожаемы, и приносим слезные моления чад и домочадцев наших. Ведомо тебе, владыко пресвятый, что были у нас церкви деревянные, довольно обширные, и ходили к нам православные хрестьяне даже в достаточном числе. А теперь как посмотрели, что нам Барма с Постником строят, ужас объемлет...

– Ужас объемлет! – рявкнул Никодим, воспользовавшись тем, что Елисей остановился перевести дух.

Владыка поморщился:

– Ты бы, отец Никодим, помолчал. Глас твой для церкви хорош, а здесь от него ушам больно...

Елисей продолжал:

– Они нам не церкви возводят, но аки бы малые часовенки. Где там молящемуся народу вместиться? Коли три десятка влезет – и то уже много. А каковые там будут алтари? Ведаешь, господине, что в «Учительном известии» сказано: «Во олтарь, главу открыв и поклонение сотворив, вниди и к божественному престолу приступи...»

– «Учительное известие» я и сам знаю, – с нетерпением перебил Макарий. – Ты о деле говори!

– Я о деле, владыко премудрый! Где же в таком алтаре кланяться? Там поклонись – ризой все с престола сметешь...

– Верно протопоп глаголет! Теснота неизреченная! Не повернуться! – загалдели попы.

Макарий покачал головой. Шум утих. Глядя на толстого Феоктиста, настоятеля церкви Варлаама Хутынского, митрополит укоризненно сказал:

– А тебе, отец Феоктист, до голодной смерти, мнится, далеко. И коли попустишься, сие на пользу пойдет. Вишь, чрево разъел! Верю, тебе с таким чревом трудно в новом храме служить. Уж не послать ли тебя на деревенский приход, во просторную церковь?

Побледневший Феоктист стал оправдываться:

– Неповинен, владыко, в чревоугодии. Ем мало, а плоть одолевает. Верно, болеть такая от господа ниспослана... И наказания не заслуживаю...

– Так на что ж вы жалуетесь?.. Церкви малы, тесны – верно. А ведомо вам, что собор сей великую славу нашей православной церкви означать будет? – возвысил голос митрополит.

Его маленькая фигурка стала такой недоступной и властной, что попы съезжились, застыли. Мертвое молчание наступило в палате. Просители поняли, что

дело оборачивается неладно, и думали только, как бы подобру-поздорову унести ноги.

– Довести ваши жалобы до государя: просят-де попы собор разломать?

Попы снова рухнули на колени:

– Прости, владыко! Мы того не мыслили... Снизойди к нашему неразумию...

– Встаньте, отцы! Христос велел прощать до семижды семидесяти вин. Я на вас не гневаюсь. Жить вам надобе, то понятно и мне и государю. Храм строится яко доброзримый памятник казанского взятия, и вы на богатые приходы надежды не возлагайте. Но вас не оставим: корма будете получать из моей казны.

Подойдя к митрополиту под благословение, довольные попы потянулись к выходу. Митрополит задержал их, сказал сурово:

– Но помните, отцы: коли будете сеять в народе смуту и жаловаться на бедственное свое положение, накажу без милосердия, в Соловки отправлю!

Напуганные попы смирились, но вызванные их сетованиями разговоры и толки в народе не прекратились; позднее это повело к неожиданным для строителей последствиям.

Глава IX

Волнения на стройке

Работа, которую проводил до отъезда Постник, теперь пала на плечи Голована. На площадку Андрей заглядывал ненадолго – главную работу он проводил дома. А работа требовала очень много времени и огромного художественного чутья. У малых церквей восьмерики заканчивались – надо было продумывать переходы от этих восьмериков к верхним, более узким. В первоначальном проекте собора общий вид отдельных церквей намечался лишь приблизительно, теперь следовало разрабатывать детали.

Дело усложнялось тем, что обработку каждой церкви еще при Постнике решили производить по-особому, не повторяясь. Храмы должны были сходствовать, подобно детям одной семьи, и в то же время разниться какими-то неповторимыми черточками.

Сергей Варака и Ефим Бобыль помогали Головану, давали свои проекты оформления малых церквей, но общее решение оставалось за Голованом и Бармой.

Молодой зодчий с утра до вечера сидел за эскизами. Он углубился в изучение разного рода кокошников, навесных бойниц, прилепов, колонок витых и рустованных, полукруглых и стрельчатых арок. Нелегкую задачу представляло гармонично сочетать различные архитектурные элементы так, чтобы найти восемь прекрасных композиций, объединенных в стройное целое с центральным храмом.

Голован делал рисунки десятками и уничтожал их, если они его не удовлетворяли. Иногда приходил со стройки Барма, сочувственно смотрел на склоненную над бумагой голову Андрея, в которой начала пробиваться ранняя седина.

Голован бормотал точно в бреду:

– Пустить или не пустить по этому поясу машикули? Боюсь, уширят шею храма... Разве сгладить переход кокошниками?.. А сколько рядов пустить? Два? Три?.. И опять же, какие кокошники ставить? Полукруглые или с подвышениями?.. Нет, не годится, тяжело выходит...

Разорванный лист летел под стол, а Голован с лихорадочной торопливостью уже рисовал на другом. Барма молча уходил, а молодой зодчий, углубленный в работу, не замечал ни прихода, ни ухода наставника, не слышал скрипа отворяемой двери... Он и о еде забывал...

Вечером в рабочую горницу зодчих приходили с Бармой его помощники Сергей и Ефим. Потрепанный жизнью Никита Щелкун держался особняком. После работы отправлялся домой, выпивал чарку и заваливался спать.

Сделанное Голованом за день рассматривали, оценивали, поднимались горячие споры.

А по воскресеньям все собирались в домике Голована, где было и чисто, и светло, и уютно.

Дуня скромно сидела в уголке с рукодельем, не вмешиваясь в мужские разговоры. Понемногу Голована начали выводить из себя умильные взгляды, которые бросал на девушку кудрявый Сергей Варака. Парню полюбилась внучка Булата, и он, весельчак и затейник, не стеснялся выказывать ей свои чувства.

Сильно одряхлевший Булат радовался.

«Теперь у Андрюши с Дуней скорее дело пойдет на лад, – раздумывал он. – Это уж так: есть – не видишь; потерял – горюешь!»

Дружеские отношения Голована и Сергея испортились: молодые люди чувствовали друг в друге соперников.

Очутившись наедине с Дуней, Барма поговорил с ней.

– Ты, девушка, моих ребятенок от работы отрываешь, – полушутливо начал он. – Сергей с Андрюшей, того гляди, подерутся, а работе урон.

Дуня заплакала:

– Я, бабушка, ничем не причинна...

– А я тебя не виню. Ты признайся мне: который тебе по сердцу?

– Сергеем скажи, – прошептала девушка, – за него не пойду... И ни за кого не пойду! – добавила со внезапной решимостью.

– Вот те на! – изумился старик. – А за Голована?

– Где уж! – скорбно вздохнула Дуня. – Он на меня и смотреть не хочет. Да и не ровня мы... Он – царский розмысл, я – сирота.

Барма рассердился:

– Не смей говорить неподобные слова! Сирота нашлась! У тебя дед тоже зодчий, человек повсюду знаемый. Про неравенство не поминай!

– Не буду... – улыбнулась Дуня сквозь слезы.

Старик смягчился, погладил Дуню по гладким русым волосам:

– Не плачь, доченька! А с Сергеем я поговорю, чтобы на грех не лез.

* * *

Не всегда дело с лодырями оканчивалось так гладко, как с Петрованом Кубарем. Несколько человек пришлось прогнать. Уволенные работники распускали лживые слухи, порочащие Барму и его помощников. Эти слухи на лету подхватывались завистниками из числа зодчих, не принятых на работу Бармой.

«Залетели вороны в высокие хоромы! – шипела ядовитая молва. – Не по себе взялись дерево рубить Постник с Бармой. Стенок навыводили, а что с ними делать – не ведают... И то сказать: шутка ль дело – девять престолов! Таковых соборов никто допреж не страивал...»

Слухи дошли до зодчих. Напрасно утешали они друг друга: от сплетен да напраслины мудрено уйти! На душе у них было тяжело, обидно. А тут еще произошел случай, сыгравший на руку недоброжелателям.

Большая толпа рабочих, возмущенных тем, что в последние дни их кормили вконец испорченной пищей, окружила Барму, Голована и Ефима Бобыля. Послышались сердитые возгласы:

– Работаем как проклятые, а едим как свиньи!

– Хороший хозяин такой дрянью кормить свинью не станет – околет свинья!

– В каше не масло, а песок!

– Пошли, ребята, жаловаться самому царю!

Напрасно зодчие старались доказать людям, что не они повинны в плохой пище.

– Что вы всё валите на чужого дядю! – кричали строители. – Вас бы покормить из нашего котла, вы б запели репку-матушку!

Голован и Бобыль переглянулись.

– А ведь не плохо придумано! – усмехнулся Голован.

Бобыль догадался:

– Целовальников на тот же стол посадить, и чтоб ели без отказа!

Зодчие обратились к толпе и рассказали, на какую мысль навел их разговор.

Строители разошлись со смехом и шутками.

Разговоры о случившемся покатались по Москве. Пьяную выходку кучки работников разносчики вестей превратили в бунт. Одни говорили, что зодчих искалечили. «Побили до смерти», – уверяли другие. Нашлись очевидцы, которые собственными глазами видели, как трупы Бармы и даже Постника, которого и на Москве не было, везли на дровнях, завернутые в грязные рогожи...

Царь, узнав о случившемся, приказал зодчим явиться.

– Ничего! – сказал Барма. – Мы никого не боимся и ни от кого не таимся...

Иван Васильевич собирался на охоту. На нем был подбитый мехом зеленый охотничий кафтан, перехваченный кожаным поясом, за которым торчал кинжал; голову покрывала низенькая шапка бобрового меха.

Царь встретил зодчих неприветливо:

– Что про вас Москва благовестит?

Барма ответил с низким поклоном:

– Не прими во гнев, государь! Наше дело большое, а в большом деле не без греха...

– А все-таки есть грех?

Барма рассказал царю о жалобах рабочих на плохую пищу.

Иван Васильевич вспылil:

– Смутьяны на стройке завелись? Драть их кнутами без пощады – узнают, как жаловаться! Вижу, слабы вы с Ордынцевым: не держите народ в узде!

– Батюшка Иван Васильевич! – взмолился старый зодчий. – Возьми на час терпенья!

Царь насмешливо улыбался, выдвигал кинжал из ножен и вдвигал обратно. Смотрел недобрыми глазами.

– Говори, старик, послушаем!

Барма продолжал, не смущаясь:

– Прости, что с тобой по-свойски разговариваю, – на прямое слово ты не серчаешь, то знаю, господине! А сам посуди: работный люд правду говорит – уж очень пища плоха. И надо бы заставить целовальников вместе со строителями из одного котла питаться...

Царь захохотал:

– Кто из вас такое выдумал? Ты, Голован?

– Нет, государь, это к нам от работников пришло.

– Одобрю, – сказал царь. – Более того: семьи целовальничьи поселить в бараках, и чтоб у них все было так, как у работников.

Зодчие кланялись и благодарили.

– Это последнюю вам поблажку даю! – строго молвил Иван Васильевич. – А потом погляжу...

– Поглядишь через три месяца! – не сдержавшись, брякнул Голован.

– Через три месяца? – возвысил голос царь, и на лице его проступили признаки приближающейся грозы. – Что ты сулишь через три месяца, невежа, холоп? Собор кончишь строить али делу поруха придет?

– Прости, государь, с языка сорвалось!

– Поднять тебя на дыбу – научишься держать язык за зубами! Да уж ладно, ступай, – смягчился царь. – И помни: через три месяца я тебя призову к ответу и посмотрю, что ты мне покажешь!

Зодчие вышли из дворца бледные, взволнованные.

Голован целый вечер совещался с учителем. Что они говорили, никто не знал. Но со следующего дня Голован оставил чертежи и начал по целым дням уединяться в подклете центрального храма, за наглухо закрытой дверью. Чтобы предупредить возможность раскрытия тайны, он ставил у подклета на ночь надежную охрану: умного мужика Кузьму Сбоя или Петрована Кубаря.

Теплое чувство к Дуне, пробудившееся в душе Голована, отступило под натиском тревожных событий. Андрей должен был оправдать перед царем сорвавшуюся с уст похвальбу.

Молодой зодчий уходил на работу до свету. Но как ни рано вставал он, Дуня поднималась еще раньше, и на столе ожидал сытный завтрак.

В полдень Дуня, несмотря на погоду, несла Андрею обед. Похудевшая, светившаяся строгой красотой, девушка проходила по строительной площадке, не обращая внимания на шушуканье рабочих.

Дуня стучала, передавала принесенную еду в чуть приоткрытую дверь подклета и спешила домой, гордая, молчаливая.

Выдумка с питанием целовальников имела успех. Сами строители зорко следили, чтобы приказчики и десятники не хватали куски на стороне и чтоб не продовольствовали свои семьи.

Пища сразу улучшилась.

Глава X

Из дневника Ганса Фридмана

«...Против архитекторов было пущено ядовитое оружие клеветы; в этом и я принял посильное участие, возбуждая изгнанных с работы ленивцев. Все, казалось, предвещало успех. О строительстве прогремела такая дурная слава, что Барму и Голована вызвал царь. Я с надеждой ждал от этой вынужденной аудиенции благих результатов и полагал, что Иоанн наложит на зодчих „опалу“, как здесь говорят.

Но что из этого вышло? Я передаю факты с величайшей злостью, готовый сломать перо и порвать ни в чем не повинную бумагу. Эти хитрецы, Барма и Голован, – о, как я их ненавижу! – выпросили у царя трехмесячный срок, обещая поразить его чем-то необычайным.

За это время Голован проводил в подвале храма таинственную работу, которая меня чрезвычайно интересовала. Я пытался проникнуть туда, но встречал грубый отпор.

Наконец срок истек. Я питал надежду, что никакого чуда Голован не покажет, что он хотел выиграть время. Но я только теперь узнал его дьявольскую изобретательность.

По приглашению Бармы царь приехал на постройку. Его сопровождали: брат его – принц Юрий, митрополит Макарий и несколько придворных. Барма повел знатных посетителей;

к свите присоединились Варака и Щелкун, а за ними и я. Барма поморщился, увидев меня, но ничего не сказал, и я пошел за процессией.

Я не видел московского государя года три. Он сильно изменился за это время. Насколько мне известно, ему двадцать семь лет; но, не зная этого, можно смело утверждать, что Иоанн доживает четвертый десяток. Стан его согнулся, он ходит, стуча драгоценным посохом, который не выпускает из рук. Борода его поредела, в ней появились пряди седины.

Барма повел царя по узкому темному переходу, ведущему в нижний этаж центрального храма.

По условному стуку Бармы перед царем и его спутниками запахнулась дверь. Какое неожиданное зрелище представилось моим глазам! Я едва не застонал от ярости... Русские вновь перехитрили меня!

На дощатом помосте, освещенном свечами, стояла великолепная модель Покровского собора высотой около пяти футов. Свет отражался от яркой позолоты глав и крестов храма. Крохотные его оконца светились красноватым светом: внутри горели свечи.

Октябрь 1557 года».

Иоанн и его свита пришли в восхищение, а я не находил себе места... Как подорвать авторитет людей, способных создать такое чудо красоты?..

Модель была с величайшим искусством сделана из деревянных брусков, фигурные главы покрыты тонкими листами позолоченной меди. Аккуратная и точная раскраска давала совершенное подобие белого камня и красного кирпича.

Так вот для чего уединялся Голован! Но это же сверхъестественно – в три месяца создать поразительное произведение искусства...

– Таков будет памятник взятия Казани! – с гордостью сказал Голован.

Нельзя не признаться, что он был хорош, со своей величавой осанкой, с глазами, горящими вдохновением. Но с этого момента я возненавидел его сильнее, чем Барму...

Царь радовался, как ребенок дорогой игрушке.

– Кто из вас сделал это чудо?

– Вот он, государь! – показал Барма на помощника. – Он с молодости искусен в таких строительствах, почему и замыслил сделать таковое подобие...

– Прекрасно, прекрасно! – повторял Иоанн в упоении.

Вдруг глаза его запылали гневом:

– А где клеветники, что оболгали вас, что распускали злостные небылицы? Проклятые! Какое дело погубить задумали!

Хорошо, что под сводами подвала был сумрак, слабо освещаемый свечами, иначе я выдал бы себя. Страх охватил меня. Мне казалось, что грозные глаза Иоанна глядят прямо на меня, пронизывают насквозь.

Я съезжился за широкими боярскими спинами. Как я хотел бы стать червяком, заползти в щель пола... Говорят в таких случаях, что это угрызения нечистой совести. Ерунда! Я просто испугался разоблачения: ведь моя карьера рухнула бы с позором...

Впрочем, все обошлось благополучно, меня ни в чем не подозревают: москвиты недогадливы.

Успокоившись от гнева, царь привлек Барму и Голована, обнял и расцеловал их.

– Вижу, – сказал он торжественно, – что вы верные слуги и заботитесь о величии русской земли и прославлении моего царского рода. Награжу я вас выше всякой меры, а сейчас...

Он снял со своих пальцев два драгоценных перстня и подал смущенным и обрадованным архитекторам. Те благодарили царя, кланяясь до земли.

Митрополит Макарий тоже счел нужным похвалить архитекторов.

Принц Юрий и бояре наперебой осыпали Голована и Барму любезностями и преподносили, по русскому обычаю, подарки. Так как при них не было ни кубков, ни драгоценных мехов, которыми здесь принято одаривать, то они развязывали висевшие у пояса кошельки и вручали архитекторам серебряные рубли, которые те принимали с поклоном.

Царь Иоанн торжественно сказал:

– Теперь вам в работе помех не будет. Если даже прикажете кремлевскую стену разломать для постройки собора, я и в этом поверю. Сие дивное изображение перенесете во дворец под своим личным смотрительством. Кстати, я еще вас поблагодарю, – добавил он с милостивой улыбкой.

И вот плоды разрушительной работы, которую я старался проводить чуть не три года!..

Но я не падаю духом – судьба, быть может, еще повернется ко мне лицом...

Странные сны снятся мне последнее время. Какая-то громада нависает надо мной, грозя обрушиться и раздавить меня.

Я в испуге просыпаюсь, и в момент пробуждения низкий и грозный голос шепчет мне в уши: „Уничтожь!.. Уничтожь!.. Уничтожь!..“

Кого уничтожить?.. Или что?.. Не знаю...

Глава XI

Женитьба Голована

После царского посещения будущность представлялась зодчим в розовых красках. Они разговаривали, без конца повторяя друг другу подробности того, что случилось: и что сказал Иван Васильевич, и что они ему ответили, и что он опять сказал...

Расставшись с Бармой, Голован в радостных мечтах незаметно дошел до дому. Дверь открыла Дуня, с недоумением глядя на непривычно веселое, оживленное лицо молодого зодчего.

– Видно, радость у тебя? – спросила девушка.

Андрей не ответил. Он неожиданно схватил пораженную Дуню и крепко обнял. Дуня старалась вырваться из рук Голована, но он не выпустил девушку.

– Довольно в кошки-мышки играть! Идешь за меня замуж, Дунюшка? – прямо и настойчиво спросил Андрей.

– Пойду... – прошептала Дуня. – Только как дедынька...

– Дедынька спит и видит, чтобы поженить нас! – ответил Голован.

Булат действительно крайне обрадовался предложению Андрея, которое перестал и ждать. Но, храня старинные обычаи, строго выговорил Головану за то, что тот повел дело не по порядку, не заслал сватов, а сам объяснился с девушкой.

– Разве тебе некого было попросить? – сурово говорил старый зодчий. – У тебя Барма – сват, коему никто не откажет: всей Руси известный человек!

– От всего сердца прошу: смени гнев на милость, наставник! Виноват я, точно, свело меня с ума царское благоволение.

– Только ради этого я прощаю, – сказал Булат, пряча довольную улыбку в седых усах.

На другой день Голован поручил Василию Дубасу и Петровану Кубарю перенести модель собора во дворец.

Два богатыря с трудом тащили тяжелую модель на прочных носилках. Втаскивая ношу в царские палаты, Петрован испуганно и восхищенно тарасился во все стороны. Парню и хотелось встретить царя, и он боялся, что, увидев его лицом к лицу, умрет со страху. От волнения он спотыкался, а Василий ругал его сердитым шопотом: он-то уж видел царя!

Модель благополучно внесли в царские покои, установили на большом столе. Спальник вывел носильщиков из дворца, пожаловал за труд по алтыну. Голован и Барма остались ждать царя.

Государя Петрован не встретил, но твердо знал, что если ему суждено вернуться в родное село, то станет он самым знаменитым человеком на много верст в окрестности: он побывал в царском дворце!

Голован скинул покрывало с модели, и вошедший царь мог любоваться миниатюрным храмом при дневном свете.

– Говорите, чем вас пожаловать?

Голован упал царю в ноги:

– У меня челобитье, великий государь!

– Говори.

– Жениться я задумал!

– Вот! – удивился Иван Васильевич. – Да разве ты холост? Невеста кто?

Узнав, что Голован собирается взять за себя приемную внучку старого наставника, царь тотчас вспомнил и зодчего Никиту Булата и его подвиг, за который он недостаточно вознаграждал верного подданного.

– Выбор твой одобряю! А чего ты от меня хочешь?

– Разреши, государь, на Псковщину съездить: у тятеньки родительское благословение испросить.

– Доброе дело, разрешаю. А я прикажу невесте приданое приготовить...

Андрей в три недели управился с поездкой в Выбутино; обрадовал инока Иосифа, в миру Илью Большого, известием о предстоящей женитьбе, о своих успехах в зодчестве. На свадьбу Иосиф не поехал, извинившись недугами и монашеским званием.

Свадьбу Голована и Дуни справили по дедовским обычаям. Посаженым отцом был окольный Ордынцев, представлявший в своем лице высокую особу царя. От венца молодых отвезли на Полянку, в богатое поместье, пожалованное Иваном Васильевичем Дуне: обещанное царское приданое.

Переехал в просторные хоромы и старый Барма, сдружившийся с Голованом за годы отсутствия Постника.

После свадебного пира Дуня смущенно призналась мужу в давней любви.

– Уж так, Андрюша, буду тебя жалеть – пушинке не дам на тебя упасть!..

Глава XII

Возвращение Постника

Постник возвратился из Казани в конце 1557 года. Царское поручение он выполнил исправно и в короткий срок: в два с небольшим года. Кремль завоеванного города русские мастера обнесли крепкими каменными стенами. Новую крепость занял сильный отряд стрельцов, и это произвело большое впечатление на окрестные племена.

Зная из писем Бармы, что рабочих на стройке достаточно, Постник отпустил по домам большую часть псковичей и привез на Москву лишь десятка полтора самых искусных мастеров.

Постник рассказал о казанских делах. На юг и восток шли через Поволжье купеческие караваны. Через персидских купцов московские гости закупали товары из Хивы, Бухары, Индии, Китая. В обмен на ковры, оружие, пряности Москва посылала меха, кожи, лен, воск...

На смену войне приходила торговля. Русские поселения возникали в прежде диких и безлюдных местах на Средней и Нижней Волге, на Каме.

Разоренный и опустошенный край быстро заселялся, оживал.

* * *

Тысячи людей вовлечены были в строительство Покровского собора. Дровосеки стучали в леса топорами, валили мачтовые сосны, огромные дубы. Углежогги выжигали уголь, и на этом угле кузнецы ковали железные полосы, скрепы, болты. Глиномесы готовили сотни тысяч кирпича, а обжигщики укладывали кирпич в печи. Плотники резали квадратные дубовые шашки для полов. Купцы доставляли луженое железо для кровель и глав. Столяры делали перегородки для иконостасов, покрывая их тончайшей узорной резьбой.

Иконописцы писали иконы. Басменники, постукивая фигурными молоточками по листам золота и серебра, готовили драгоценные переплеты для богослужбных книг, а эти книги переписывались трудолюбивыми монахами-переписчиками в тесных кельях.

И вся эта многообразная, кропотливая работа сходилась к единому центру – к строительной площадке, где властвовали Барма и Постник.

* * *

Каменщики подняли стены храмов настолько, что можно было переходить к выкладке сводов. В это время внизу шла отделка церковных порталов. Наибольшее значение Барма придавал входам в церковь Покрова. Над ними трудились лучшие мастера.

Три портала вели в церковный храм: с севера, с запада, с юга. С востока располагался алтарь.

Порталы были сходны по общей композиции, но различались скульптурными деталями; над каждым входом работал особый мастер, и Барма с Постником предоставили им свободу вымысла.

Орнаментальные украшения входов не вылеплялись и не изготовлялись на стороне: они высекались на месте из кирпича, после того как были выложены порталы.

Над отделкой входов работали новгородский резчик Васюк Никифоров и его два товарища. Дверные наличники отделялись в духе деревянного зодчества.

Колонки, обрамляющие порталы – то со спиральным, извивающимся узором, то с шашечным, то в елочку, то рустованные, – могли быть выточены из твердого дерева. Таков же характер кругов, выступающих из стены, подобно торцам бревен; таковы городочки карнизов...

В это хлопотливое для зодчих время у Голована родился сын. Черноглазого мальчишку назвали Никитой, в честь Булата.

Счастливому отцу некогда было любоваться сыном. Голован все силы отдавал строительству: большая четверица, над которой он работал вместе с Постником, подходила к концу. Зодчие целый день проводили на лесах, обмеряя кокошники, арочки, навесные бойницы, зубчики, впадины и прочие многочисленные детали архитектурного украшения башен.

Глава XIII

Из переписки Ганса Фридмана

Из письма Ганса Фридмана Отто Фогелю:

«... Как подвигается твоя „История архитектуры“?

Июль 1559 года».

Это мое послание даст много нового материала для твоего труда, и ты сможешь подробно осветить историю возникновения и развития грандиозного предприятия московитов.

Девять башен собора распределены между зодчими так: центральной ведает сам Барма; большую четверицу строит Постник с помощником Андреем Голованом; юго-западную и северо-западную башни малой четверицы возводят Сергей Варака и Никита Щелкун, а юго-восточную и северо-восточную – Ефим Бобыль.

Какую же башню строю я – дипломированный саксонский архитектор Ганс Фридман?

Я готовлю кирпич, изразцы и голосники. Голосниками русские называют пустые кувшины, закладываемые в своды отверстиям наружу; делается это для облегчения тяжести сводов, но считают также, что голосники, резонируя, усиливают звуки – голос священника и пение хора.

Строительная техника москвитов развивается с поразительной быстротой. Я ездил в подмосковное село Коломенское смотреть храм, воздвигнутый лет двадцать пять назад. Стены храма поражают колоссальной толщиной; строители боялись за прочность сооружения и сделали его таким мощным, что любой крепости впору.

Прошло всего четверть века, и манера кладки стен совершенно переменялась.

Начну с цоколя. На цоколь здания пошел крупный кирпич; его профиль выкладывался из лекальных кирпичей разнообразной формы. Скажу кстати, что мне немало пришлось потрудиться, чтобы удовлетворить требования Бармы. Но он и сумел использовать мою продукцию! Сочетая кирпичи по-разному, московские зодчие нашли красивые и сложные формы.

На башни кирпич потребовался более мелкий; надо сознаться, толщина стен соразмерна их высоте и рассчитана так умело, что одновременно решает задачи и монументальности и прочности. Здесь нет того излишка толщины, как в коломенском храме.

Существенно отметить для истории строительного искусства, что архитектурные формы башенных фасадов Покровского собора выражают собою комбинации внутренних частей. Это означает, что наружному возвышению соответствует внутреннее углубление, и наоборот. Так, стены храмов нигде не утолщаются чрезмерно, в верхних ярусах не нагромождаются тяжелые каменные массы, и Барму с Постником, очевидно, не постигнет строительная катастрофа.

Рискуя показаться непоследовательным, я оторвусь от своего изложения. Несколько слов о Постнике и Барме. Мне кажется, я сумел определить роль каждого в их странном содружестве.

Постник – гениальный художник, хотя я пишу это со скрежетом зубным. Он мысленно видел весь ансамбль, когда на площадке только лежали груды кирпича. Он компоует разнородные архитектурные формы с подлинным изяществом и блеском. Но он не входит в вопросы технического оформления,

предоставляя решать их другим. И здесь на сцену выступает Барма. Это техник исключительной силы и умения, хотя нельзя отрицать и у него огромного художественного вкуса (это видно по построенному им в молодости дяковскому храму). Часто Барма делает указания самому Постнику, и тот выполняет их дисциплинированно и почтительно.

Но все же главная роль Бармы на площадке. Он с необычайной придирчивостью следит за тщательностью кладки, и кладка идет удивительно ровно и чисто. А как выводятся карнизы и все сложные детали архитектурного оформления под его строгим наблюдением!..

Признаться, я с волнением ждал выкладки сводов. Я думал, что своды могут рухнуть, но проклятые москвиты обманули мои ожидания. Своды у них получаются правильными и прочными.

Мало того: Андрей Голован, этот остроумный архитектор, поразил меня технической новинкой, о которой я не слышал в Европе. На втором этаже храма он поставил кирпичные потолки почти плоские, с еле заметной выпуклостью вверх. Но выпуклость только создает впечатление легкости, и дело не в ней. Голован заложил в перекрытие железные балки, и они придали ему необычайную прочность. [205]

Любопытно, что во всем облике собора, а в особенности в его частностях заметно влияние старинной деревянной архитектуры москвитов. Я могу судить об этом, так как, разъезжая по кирпичным заводам, видел много древних деревянных церквей. Абсида Покровской церкви не полукруглая, как обычно у каменных храмов, а трехгранная, и это напоминает деревянную рубку стен. Углы башен большой четверицы отделаны выпуклыми кругами, напоминающими торцы бревен, из которых строятся деревянные храмы. По отделке собора как снаружи, так и внутри чувствуется, что строители еще не отвыкли от привычных, родных форм деревянного зодчества, слагавшихся веками.

Но надобно сказать, что и в каменной архитектуре москвиты сумели создать интересные мотивы; в первую очередь к таковым следует отнести закомары и кокошники. Изложу их историю, как мне удалось выяснить из разговоров с Голованом.

Любопытно, что Голован, с его суровыми, проницательными глазами, довольно охотно беседует со мной и

делится своими обширными знаниями. А Барма, этот старец с кудрявой седой головой, похожий на апостола с православной иконы, завидев меня, крутит бороду, поворачивает спину и уходит.

Возвращаюсь к вопросу о закомарах и кокошниках.

В первые века христианства своды каменных церквей назывались в России «комары». Свод каменной церкви был ее необходимой принадлежностью и символизировал небо. Чтобы напоминать о небе тем, кто молился вне храма, его наружные стены увенчивались сплошными арками, получившими наименование «закомары». Закомары поддерживали церковный купол.

Впоследствии закомары стали отрезаться снизу карнизами, уменьшились в размерах; их назвали «кокошники» – за сходство с головным убором москвиток.

Кокошники сделались излюбленным декоративным приемом строителей каменных церквей. Помимо того кокошники получили важное конструктивное значение: их стали употреблять для перехода от нижнего восьмерика к верхнему (восьмериками русские называют постепенно суживающиеся восьмигранные ярусы каменных башен; восьмигранные формы тоже идут от деревянных срубов).

Позднее архитекторы придумали ставить кокошники в два ряда – то один над другим, то поперебивку. Появились кокошники с подвышениями, кокошники сильно вытянутые кверху...

В тимпанах кокошников [206] строители иногда делают окна – круглые или длинными, узкими прорезами; а если оставляют поверхность тимпана гладкой, то украшают ее цветными узорами и даже изображением святых... [207]

В употреблении кокошников Постник пошел дальше своих современников. Он ставит кокошники в три ряда один над другим, умело разнообразя их форму.

На наш европейский взгляд это непривычно, но, во всяком случае, выглядит оригинально.

Кончаю. Поздний вечер. За окном шумит страшный ветер... Меня клонит в сон, но я боюсь ложиться в постель. Я уже писал тебе, дорогой Отто, что мои ночи полны мучительных кошмаров. Неясные фосфорические фигуры носятся передо мной во мраке комнаты, дикие голоса кричат мне в уши...

Я знаю, кто они. Это демоны разрушения. Они хотят овладеть моей волей, хотят сделать меня послушным орудием... Ведь им самим, бесплотным духам, не дано осуществлять их убийственные замыслы... Я еще борюсь, но чувствую: силы слабеют... Мне страшно! Мне страшно!..

Это письмо осталось неотправленным.

Глава XIV
На стройке

Трудная работа началась, когда дело дошло до сооружения глав. Башни разнились одна от другой архитектурным оформлением. Постник нашел различные приемы и для отделки глав.

Форма у всех одинаковая – луковичная; но много изобретательности и неистощимой фантазии вложил гениальный зодчий в частности. Одна главка напоминала кедровую шишку из русского бора; по другой извивались причудливые зигзаги; третью покрывала чешуя, словно чудовищную рыбу; четвертая разделялась на дольки вертикальными надрезами, а на следующей надрезы шли спиралями...

– Наградил тебя бог выдумкой! – говорили Постнику товарищи по работе. – Благо, девять глав ставим, а кабы больше?

Постник говорил своим низким, грудным голосом:

– Больше? А сколько угодно! Хоть трижды девять глав давайте – все разные сделаю!

Не все плотники соглашались подниматься наверх – устанавливать деревянные остовы глав; было страшно, особенно вначале, когда ноги стояли на узенькой круглой площадке верхнего светового барабана, а вокруг только воздух. На установку первых ребер каркасов шли самые отважные и ловкие. Но когда они охватывали пустое пространство деревянными кольцами и железными кругами, то за ними следовали другие и работали без опаски.

После плотников наверх взбирались кровельщики-верхолазы. У этих работа была еще хитрее. Прицепив подвесную люльку к шпилью, на котором предстояло водрузить крест, они покачивались между небом и землей, распевая песни и приколачивая куски блестящего луженого железа к причудливой опалубке главы. Пожар, кишащий людскими толпами, казался сверху муравейником, а голоса долетали как невнятный ропот.

Работа на высоте устрасала в дни, когда дул сильный ветер: люлька раскачивалась, ударялась о выпуклую поверхность главы. В такие дни верхолазы бросали жребий, кому подниматься.

На верхних ярусах башен большой четверицы класть кирпичи тоже мог не всякий каменщик.

Над Салоникеей заранее подтрунивали ехидные языки:

– Ой, баба, баба, на низовой кладке ты у Бармы в чести, а как на верхотуру полезешь? Зараз душа в пятки уйдет!

– Это мы поглядим, у кого она куда уйдет! – презрительно отвечала Салоникеея.

И баба оказалась права. Струсил кое-кто из мужиков, а Салоникеея наверху держалась спокойно, как у себя перед печкой.

– Вот чортова баба! – удивлялись каменщики. – Не иначе, она за пазухой бесстрашный корень носит...

Мало того – Салоникеея привела четырнадцатилетнего сынишку Гераську. Тот поприглядывался недели две, а потом принялся работать ловко и сноровисто,

как мать. Барма поручал Салоникее и ее сыну самые трудные работы по отделке фасадов и знал, что они не испортят.

Башни малой четверицы были закончены целиком и восхищали взор москвичей сверкающим благолепием своих глав. Но у храмов большой четверицы выкладывались еще только шеи.

Работника, который не решался подниматься на высоту церковной шеи, благочестивые старики уговаривали:

– Чего боишься, дурачок? Тебя ангелы будут держать!

«Ангелы ангелами, а веревкой привязаться не мешает», – думали строители.

Наконец пришел радостный день окончания башен большой четверицы. Восемь церквей митрополит освятил осенью 1559 года в простой, непышной обстановке; на богослужении присутствовали только царь и знатнейшие бояре. Торжество предстояло по окончании Покровской церкви.

Усилия всех строителей обратились на средний храм, который должен был вознестись высоко над Москвой, по гордой мечте Бармы.

Чрезвычайно красивой, живописно-величественной получилась внутренность центральной башни Покровского собора. На четырехграннике первого яруса стоял второй ярус восьмиугольной формы – восьмерик. Первый ярус переходил во второй треугольными «пазухами».

Первый восьмерик строители для устойчивости обнесли кругом открытой арочной галереей.

На довольно толстых стенах этого восьмерика, как на основании, поднялся следующий восьмигранный ярус с окнами, подоконники которых сильно скошены внутрь, а верха дугообразно закруглены. Для облегчения веса Барма устроил в этом восьмерике с внешней стороны целый ряд треугольных выемок – ниш.

Тремя рядами кокошников второй ярус перешел в барабан, имеющий форму восьмиконечной звезды с незначительными вырезами. Такая форма придала большую устойчивость верхнему барабану, который держит на себе высокий шатер Покровской церкви. На лучах звезды Постник установил маленькие главки с шейками; своим весом главки увеличивали устойчивость углов.

Так части храма постепенно суживались кверху, масса стен утончалась, из нее вынимались ниши, ее облегчали кокошники, тимпаны которых вдавались внутрь под навесами арок...

И, наконец, все венчалось высоким, величавым восьмигранным шатром.

У основания шатра на звездчатом барабане поставлены были два ряда полукруглых кокошников вперебежку, а над ними – по одному вытянутому вверх кокошнику с заострением. Грани шатра украсились блестящими изразцами. Часто они располагались многоугольными розетками, в середине которых поставлен выпуклый полушар. Изразцы вставлены в грани шатра «заподлицо» – это значит, что они заделывались туда при кладке стен, а не были вставлены позднее.

В ясную, солнечную погоду изразцовые полушария ярко блестели, слепя взор.

Великая работа подходила к концу. Центральный шатер закончился тонкой и узкой шеей, на которой вознеслась простая по рисунку и небольшая по размерам глава. Здесь работали орытнейшие из опытных верхолазов, работали с величайшей осторожностью. Центральный храм имел от основания своего высоту двадцать восемь с половиною саженьей.

Работая на высоте, кровельщики видели многочисленные извивы Москвы-реки и впадающих в нее речек; их взору открывалась широко раскинувшаяся столица и десятки окружавших ее сел и деревень. Горизонт замыкался синими лентами отдаленных лесов...

Когда готов был каркас верхней главы, Барма настоятельно заявил о желании подняться туда. Долго отговаривали зодчего от этого намерения, но убедить не смогли.

– Когда главу покроют железом, мне там не бывать, – сказал Барма. – А я хочу посмотреть на свет божий с высоты построенного нами храма...

Старика сопровождали наверх цепкий, как кошка, Сергей Варака и не знавшая головокружения Салоникей.

Барма долго глядел на все четыре стороны света, и в его выцветших от старости глазах стояли слезы не то от волнения, не то от резкого ветра, пролетавшего в вышине.

– Теперь можно умереть спокойно, – тихо сказал он, спускаясь по лесам.

– И полно, наставник! – возразил Сергей. – Тебе еще жить да жить!

– Лучше мне ничего не создать...

Барма не предчувствовал, что его старому сердцу предстоит тяжелое испытание.

Глава XV

Пожар

На берегу Москвы-реки в линию выстроились огромные штабеля бревен, досок, брусьев; в складах, расположенных поблизости, хранились бочки со смолой. Много горючего материала было на строительной площадке – заготовленные стропила, слези, тес...

Ордынцев страшился пожара, который мог причинить огромный ущерб строительству собора. А как на грех, лето 1560 года выдалось сухое, за полтора месяца не выпало ни одного дождя.

Федор Григорьевич, сильно сдавший здоровьем за годы стройки, чуть не каждый вечер читал наставления сторожам, требовал от целовальников, чтобы те проверяли караульных по ночам.

Сторож Томила Третьяк, сырой, вечно заспанный человек, любил похвалиться бдительностью:

– Всю ноченьку до белой зари не сплю... Уж так ли караулю – муха мимо не пролетит, червь не проползет... Истинно скажу, милостивый боярин: страж я недреманный!

Темной бурной июльской ночью вспыхнуло как раз на участке Томилы. Спал караульщик крепко, точно поднесли ему отвара сон-травы. Насилу растолкали его другие сторожа.

Штабель сухих сосновых досок пылал, разбрасывая искры, звездами пролетавшие в ночной тьме, далеко разносимые ветром.

Десятники бешено колотили в била, оглушительный трезвон будил спящих. Полуодетые люди металась по баракам:

– Браты, вставайте!

– Пожар тушить, государево добро спасать!..

Люди слепо вываливались на улицу; в глаза им бросалось багровое пламя, вихрившееся на берегу.

Опасность была велика. Уже несколько штабелей вздымали к небу бушующее, гремящее, косматое пламя. Сухие крыши барачков начали заниматься огнем под падавшими на них головнями. Бабы и подростки поспешили наверх с бадейками воды, мокрыми тряпками, метлами. Жилые строения следовало отстоять во что бы то ни стало, так как они находились вблизи от собора, а он стоял, обвитый лесами, окруженный стружками, досками, бревнами...

На берегу люди хлопотали, разметывая ближайшие к пожару лесные склады. С диким уханьем скатывали они бочки со смолой, валили доски и брусья под откос берега, прямо в воду. Пусть лучше матушка-река унесет, чем уйти им огнем!

Труднее всего приходилось у пылавших штабелей. Здесь невозможно было ничего сделать. Жар не подпускал людей близко, а вода, которую плескали издали, мгновенно испарялась, усиливая пламя.

Толстяк Томила, обезумев, рвался в огонь из рук товарищей:

– Отцы, благодетели, пустите! В пекло кинусь – туда мне, псу, и дорога!

– Как ты, друг, ославился?

– Не знаю, братья, прямо как мороком обвело!..

Злое дело совершилось в подходящий час. Ветер пригибал людей к земле; крутясь, душил едким дымом, осыпал мириадами искр и тысячами головней. Очаги пламени появлялись в самых неожиданных местах.

Сотни людей выстроились цепочкой от берега реки до барачков; задыхаясь в дыму, почти не различая друг друга, они на ощупь передавали бадейки воды тем, кто боролся с огнем на крышах. Но воды не хватало. Два барака запылали; с плоских кровель, крича от боли, посыпались обожженные бабы и ребята. Стало ясно, что жилых строений не отстоять. Опасность угрожала собору.

Руководство людьми пало на Нечая, которому случилась остаться в ту ночь на стройке, и на Кузьму Сбою, умного крепыша, пользовавшегося общим уважением рабочих.

Кузьма и Нечай переглянулись. Одна мысль родилась у обоих: ломать леса! Убирать горючий хлам с постройки!

Распоряжение передавалось среди свиста и шума урагана, среди рева разбушевавшегося пламени. Береговым штабелям предоставили гореть; у рабочих казарм осталось самое необходимое количество людей. Баб, с плачем и причитаниями порывавшихся спасти жалкое свое имущество, десятники гнали от дверей в тычки:

– Погорите, безумные! Гляньте, что внутри делается!

А красно-розовые языки пламени и струи дыма уже вырывались из маленьких окон...

– Бегите к собору! Сухую рухлядь таскайте прочь!

У собора закипела отчаянная работа, всякий волок прочь от стен что было под силу. Труднее было управиться со строительными подмостками, пришитыми к стенам длинными костылями.

На ломке отличались Василий Дубас и Петрован Кубарь.

Василий и Петрован сдружились за последние годы: по воскресеньям ходили на бойни и для потехи глушили быков ударом кулака по лбу.

Вооружившись громадными ломками, два богатыря проявляли чудеса силы, бесстрашия и ловкости.

Яркий красно-багряный свет от пылавших лесных складов и барачков освещал фигурки Дубаса и Кубаря, суетившихся на верхнем пролете лесов. А они раскачивали ломками и выдирали из стен костыли, державшие верхушку строительных подмостков. Потом, когда уже опасно стало держаться на зыблущейся площадке, привязали к стойкам два прочных каната и загрохотали вниз.

Десятки людей во главе с Нечаем и Кузьмой Сбоем ухватились за сброшенные канаты, приготовились тянуть по команде.

Василий и Петрован сбежали, присоединились к державшим канаты.

– Прочь, православные! – гаркнул Нечай, но звук голоса затерялся в хаосе разбушевавшихся стихий.

Несколько человек бросились отгонять тысячные толпы москвичей, сбежавшихся на пожар из ближних улиц. Многие притащили ведра, ломы, багры и

помогали бороться с бедой. Иные явились с пустыми руками – поглазеть на любопытное зрелище. Эти больше всех шумели и распоряжались, хоть никто их не слушался.

В огромной мятущейся толпе затерялся архитектор Ганс Фридман. Маленькие глаза его горели кровавым отблеском пламени; он потерял шапку, и его серые волосы покрылись хлопьями сажи, кружившимися в воздухе, как черный снег. С бессмысленной усмешкой маньяка он шептал:

– Радуйтесь, духи разрушения!.. Я исполнил приказ... Гордитесь моим послушанием – я хорошо выбрал время...

– Зашибет, зашибет!.. – Зрители отхлынули прочь, увлекая за собой сумасшедшего саксонца.

– Бери! – раздалась команда. – А ну, взяли! Раз-разок! Еще раз! Еще раз! Ухнем...

Громада лесов отделилась от главной башни, помешкала в воздухе, точно раздумывая, и, поблескивая язычками пламени, повалилась, сшибая кресты, уродуя главы законченных малых церквей.

– Беги, ребята!

Люди бросили веревки и кинулись врассыпную.

Верхняя часть подмостков, ближайших к пожару, рухнула беспорядочной грудой стоек, досок и перекладин.

Шум свалившейся громады произвел на безумного Фридмана необычайное впечатление. Вырвавшись из толпы, он бросился к подмосткам и с обезьяньей ловкостью стал карабкаться вверх. Его не удерживали: зрители думали, что явился еще доброволец помогать рушить мостки.

Взобравшись на самый верх, немец с упоением всматривался в картину дикого хаоса, развертывающуюся внизу:

– Духи огня, духи гибели!.. Возьмите меня – я ваш!..

И, широко раскинув руки, Фридман с диким победным хохотом ринулся в пустое пространство...

Трагическая смерть сумасшедшего немца ненадолго потрясла людей: нужно было бороться с грозной стихией. Раздались громкие призывы:

– Растаскивай! Рас-тас-ки-ва-ай!..

Сотни людей, как суетливые муравьи, спасающие гибнущий муравейник, накинулись на свалившуюся громаду, разламывали на куски, тащили в сторону Кремля, ко рву, его окружавшему. Там валили в воду, блестящую в глубине тускло-багровым светом.

А Василий Дубас и Петруха Кубарь уже взбежали наверх и снова принялись за опасную работу.

В эту бурную, тревожную ночь царя и митрополита не было в Москве – за два дня до того они выехали на богомолье в Троице-Сергиеву лавру. Но много бояр приехали к месту пожарища. Не решаясь принять деятельное участие в работе, что не приличествовало их высокому сану, они стояли в отдалении, многодумно качали бородами, иные крестились.

В сопровождении Демида Жука и Филимона прискакали на пожар Голован, Постник, Барма. Дикими, остекленевшими глазами взглянул Барма на опасность, грозившую великому творению. Но оцепенение продолжалось недолго. Через мгновение Постник принял на себя командование, и его твердые, продуманные приказы начали устанавливать порядок в царившей суматохе. Барму не подпустили близко к опасным местам; Постник приказал Демиду держать старика. Дюжий мужичина исполнял приказ точно, несмотря на мольбы и брань Бармы.

Снова и снова, взвихривая пыль и сажу, падали обрушенные пролеты подмостков на площадь и быстро, четко уносились прочь. Опасность спадала, общее напряжение уменьшилось.

И лишь в это время примчался с Покровки Федор Григорьевич. Страшные мысли одолевали Ордынцева, когда он погонял коня среди ветра, свистевшего в темных улицах, в то время как впереди стоял багряно-дымный столб, упирившийся в небо. Окольничему предвиделся царский гнев, неминуемая опала, может быть казнь...

– Не усмотрел, не усмотрел! – отчаянно шептал Ордынцев и хлестал плетью коня.

За ним скакали угрюмые, растерянные слуги.

Решетки по улицам были убраны, как всегда во время больших пожаров, и задержки от караулов не было, но дорога казалась боярину бесконечной.

– Еще стоит! – шумно вздохнул Ордынцев, когда вынесся на площадь, забитую народом. – Дорогу, дорогу!

Сквозь плотную толпу проехать было невозможно. Окольничий спрыгнул с лошади и пешком пробирался к собору.

Когда Ордынцев добрался до Постника, он с облегчением узнал, что опасность для храма не так уж велика.

На берегу пламя утихало, лесные склады догорали. Но рабочие бараки еще пылали вовсю, и вихрь по-прежнему взметывал огненные лапы...

Большая часть лесов была сброшена. Оставался самый неподатливый пролет, где крючья когда-то вбивал сам Василий Дубас. Долго пыхтели парни, подсунув ломы под стояки, прилежавшие к стене, потом крюки вылетели разом, и площадка поплыла в сторону.

– Падаем!.. – прохрипел Петруха Кубарь.

Василий взглянул в побледневшее лицо товарища и вдруг ухватился за карниз стены.

– Беги! – крикнул он, задыхаясь от напряжения.

Перепуганный Петрован медлил.

– Беги! – Ругательство сорвалось с посиневших губ Дубаса. – Убью!

Петрован дико загремел по мосткам. В толпе раздались вопли ужаса. Никто не решился броситься на выручку Дубасу, да и спасти его было невозможно. Едва Кубарь отбежал от стены, как обессилевший Василий выпустил карниз...

Дубаса нашли среди груды бревен с переломленными ребрами; рыжие волосы его слиплись от крови, сочившейся из пробитой головы.

Петруха Кубарь с воем бросился на труп товарища.

Подвиг Дубаса обезвредил последнее угрожаемое место; мостки со стороны, противоположной пожару, не подвергались опасности, их решили не ломать.

Бараки догорали. Работники просились переночевать у добрых людей, живших поблизости. Иные пошли отдохнуть в церквах, двери которых раскрылись для всех желающих. Толпа любопытных расходилась.

К Ордынцеву подвели дрожащего Томилу – единственного известного виновника случившегося бедствия.

– Как это ты, страж недреманный, не сберег порученное тебе? – грозно напустился на него окольничий. – Ты понимаешь ли, безумец, какой из-за тебя урон мог причиниться, да не одним нам, не Ордынцеву, не Барме с Постником, а всей Москве, всему русскому государству?

– Божье попущение...

– Бог-то тута, пожалуй, ни при чем, – раздался насмешливый голос Нечая. – Тута, чутко, лиходеи поработали!

– А ведь не так ли? – поднял всклокоченную, замазанную голову Томила. – Меня не опоили ли, боярин? Сродясь я таково сладко не сыпал...

– Опоили?.. Ты что ж, вор, бездельник, пил вечером?

– Пил, боярин, – признался Томила. – С немцем.

Постник уже знал о самоубийстве Фридмана, и картина того, что случилось, стала ему ясна.

– Собаке собачья смерть! – хмуро пробормотал он.

Скованного Томилу отвели в подвал Разбойного приказа.

* * *

Обрушенные подмости восстановили в три дня; работы по окончанию центральной башни и починка поврежденных меньших глав пошли быстро.

Тем временем в храм явились иконописцы и взялись за роспись стен. В нишах поместились образа святых Иоанна Воина, Георгия Победоносца и других. Над нишами нарисовали московских митрополитов – Петра, Алексея, Иону. Нашлось место по чину и для других святых.

Между алтарем и местом для молящихся поднялся богато украшенный иконостас...

Упали строительные леса, и Покровский собор возник перед Москвой во всем своем сверкающем великолепии. Москвичи и стекавшиеся во множестве жители ближних и дальних городов восторженно любовались храмом.

В конце 1560 года храм-памятник был торжественно освящен.

О первом богослужении в Покровском соборе возвестил малиновый перезвон колоколов, зазвучавший в тот день в первый раз.

Только самые близкие к царю люди получили доступ на торжество. Но среди ближних бояр, среди князей и крещеных татарских царевичей стояли гениальные строители собора Постник и Барма в богатых шубах с царского плеча – знак высшей милости.

Думы одолевали Постника. В душе его были и гордость, и радость, и чувство грусти, которое охватывает художника, навсегда расстающегося со своим творением. Отныне творение начнет жить своей самостоятельной жизнью, переживет своего творца и, быть может, даже и его славу... А ему, создателю, нечего больше тут делать. Любимый труд, занимавший все помыслы, закончен, и на месте его осталась тягостная пустота...

«Уйду из Москвы... – думал Постник. – Земля, земля родная! Пустынные твои дороженьки, дремучие твои леса, бедные твои, затерянные в глуши деревеньки... Увижу вас снова, пройду по тихим тропкам, сладко отдохну у ночного костра...»

Постник жил и работал долго. Но уже не пришлось ему создать второго величавого творения, подобного Покровскому собору.

Заключение

Годы и века прошли своим чередом. Храм Бармы и Постника в борьбе со всеокрушающей силой времени стоял непоколебимо. Но вошел он в историю не с тем именем, какое присвоили ему строители.

В конце XVI века к собору с северо-восточной стороны прилепилась маленькая церквушка, главка которой, отделанная в стиле остальных, значительно ниже глав малой четверицы. Церквушку эту воздвигли в честь Василия Блаженного, современника Грозного.

Так много ходило в народе толков про юродивого Василия, так люб и дорог был народу образ бессребреника, не боявшегося говорить горькую правду в глаза боярам и самому царю, что название крохотной церквушки перешло на весь величественный собор. Его стали называть храмом Василия Блаженного или попросту Василий Блаженный.

Тело бессребреника Василия перенесли в храм его имени, соорудили для него роскошную гробницу. Останки нищего, который в долгие морозные ночи

трясся на папертях московских, церквей, прикрыли драгоценным покрывалом, усеянным изумрудами и яхонтами в золотых оправах...

Много бурь и гроз пронеслось над причудливыми главами Василия Блаженного. Видел он польское нашествие в 1612 году, видел полчища Наполеона в 1812 году. Но все нашествия и все беды пережил он в стойком терпении, как пережила их в борьбе могучая Русь.

Неповторимым памятником родной русской старины стоит Василий Блаженный на Красной площади Москвы, рядом с чудесным Кремлем. Красуется, цветет, как прекрасный цветок, как песня, запечатленная в камне. Напоминает он о ратной славе предков, о безмерных жертвах и трудах их.

Ссылки

- [1] Уставная грамота определяла повинности монастырских крестьян.
- [2] Тиун – приказчик, управляющий.
- [3] Поминки – взятки.
- [4] Игумен, или настоятель, – глава монастыря.
- [5] Гости – богатые купцы, пользовавшиеся особыми правами.
- [6] Эти слова провозглашались в тех городах, которые провинились против Москвы и попадали под власть московского великого князя.
- [7] Сретенка – улица в Москве.
- [8] Петров день – 29 июня (ст. ст.).
- [9] Порядное – налог, взимаемый с покупателя в зависимости от земли и угодий; похоромное – налог с продавца.
- [10] Деревней в старину называли и пашню («деревня» происходит от слова «дерево»; чтобы поставить деревню, надо было вырубить деревья).
- [11] Келарь – помощник игумена, ведавший хозяйством монастыря.
- [12] Псалтырь – церковная книга, по которой в старину учили грамоте вместо азбуки.
- [13] Сажень – старинная мера длины, немного больше двух метров.
- [14] Аршин – старинная мера длины, равен 71 сантиметру.
- [15] Так писалось слово до реформы русского языка 1956 года. Всё оставлено так, как в книге. (ккк).
- [16] Векша – блок.
- [17] Изограф – иконописец.
- [18] Пожилое – налог за право проживания.
- [19] Иконостас – перегородка, отделяющая церковный алтарь, где находится священник, от молящихся. На иконостасе рисуются изображения святых, он часто украшается красивой резьбой.
- [20] Падун – водопад.
- [21] Повойник – головной убор замужней женщины, который она, по обычаю, никогда не снимала при людях.
- [22] Околица – изгородь, окружающая деревню.
- [23] Студёное – Белое море.
- [24] Звонница – колокольня.
- [25] Георгиевский собор построен в 1230–1234 годах.
- [26] Кентавр – мифическое существо с человеческой головой и плечами на конском туловище.
- [27] Еллинские (эллинские) – греческие.
- [28] Верхний фонарь, или световой барабан, – часть церковного здания, поддерживающая главу; в ней проделывались окна.
- [29] Фрязин – итальянец.
- [30] Шестериком в старину называлась упряжка в шесть лошадей – три пары одна за другой.

- [31] Позднее Васильсурск.
- [32] В 1380 году.
- [33] В 1480 году.
- [34] Малахай – род головного убора
- [35] Бортник – пчеловод.
- [36] Волокуша – род грубых саней из веток.
- [37] Алтын – три копейки.
- [38] «Судебник» – собрание законов, составленное при великом князе Иване III Васильевиче, в 1497 г.
- [39] Посул – взятка.
- [40] Послухи – свидетели.
- [41] Червчатая – багряная, ярко-малиновая. Ферязь – мужская верхняя одежда.
- [42] Облыжный – лживый.
- [43] Медвежатник – охотник на медведей; выжлятник – старший псарь; ловчий – распорядитель всей охоты.
- [44] Тюря – хлеб или сухари, размоченные в соленой воде; в лучшем случае сдабривалась подсолнечным или конопляным маслом
- [45] Мездра – слой клетчатки, покрывающий кожу с внутренней стороны.
- [46] Било – деревянная или железная доска, в которую били молотком. Било заменяло колокол.
- [47] Баять – говорить.
- [48] Память Кузьмы и Демьяна праздновалась 1 ноября (ст. ст.)
- [49] Утеклецы – беглецы.
- [50] Губа – территориальный округ в русском государстве XVI–XVII веков.
- [51] Во время правления Елены Овчина-Телепнев ведал внутренними и внешними делами страны, осуществлял военное руководство.
- [52] С 1538 по 1543 год.
- [53] Волостели – правители волостей.
- [54] Звание стольника было одним из средних придворных званий в русском государстве.
- [55] «История Казанского царства» неизвестного автора, много лет проведенного в казанском плену.
- [56] Мулла (татарск.) – священник.
- [57] Акча (татарск.) – деньги.
- [58] Тэнга (татарск.) – рубль.
- [59] Восточные народы называют луну – четырнадцатидневной во время полнолуния.
- [60] Див – злой дух восточных сказок.
- [61] Хорошо, очень хорошо! (татарск.)
- [62] Бакшиш (татарск.) – взятка.
- [63] Баранта (татарск.) – грабеж, захваченная добыча.
- [64] Бек – помещик, дворянин.
- [65] Кадий (арабск.) – судья.
- [66] Буза – хмельной напиток.
- [67] Минарет – вышка при мечети; с минарета раздаются призыв к молитве в определенные часы суток.
- [68] Муэдзин (арабск.) – помощник муллы.
- [69] Мекка – священный город мусульман.
- [70] Парсы – секта огнепоклонников
- [71] Текинцы – одно из племен Средней Азии.
- [72] Кизилбаш (татарск.) – красноголовый; презрительная кличка персов (иранцев).

- [73] Кубачи – аул на Кавказе, до наших дней славящийся выделкой превосходного оружия.
- [74] Ятаган – род сабли
- [75] Пищаль – старинное огнестрельное оружие.
- [76] Сеид – первосвященник Казани, духовный повелитель мусульман
- [77] Ханым – женщина, госпожа.
- [78] Селямлик – на Востоке мужская половина дома.
- [79] Нишан – доверенное лицо, управитель.
- [80] Имам – высшее духовное звание у мусульман. Примерное соответствие духовных чинов у мусульман и православных: муэдзин – дьячок; пономарь, мулла – священник; имам – епископ; сеид – патриарх. Но сеида могли именовать имамом, а иногда к имени его даже прибавляли «мулла».
- [81] Эфенди – господин; почтительное обращение, заимствованное турками и татарами у греков.
- [82] Кафа – город в Крыму, теперь Феодосия.
- [83] Прежнее название Константинополя, ныне Стамбул.
- [84] Корец – ковшик
- [85] Деньга – полкопейки; алтынный гвоздь – такой, который стоит алтын, то есть три копейки.
- [86] Чужая обедня – церковная служба, заказанная другими.
- [87] Ныне улица Разина.
- [88] Пожаром прежде называлась Красная площадь.
- [89] Терем – женское помещение; повалуша – летняя спальня
- [90] Кречет – порода ястреба.
- [91] Пристав – низший полицейский чин того времени.
- [92] Старинное название Трубной площади.
- [93] Похвальщик – хвастун.
- [94] Иван был с величайшей пышностью коронован царем всея Руси 16 января 1547 года 3 февраля того же года царь женился на девушке знатного рода Анастасии Романовне Захарьиной-Юрьевой.
- [95] Рядно – большой кусок грубого холста.
- [96] Анна Глинская – бабка царя по матери.
- [97] Черными людьми в старину называли простой народ.
- [98] Думные дворяне имели право присутствовать на заседаниях Боярской думы и во время торжественных приемов иностранных послов.
- [99] Избранная Рада – ближняя дума. Так назывался правительственный кружок при Иване IV.
- [100] Впоследствии Курбский изменил родине и бежал в Литву. После этого между царем и Курбским велась знаменитая в истории переписка.
- [101] Голик – веник из голых березовых прутьев.
- [102] Жилье – этаж.
- [103] Обходы – балконы.
- [104] Бирюк – волк, в переносном смысле – одиночка.
- [105] Шах-Али.
- [106] Арматы – пушки
- [107] Пушки вначале ковали из железных полос и обтягивали железными обручами; позднее их стали отливать из бронзы.
- [108] Ямчужный – селитренный.
- [109] Угар – потеря металла при переплавке.
- [110] Литцы – литейщики.
- [111] Ясырь (точнее – ясир; татарск.) – пленники.
- [112] Муфтий (арабск.) – в восточных странах ученый богослов, толкователь корана; великий муфтий – патриарх.

- [113] Солиман Великолепный правил в Турции с 1520 по 1566 год.
- [114] Началом мусульманского летоисчисления считается год бегства Магомета из Мекки в Медину (622 год нашей эры).
- [115] Курултай – совет знатнейших.
- [116] Уланы – высшие сановники.
- [117] Эмиры – вельможи, князья.
- [118] Звездочеты (астрологи) утверждали, что могут предсказывать будущее по звездам.
- [119] Салма – мясная похлебка с шариками из теста, баклава – пирожное из меда и миндаля.
- [120] Баурсаки – катышки из теста, проваренные в масле.
- [121] Шербет – прохладительный напиток, айран – напиток из кислого молока с водой.
- [122] Арак – водка.
- [123] Сары-сабур (татарск.) – сказочный желтый камень терпения, который будто бы сам собой крошился в дни великих бедствий.
- [124] В 1523 году
- [125] Уста (татарск.) – мастер. Уста-баши – главный мастер.
- [126] До Петра I Новый год на Руси праздновался 1 сентября.
- [127] Сырная неделя – масленица. В этот день, 12 февраля 1550 года, русские появились перед Казанью.
- [128] Бердыш – род топора с изогнутым острием, насаженного на длинное древко.
- [129] Вновь построенную крепость сначала называли Иван-городом в честь царя Ивана, но вскоре она стала именоваться Свияжском.
- [130] Из Львовской летописи 1551 года Шихи (правильно – «шейхи») – проповедники; шихзады, шейхзадэ – ученики проповедников; азии (иначе – хаджи) – мусульмане, сходявшие на богомолье в Мекку; мирзы – дворяне невысокого ранга; казаки – военнотружильные татары низшего ранга. Дворные казаки служили при дворе хана, задворные – по улусам (деревням).
- [131] Казанское царство разделялось на округа, называемые сторонами по-татарски – доругами.
- [132] Юрт – страна, государство.
- [133] 1547 год был по старому счету времени («от сотворения мира») 7055 годом.
- [134] Зде – здесь.
- [135] Каменный пояс – Уральский хребет.
- [136] Дивии – дикие, непросвещенные.
- [137] Катаи – Китай.
- [138] Свеи – шведы.
- [139] Летом 1530 года.
- [140] Кика, кичка – женский головной убор.
- [141] Ертоульный – разведывательный.
- [142] Сермяга – верхняя крестьянская одежда из грубой ткани.
- [143] Стратиги (стратеги) – полководцы.
- [144] Историки различно оценивают силы русского войска, отправившегося в поход под Казань. Обычное представление, что под Казанью стояла 150-тысячная русская армия, очевидно, сильно преувеличено. Путешественники того времени исчисляли воинскую силу, вышедшую из Москвы, в 90 тысяч человек и полагали, что до Казани дошло не больше половины; остальные охраняли коммуникации. В Казани засело 30 тысяч отборного татарского войска. Можно с достоверностью предположить, что под стенами города стояла русская рать, превышавшая численность татарского войска не более чем вдвое. Но на стороне татар были

десятки тысяч населения города, помогавшие защищать его, была 30-тысячная конница Япанчи, скрывавшаяся в лесах вне города, были сильнейшие укрепления и естественные препятствия. В свете этих данных ратный подвиг наших предков представляется изумительным; этими же данными объясняется сравнительная продолжительность осады.

[145] Гауфницы – гаубицы.

[146] Змеи – вид длинноствольных пушек.

[147] Козмографами (правильнее – космографами) в старину называли географов.

[148] Розмыслы – инженеры.

[149] Берегом называлась граница. Береговой воевода ведал охраной границы на определенном участке.

[150] Кулеврина – старинная дальнобойная пушка большого калибра.

[151] Чекан – топор на длинной рукоятке, обух его имел форму молотка.

[152] Сто двадцать месяцев.

[153] Тын – высокий частокол из заостренных сверху бревен.

[154] Голод, заразные болезни, землетрясение.

[155] Эпистолия (греч.) – письмо, послание.

[156] 2Тарасы – срубы из бревен, заполненные землей; служили хорошей защитой от пицального и даже пушечного огня.

[157] Куропти – куропатки.

[158] 30 августа 1552 года.

[159] Кизяк – топливо из сушеного навоза, смешанного с соломой.

[160] Зернь – азартная игра вроде игры в кости.

[161] Это хорошо! (укр.)

[162] Обое – оба.

[163] Клынч (татарск.) – сабля.

[164] Рамазан – мусульманский пост; верующие постятся днем, но ночью могут есть что угодно и сколько угодно.

[165] Махан (татарск.) – конина.

[166] Дервиш – мусульманский монах.

[167] Амулет – предмет, носимый суеверными людьми как волшебное средство, предохраняющее от несчастья.

[168] Матка – компас.

[169] Набат – огромный медный барабан, по которому били сразу несколько человек

[170] Ослоп – дубина, жердь

[171] Бар (татарск.) – есть; айда (татарск.) – пойдем.

[172] Смердами в древней Руси называли как свободных, так и попавших в зависимость крестьян. Позднее смердами стали называть людей низкого происхождения и слово это в обращении высших к низшим приобрело оттенок презрения.

[173] Порфира – верхняя парадная одежда государей: длинный плащ багряного цвета, подбитый горностаем.

[174] Застольники – гости приглашённые на пир.

[175] Роспись – список.

[176] Корец, корчик – ковшик.

[177] Калья – похлебка.

[178] Паникадило – вид люстры.

[179] Полтина (полтинник) – пятьдесят копеек.

[180] Баский, бастенький – хороший, красивый.

[181] Всуе – напрасно.

- [182] Лестовка, или четки, – кожаная полоска с нашитыми на нее шариками или зернами. По зернам лестовки молящиеся отсчитывали молитвы или поклоны.
- [183] «Четьи-Миней» – ежемесячное чтение.
- [184] Париже.
- [185] Лабиринт
- [186] Аркос – замок.
- [187] Медиолан – Милан.
- [188] Оклады – чертежи, проект.
- [189] Ломцы – рабочие, разрушавшие старые строения.
- [190] Вельми – весьма.
- [191] Терлик – род кафтана.
- [192] Марк Витрувий Поллиол – древний римский писатель. Написал известное сочинение: «Десять книг об архитектуре».
- [193] Верста (500 сажений) равняется приблизительно 1065 метрам.
- [194] Построена в 1165 году.
- [195] Построен в 1158–1184 годах.
- [196] Обыденка – здание, построенное в один день.
- [197] Бирка – палка, расколота пополам; одна ее часть хранилась у подрядчика, а другая – у работника. Полное совпадение зарубок при прикладывании одной половины бирки к другой свидетельствовало о верности счета.
- [198] В те времена Киев принадлежал Литве.
- [199] Еруслан Лазаревич – сказочный богатырь.
- [200] Заревой кочет – петух, поющий на заре.
- [201] Вотяки – старинное название удмуртов.
- [202] Стихарь – облачение низших духовных лиц
- [203] Цоколь – основание здания.
- [204] Машикули, или навесные бойницы, – род треугольных выступов, напоминающих кронштейны.
- [205] Укреплять плоские кирпичные перекрытия железными балками в Западной Европе начали только в конце XIX века. Строители Покровского собора опередили западноевропейскую технику на триста лет.
- [206] Тимпан кокошника – это его полукруглая часть, прикрытая сверху выпуклой арочкой или дугой.
- [207] Тимпаны кокошников Покровского собора все разукрашены, но, вероятно, это было сделано через несколько десятилетий после его постройки.
- [208] Эти главки видны на всех старинных изображениях Покровского собора; они были сняты в 1784 году.
- [209] Костыль – загнутый под прямым углом длинный гвоздь.